

КОНТИНЕНТ 11

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

«Зреет во мне ощущение, рождается надежда, что мне суждено стать первой ласточкой. Той, что возвестит Весну Свободы моей Родины».



Галина Вишневская

«Нас заставили уехать, мы не добровольно уехали. Мы уехали с тем, чтобы вернуться. Мы русские люди, мы дети великого народа, и любовь наша к России беспредельна».



«Сталин не мог не видеть в польском офицерском корпусе одну из главных сил довоенной Польши... резня была не ошибкой, а продуманной акцией Сталина с целью обезглавить нацию и подготовить ее к той новой роли, которую он ей предназначил».



которую он ей предназначил».

«...не случится ли так, что после прекращения глушения, достигнутого такой ценой, те же люди, которые сейчас слушают радио



Гелий Снегирев сквозь заглушку («джаз КГБ»), будут выключать свои приемники и по-старому пытаться выискать информацию в подтексте советской прессы?»

Владимир Буковский

«...во время так называемого «культа личности» было расстреляно и погибло в лагерях восемьдесят девять украинских писателей, двадцать два вышли живыми из заключения, да еще около тридцати эмигрировало».

Игорь Качуровский



«Сталин не мог не видеть в польском офицерском корпусе одну из главных сил довоенной Польши... резня была не ошибкой, а продуманной акцией Сталина с целью обезглавить нацию и подготовить ее к той новой роли, которую он ей предназначил».

Николас Бетелл

Главный редактор: Владимир Максимов
Заместитель главного редактора: Виктор Некрасов
Ответственный секретарь: Евгений Терновский
Заведующая редакцией: Наталья Горбаневская

Редакционная коллегия:

Раймон Арон · Ценко Барев · Джордж Бейли
Сол Беллоу · Николас Бетелл · Иосиф Бродский
Владимир Буковский · Александр Галич · Ежи Гедройц
Густав Герлинг-Грудзинский · Корнелия Герстенмайер
Милован Джилас · Эжен Ионеско · Артур Кестлер
Роберт Конквест · Наум Коржавин
Михайло Михайлов · Андрей Сахаров · Игнацио Силоне
Странник · Александра Толстая · Ота Филип
Иозеф Чапский · Александр Шмеман
Карл-Густав Штрём

Корреспонденты «Континента»

Англия	Владимир Тельников Wladimir Telnikov, 28 St. Luke's Rd. London W 11
Израиль	Михаил Агурский Michael Agoursky, Ramot 6/30 Jerusalem, Israel
Италия	Сергей Рапетти Sergio Rapetti, via Beruto I/B 20131 Milano, Italia
США	Юрий Ольховский George Olkhovsky, 3801 Windom Place N. W. Washington D. C. 20016, USA
Япония	Госюке Утимура Higashi-Yamato, Hikariga-oka 10-7 189 Tokyo, Japan



КОНТИНЕНТ

Литературный, общественно-политический
и религиозный журнал

11

Издательство «Континент»
1977

СТИХИ

*

Нырнуть бы в праздник, точно в прорубь,
перекроить бы жизнь свою,
пока вверх бумажный голубь,
поймав воздушную струю,
летит, и в снежном небе тает,
не ведая, когда и где
собьют метелью и заставят
очнуться в ледяной воде.

Я прохожу ночным Арбатом,
где пальцы вечера нежны
и сыплет снегом сероватым
в медвежьи уши тишины.
Душа свободная в печали,
но тело, взятое взаймы,
довольно

тихими речами
ветвистой сумрачной зимы.

Мой город лжи и веток голых,
ты что-то всё-таки поешь,
когда у новогодних ёлок
смеясь, танцует молодежь
в веселье пьяном, зыбком, смутном,
что ритмом западным сильно...
Но я проснусь январским утром
от солнца, бьющего в окно.

*

Я на закате выхожу из дому,
Где затхлый кофе и табачный дым,
Вступаю в мир, где белые объемы
Окрашивает густо-золотым.
В кристаллах снега — все оттенки спектра,
И ледяными линзами зима
Орудует, для стереоэффекта
Чуть-чуть сдвигая плоские дома.
Мне завидно. Я слаб душой и телом,
И голову мне кружит высота.
Моим рукам, тяжелым, неумелым,
Не вырваться из плоскости листа.
Ни скандинавской твердости не знаю,
Ни женщины не удержу в руках —
А всё мне жизнь мерещится иная,
Могучая, как дирижерский взмах...
Ты, мое небо, ты лазурным кругом
Очерчиваешь стены городов —
Останься мне хотя бы честным другом,
Повремени — я к смерти не готов.

*

Помоги мне, Господи Боже,
я совсем от Тебя далек,
я смотрю, на диване лежа,
в перекошенный потолок.
Люстра каменная повисла
над асфальтовой стеной,
и разводы без тени смысла
извиваются надо мной.
И на чем я сосредоточен,
чьи отыскиваю следы
на бетонной тропинке ночи,
света, обморока, беды...

А в березовой хрупкой чаше
бродит розовая луна
и над почвою мерзлой, спящей
ночь стволами озарена.
Спи, брусника, в чистой постели.
Спи, любовь, по пояс в снегу.
Здесь ли нам синицы свистели
и кузнечик трещал в стогу?
А деревня мне незнакома,
сквозь сугробы дороги нет,
но в окошке крайнего дома
зажигается ранний свет.

*

Продрогший город мечется во сне,
и пальцы путаются в звездах слабых,
а я растерян и не спится мне,
ворочаюсь без толку с боку на бок

и лишь к утру, обиженно дыша
с бессонницей в тоскливом поединке,
увиджу сон, где нищенка-душа
бредет босая по лесной тропинке.

Пуста котомка: звездная труха
да рев толпы, звереющей от скуки
и слабости... что ж, те, кто без греха,
бросайте камень, облегчайте руки...

*

В том январе я жил один, в печали,
в раздоре с совестью и на ножах с судьбой,

и тусклыми московскими ночами
не знал, что делать мне с собой.

Я пробовал обжить скрипучую квартиру,
где телефон визжал и дуло из окон,
хотел прибить к стене веселую картину,
но гвоздь не шел в бетон.

Я засыпал с трудом, встречая руку друга
в тяжелом липком сне —
так одиночества прекрасная наука
легко давалась мне,

так жизнь становится онежским камнем
а воды вечности прозрачны и пресны,
но всё грохочет кровь по водосточным
трубам,
как в первый день весны.

*

Похоже, что я проиграл —
Такое обидное слово,
Но прочно себя потерял,
И где она, *vita nuova*?

Вот только звонки от друзей.
Сквозит в них забота живая,
Вниманьем к персоне моей
Я искренне тронут бываю.

Зачем, говорят, ты живешь?
Да так и живу, как придется,
А спирт — он на вкус нехорош,
Но дешево мне достается.

Еще мне звезда-малахит
В глаза до рассвета глядится
И ласково так говорит —
Не пей в одиночку, Бахыт,
Сопьешься, заставят лечиться...

Хорош мой неприбранный дом,
Мелодия — ложкой о кружку!
А как бы нам было вдвоем...
...качай свою дочку, подружка...

А в марте и небо ясней,
И память о жизни яснее,
Но столько толпится теней,
Что к свету пробиться не смею...

Январь-апрель 1976 года

КЕНЖЕЕВ Бахыт — род. в 1950 г., инженер-химик по образованию, живет в Москве, работает техническим переводчиком. Печатал стихи в «Юности» и «Московском комсомольце».

Владимиру Буковскому

Сердечно поздравляю мужественного борца за человеческие и гражданские права и за человеческое достоинство. Желаю много сил и здоровья в дальнейшей борьбе за осуществление великих гуманистических идеалов человечества.

Франтишек Кригель

Прага, 18 декабря 1976

* *

Т е л е г р а м м а

Владимиру Буковскому

Французский Пен-Клуб, членом которого Вы являетесь и который постоянно требовал Вашего освобождения, счастлив, что оно наступило, и надеется на скорую встречу с Вами. Французский Центр Пен-Клуба приветствует в Вас символ свободы слова.

Жорж-Эмманюэль Клансье
Президент Французского Пен-Клуба

Димитрий Столыпин
Генеральный Секретарь

Гелий Снегирев

МАМА МОЯ, МАМА...

Лирико-публицистическое исследование

ЭПИГРАФЫ

От молдаванина до финна
На всех языках всё молчит...

Тарас Шевченко

Хоть цепей не ношу на руках, на ногах,
В нервах вечно ношу все невольничий страх.
Хоть я вольным зовусь, а как раб спину гну
И свободно в лицо никому не взгляну.
Перед всяким шутом пресмыкаюсь, дрожу,
Слово правды в душе, будто свечку, тушу.

Иван Франко

Slavus — Sklavus !

Леся Украинка

Краткие сведения об авторе. СНЕГИРЕВ Гелий Иванович, год рожд. 1927. Краткую биогр. справку смотри в справочниках СПУ (Союза Писателей Украины).

В 1974 г. Г. С. исключен из СПУ по идеологическим мотивам с запрещением печататься. Исключен также из Союза кинематографистов с запретом работать в кино (последние 20 лет подвизался в кинодокументалистике как режиссер и сценарист).

Тогда же, в 1974 г., получил тяжелую сердечную болезнь, а вскоре почти ослеп в результате кровоизлияния в сосуды сетчатки обоих глаз. Сейчас — инвалид 2-й группы, пенсионер.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ЗАРУБЕЖНОМУ ИЗДАНИЮ

Не сразу решился я отдать рукопись этой книги для издания за рубежом. Существовало два варианта. Первый: выехать самому (есть такая возможность) и, уже находясь там, издавать. Второй: оставаться — и передать.

Понимал: останусь — то по всем данным, по опыту поведения властей моей Отчизны, подвергнусь репрессиям. И выбираю второй вариант: остаюсь. И по-видимому — ждет меня «небо в клеточку». И суд.

На суде скажу я следующее. Прошу Тебя, читатель: если услышишь, что меня судят, не слишком интересуйся дополнительной информацией через слухи, которые могут просочиться к иностранным корреспондентам сквозь плотно запертые двери закрытого суда, а наперед знай, что сказал я на суде то, что Ты вот сейчас прочитаешь.

Сказал я (скажу) следующее:

— *Граждане судьи! И вы, народ, сидящий в зале... (И расшифрую: ...верные партактивисты и переодетые охранники.)*

Я передал на Запад рукопись своего произведения потому, что мной это произведение написано. Когда литератор вещь напишет, он хочет выстраданный свой труд держать в руках книжечкой, изданной многими экземплярами, дошедшей ко многим читателям. У себя на Родине я этого не мог — издать и держать в руках книжечку. А я ее писал и считал нужной людям, ибо в книге моей — правда и одна только правда. И я отослал рукопись для издания.

Почему остался сам и подвергаю себя опасности? Потому что тяжело расстаться с Родиной. И еще — вот почему.

Зреет во мне ощущение, рождается надежда, что

мне суждено стать первой ласточкой. Той, что возвестит Весну Свободы моей Родины. Появилась во мне вера, что в моем родном Харькове, в зале оперного театра вскоре можно будет устроить тот настоящий, не фальшивый судебный процесс, о котором я пишу в своей книжке:

И я прошу вас, граждане суд:

— Не объявляйте меня преступником! Не бросайте меня за решетку!

Сумеете поверить или не сумеете, — что прошу об этом не ради себя? Попробуйте, поверьте. Мои пятьдесят лет со мной, никто их у меня не отберет, я изведal полной мерой все, что отпущено Господом человеку: наработался и насмотрелся, радовался и скорбел.

Прошу не бросать меня за решетку не для себя. Для кого? РАДИ МОЕЙ ОТЧИЗНЫ. Ради нашей с вами Отчизны, граждане суд и вы, люди в зале. Пусть я стану первой ласточкой, которая возвестит всему миру, что на нашу Родину идет Весна Свободы! Пусть весь мир увидит, что Родина наша готова, наконец, сбросить с себя тесное идеологическое рубище, пропитанное потом, слезами и кровью! Пусть все страны мира поймут, что с Родиной нашей можно говорить и вести дела, как с достойной мощной державой, которая не боится человека.

Вынесите мне оправдательный приговор, чтобы не позорить еще раз нашу Отчизну перед всем человечеством.

Почему надеюсь на вашу справедливость? Ведь арестовали, а где и когда видано у нас, чтобы политического арестованного помиловали. Но арестовали — вчера, а ныне у нас — сегодня, и, может, пусть я буду первым в истории советского государства политическим обвиняемым, который не станет «зеком»?

Предоставляю вам, граждане суд, возможность

оправдать меня и тем сделать самый разумный политический жест на благо нашей Родины...

Так я сказал на суде.

Но возможно — до суда не дойдет. Даже до закрытого. Просто — меня заберут и я исчезну. А то и забирать не будут, а к примеру — автомобильная катастрофа или нападение ночью бандитов. Тогда... Что ж, тогда — привет, читатель!

И еще одно.

Мне хочется, чтобы вы, читатели за рубежами моей Родины, держали в руках плод моих раздумий и надежд. Но сразу говорю вам:

— Книжку эту адресовал я читателю у себя на Родине, с ним беседую, обращаюсь к нему, который ходит, дышит, живет рядом со мной.

Но и вас прошу: не побрезгуйте трудом моим. Пусть книжку издадут так, чтобы как можно больше дошло ее на мою Родину к моему самому первому читателю, — но и Ты, читатель зарубежный, не отстрани ее. Читай ее. И почувствуй нашу подлинную жизнь. Ибо Ты, зарубежный читатель, не знаешь нашей жизни и той атмосферы, в которой она течет. Ты читал о нас, слышал? Даже видел нас, был нашим гостем-туристом? Ты пробыл у нас неделю, мы — тут родились, тут и умрем. Мы живем в обмане, нас обманули и мы сами обманываем себя, а Тебе истину о нас и вовсе не узнать. Народ наш — морально искалечен.

Автор

1. О ПОЭЗИИ И О ПРОЗЕ ЖИЗНИ

Мама переводила на украинский язык Некрасова и Блока. Она знала и чувствовала язык, в украинской стихии выросла. Было ей тогда 16, 17, 18 лет.

Из Некрасова:*

СОН

Мені приснилося: я в море
Зі скелі кинутись бажав,
Враз янгол світа і любові
Чудесну пісню заспівав:

«Чекай весни! Прийду я рано,
Скажу: людиною будь знов!
Здійму з чола усі тумани
І запалю холодну кров.

Твою я музу привітаю,
Верну життя щасливих днів,
І на чолі твоїм засяє
Вінок із лаврових листів!»

В аккуратной тетрадке — на синей обложке белый с розовой виньеткой квадратик, и по нему совсем детской рукой выведено: «Наталя Собко», — вполне грамотный, хотя и буквалистский перевод некрасовской поэмы «Орина, мать солдатская». И еще некрасовское о матери, известное:

Під час кривавої війни,
При кожній новій жертві бою
Не друга жаль, і не жони,
Ні навіть самого героя.

* История эта писалась на украинском языке, перед Тобой, читатель, русский вариант. Помещенные ниже стихи, написанные по-украински или на украинский переведенные, я помещаю без перевода их на русский. И читателя, не знающего украинского языка, попрошу: вчитайся в эти строки, почувствуй музыку стиха и речи! Украинский и русский очень близки, большинство русских, я проверял это, улавливают смысл, читая по-украински.

На жаль — утішиться жона,
І друга кращий друг забуде,
Але десь є душа одна,
Що пам'ятать до смерті буде.

Серед холодного життя
І серед життєвої прози
Одні підгледів в світі я
Святі і щирі, тихі сльози.

То сльози бідних матірок.
Їм не забудь своїх діток,
Що полягли на журній ниві
Як не піднять вербі журливій
Своїх похилених гілок.

А вот из Блока:

Чорний крук у сутінках сніжних,
Чорний в зорях-очах оксамит,
Любий голос у снівах ніжних
Про південний розказує світ...

Из «Незнакомки» Блока:

Увечері над ресторанами
Повітря темне і глухе.
І повне окриками п'яними,
І смертоносне і сухе.

2. РАСКРЫЛ Я С ТИХИМ ШОРОХОМ ГЛАЗА СТРАНИЦ...*

Обрацаюсь к Тебе, читатель. Вижу Тебя молодым человеком — юношей или девушкой последней четверти XX столетия.

Представь себе такое. То ли живешь Ты в большом городе, то ли приехал в большой город из «про-

* Печатается журнальный вариант.

винции» в свой отпуск, но только однажды увидел Ты на красивом светлом здании вывеску:

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

(Потому и надо, чтобы попал Ты в большой город: в районном центре — да и во многих областных — библиотеки такой нет; и правильно, что нет, не нужна она там, для научной работы тот, кому положено, едет работать в библиотеку большого университетского города).

Увидел Ты эту надпись на доме и вдруг, вообрази себе, подумал: а на кой мне ляд магазины-рестораны, памятники старины и новые архитектурные достижения, киношки и театры? А пойду-ка я лучше посижу в научной библиотечной тиши да поднаберусь ума-разума. Странно? Не случится с Тобой такого, не променяешь Ты, юноша-девушка конца XX столетия, надежду «оторвать» в столичном магазине «штатские джинсы» или «парижские шузы» на книжную пыль? И я полагаю — не случится, и дай Тебе Господь, чтобы не случилось. Но вообрази себе — все-таки стряслась с Тобой такая беда. Пренебрег Ты радостной житейской суетой, отрекся от быстротекущих наслаждений и взошел под своды хранилища знаний человеческих.

Идешь по коридору, полный почтения и уважения к образованности людской, и читаешь на двери:

ГАЗЕТНЫЕ ФОНДЫ

И осеняет Тебя: а зайду-ка я да полистаю старые газеты. Вот ведь любопытно бывает встретить в журнале «Вокруг света» заметки «Что писали о нас 100 лет назад» — а я сам возьму эти газеты и посмотрю, что они писали, только не сто лет, а поближе.

И вот сел Ты за стол. И выдали Тебе подшивку

газет. Это, опять же, представь себе: случайного с улицы человека в такую библиотеку не пустят, надо оформить пропуск, для чего представить копию диплома, две фотокарточки, справку с работы. Но Тебя — пустили. И попросил Ты подшивку газеты... ну, какой? Ну, той, что и ныне главная и распространенная — «Известия» попросил. «Известия» за... да, за 1930 год. Вот почему выбрал Ты именно 30-й: любишь Ты Владимира Маяковского и захотелось Тебе самому прочесть, как произошло его самоубийство, что писали газеты тогда о неожиданной и трагической кончине «агитатора, горлана, главаря» (все мы еще в школе подбрасывали учителю литературы каверзный вопросик: как же так, звал вперед и выше, разнес Есенина за самоубийство — а сам? в чем дело? кто, мол, его до ручки довел, а?).

И листаешь Ты «Известия» 1930-го года. Маяковский, помнится Тебе, застрелился в апреле, в подшивке, что принесли Тебе — март-апрель. Листаешь с марта. Заголовки просматриваешь. Вводят Тебя заголовки в атмосферу той поры:

**НА ПУТЯХ СПЛОШНОЙ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ
КОМСОМОЛ В БОРЬБЕ ЗА ПРОМФИНАН
ВОПИЮЩАЯ БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ ИЛИ
ВРЕДИТЕЛЬСТВО?**

О КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫХ ПРОРОЧЕСТВАХ — ишь, как поэзию почитали, на весь огромный газетный лист стихотворный памфлет популярного народного поэта Демьяна Бедного.

Ага, вот знаменитая, по изучению истории КПСС Тебе известная гениальная статья И. Сталина «Головокружение от успехов», а через месяц встретишь его же не менее гениальный и блистательный «Ответ товарищам колхозникам».

ПЕРВЫЕ ЧИСТКИ ВСНХ СССР — что это еще за «чистки», а? О, брат, чистки — это было ответ-

ственныйшее мероприятие. Листай дальше, о чистках много встретишь:

**ЧИСТКА НКПС и ВСНХ
ПРОФСОЮЗ СОВТОРГСЛУЖАЩИХ НА ЧИСТ-
КЕ ГОСАППАРАТА
К ЧИСТКЕ АППАРАТА НКЮ
ИТОГИ ЧИСТКИ ГЛАВТУЗА**

**Что за чистка такая? А вот под заголовком
ЧИСТКА НКПС (первые результаты) — читай:**

«Вычистить по первой категории (без права работать на производстве), как вредивших интересам рабочего класса,...»

— следует перечень фамилий; ну, давай прочтем об одном из них:

«Проф. Н. С. Стрелецкий противился рационализаторскому использованию мостов, не допуская повышения норм напряжения их. Он добился введения на 200 мостах ограничения скорости движения поездов. При постройке новых мостов настаивал на том, чтобы они имели большие запасы мощности, что было связано с огромными затратами дополнительного металла».

Вот уже и почти понятно Тебе, что такое «чистка». А насчет правильности «вычистки» проф. Н. С. Стрелецкого с этими его 200 мостами и запасами мощности — чёрт его знает, а может, с точки зрения его науки, правильно он добился и настаивал? Ладно, аллах с ним, с профессором, вычистили — стало быть заслужил.

Дальше листаешь газетные полосы:

ПРОДОЛЖАЮТСЯ АНТИСЕРЕДНЯЦКИЕ ПЕРИГИБЫ

**ПРОТИВ ДУРМАНА ПОПОВСКОЙ ПАСХИ
О ПРОРЫВАХ НА КОЛХОЗНОМ ФРОНТЕ
СЕМЬ ШАХТ НА ЧЕРНУЮ ДОСКУ!**

**СЕКТА ШУЛЬЦА (промелькнули слова в тексте:
«Контрреволюция», «половые извращения», «Дмит-**

трия Шульца — к расстрелу», интересно бы и прочитать — да ладно, вперед, к Маяковскому).

О, любопытно, знаменитая «Земля» Александра Довженка в те дни вышла на экраны. Гляди-ка, Демьян Бедный как по ней шарахнул! Почти на целый газетный лист — стихотворный фельетон «Философы», и конец такой:

«Кино-штучка «Земля» Ильичу
Была бы не в радость, —
Он ее оценил бы брезгливым словом:
«Нестерпимая гадость!»
И дело с концом».

Ничего себе! А как отменно знает Демьян Бедный вкусы Ленина, а? Это в «Известиях» за 4 апреля. О фильме, позже превознесенном, вошедшем в число лучших кинолент мира, ставшем хрестоматийным после смерти его творца А. П. Довженка. А вот через 13 дней, 17 апреля — заметка.

«От главискусства. По постановлению Главискусства фильма А. Довженка «Земля» снимается с репертуара до устранения кадров с голой женщиной и пуском в ход трактора»*.

Листаешь дальше. Много заголовков о всяких судебных делах.

ДЕЛО ТЕРЕХОВА НАДО ПЕРЕСМОТРЕТЬ — ишь, за драку между жильцами д. № 8 по Озерковской набережной некоего Терехова приговорили к расстрелу.

* Ты, юный читатель, не помнишь, естественно, что там за кадры такие. Ну, о голой женщине — понятно Тебе, голых женщин мы в нашем соцреалистическом благовоспитующем кинематографе завсегда вырезали. А с пуском трактора — там такая петрушка: боевые молодцы-трактористы, пригнавшие в село первый трактор, бойко писали в радиатор, когда выкипела вода и перегрелся мотор. А весь фильм «Земля» — о борьбе бедняков с кулаками за создание колхозов, за счастливую крестьянскую жизнь.

ДЕЛО СОТРУДНИКОВ «ЛЕНА ГОЛЬДФИЛЬС»
— где-то там на Лене самородки подворовывали и секреты буржуйам выдавали-продавали.

ВО ВЛАСТИ БАЕВ — любопытно, уже тогда, через десяток лет после революции, узбекская судебная верхушка продавалась всяким баям за вкусный плов с молоденьким барашком. Ого, даже слово появилось —

КАСИМОВЩИНА (дело узбекских юристов) — главного обвиняемого заправили Касимов фамилия, статейка через два номера:

«Эти «трапезы», как правило, заканчивались развратными оргиями с участием, по настроению, то женщин, то мальчиков».

ОЗДОРОВИТЬ СУДЕБНЫЙ И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ АППАРАТ СТАЛИНГРАДА,

ха, здорово:

«Выявлено полное разложение аппарата судебных исполнителей — связь с чуждыми элементами, пьянство, хулиганство и т. п. Дикая распушенность царила в сталинградской милиции и уголовно-розыскном отделе, где работники понуждали женщин-милиционеров к половой связи».

Ох, бурная эпоха! Бурная и полная противоречий.

4-й ГОД ДНЕПРОСТРОЯ

ТУРКСИБ ОТКРЫТ!

РАСКРЫТИЕ КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В НАРКОМЗЕМЕ УКРАИНЫ

НАШ ОТВЕТ ПАПЕ РИМСКОМУ

КТО ВРЕДИТЕЛЬСТВУЕТ НА ФАБРИКЕ НОГИНА?

БОЕВЫЕ ТЕМПЫ ТРАКТОРОСТРОЯ

ОЧИСТИТЬ ПРОФАКТИВ ОТ ОППОРТУНИСТИЧЕСКИХ, КОСНЫХ, БЮРОКРАТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

УКРАИНСКАЯ КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ ПЕРЕД СОВЕТСКИМ СУДОМ (дело «Союза Освобождения Украины»)

ВРЕДИТЕЛИ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ УКРАИНЫ —

гм, что-то чересчур много всяких разных вредителей у нас на Украине в том году развелось, а? Вот и опять:

УКРАИНСКАЯ КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ ПЕРЕД
СОВЕТСКИМ СУДОМ — а нет, это не новое дело,
это то самое «СВУ», Союз Освобождения Украины,
продолжают «Известия» рассказывать о нем.

ТРЕВОЖНЫЕ СИГНАЛЫ

ХАОС!

НЕЩАДНО БИТЬ ПРАВЫХ И «ЛЕВЫХ» ОП-
ПОРТУНИСТОВ, ЛЬЮЩИХ ВОДУ НА МЕЛЬ-
НИЦУ ВРАГОВ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ!

Ага, вот — 14 апреля 1930 года:

СМЕРТЬ ПОЭТА В. В. МАЯКОВСКОГО

«Покончил с собой в 10.15 утра в своем кабинете... текст
завещания — «как говорится, «инцидент исперчен», —

Любовная лодка разбилась о быт.

Я с жизнью в расчете,

и не к чему перечень

взаимных болей,

бед

и обид».

И дальше — «простите, это не способ... счастливо
оставаться... не считайте меня малодушным... в столе
у меня 2000 рублей».

Все так, как в школе говорилось:

«Как сообщил нашему сотруднику следователь тов. Сырцов,
предварительные данные следствия указывают, что самоубийство
вызвано причинами чисто личного порядка, не имеющими ничего
общего с общественной и литературной деятельностью поэта.
Самоубийству предшествовала длительная болезнь, после которой
поэт еще не совсем поправился».

Уже примелькавшийся на газетных страницах
Демьян Бедный восклицает:

«Иначе, как внезапным провалом сознания, потерей внутренней ориентировки, болезненным обострением личных переживаний, острым психозом — не могу всё это объяснить!»

А вот интересно:

«Мозг Маяковского весит 1.700 граммов (средний вес человеческого мозга — 1300—1350 граммов). Исследование мозга будет произведено в ближайшее время».

Угу, тяжелый мозг. Интересно, куда его потом девали — заспиртовали в баночку? Помнится, Валентин Катаев в своей «Траве забвения» приводит рассказ Ю. Олеши:

«...Самое странное, даже, я бы сказал, необъяснимое, при всей своей материальности, было то, что я видел вчера в Гендриковом переулке, где еще совсем недавно мы играли в карты до рассвета... Вы знаете, что это? Мозг Маяковского. Я его уже видел. Почти видел. Во всяком случае, мимо меня пронесли мозг Маяковского... Вдруг стали слышны из его комнаты громкие стуки — очень громкие, бесцеремонно громкие: так могут рубить, казалось, только дерево. Это происходило вскрытие черепа, чтобы изъять мозг. Мы слушали в тишине, полные ужаса. Затем из комнаты вышел человек в белом халате и сапогах — не то служитель, не то какой-то медицинский помощник, словом, человек, посторонний нам всем; и этот человек нес таз, покрытый белым платком, приподнявшимся посередине и чуть образующим пирамиду, как если бы этот солдат в сапогах и халате нес сырную пасху. В тазу был мозг Маяковского»...

Похороны, сочувствия, траур. Гипсовая маска на фото — похож, очень похож. Поэт Павел Панченко врезал стишка — «У гроба Владимира Маяковского»:

Сердце поэта упало навзничь,
И захлебнулась песня,
Ваше слово, товарищ маузер,
Сказано неуместно!
Только подумать...

И поэт Павел Панченко думает про комбайны и про «дым над страной, искры» и «сердце завода не знает пауз» — и «пауз» рифмуется с «маузер»:

Сердце завода не знает пауз,
Бьется
в победной
Сшибке...

Ваше слово,
Товарищ маузер,
Сказано по ошибке! —

Кончается стишок.

Мысль, заключенную в проникновенном творении
П. Панченка, в четкой прозе излагает и сообщение

ОТ СЕКРЕТАРИАТА РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей — как сейчас Союз писателей. — Г. С.). «Воевавший в своем творчестве против всяких жалких «любовишек» и семейных, камерных драм, отдавший оружие своего художественного слова борьбе за новую жизнь, в которой не будет места маленьким личным чувствам, он сам оказался жертвой цепкой силы старого мира. У этого огромного поэта, призывавшего миллионы трудящихся к революционной переделке жизни, нехватило сил для переделки своего собственного личного семейно-бытового уголка».

И нарком Луначарский уверяет в речи над гробом:

«Смерть эта вызвана чисто личными мотивами — об этом говорит и письмо, оставленное им. Трагически и жалко звучат его строки о «разбившейся любовной лодке». Кое-кому хочется трактовать самоубийство Маяковского как поражение его — общественника и революционера. Жаль, что против этого не может возразить сам Маяковский так резко, непримиримо и уничтожающе, как умел только он».

Вот уж верно — жаль, не встанет покойный... Что-то все слишком настойчиво талдычат об отсутствии общественных причин для поэтава самоубийства — слишком назойливо; хоть Ты и молод еще, читатель мой, а уже усвоил; раз уверяют — нет, значит — есть. Но во всяком случае, револьвера в руку его, кажется, никто не всовывал и нет подозрений, будто самоубийство сфабриковано, стрельнули из окошка, а записочку стихотворную подделали.

А в Ленинграде почти ту же мысль, но еще оригинальнее, высказал тов. Сутырин:

«Не обывательские сплетни и не напыщенные речи, а трезвый большевистский анализ происшедшего несчастья нужен сейчас, такой анализ, какой дал сам Маяковский после смерти Есенина».

Оч-чень ценная мысль!

Отклики, траурные отклики со всей страны:

В Москве:

«Наркомпрос РСФСР постановил учредить две стипендии имени Владимира Маяковского».

В Ленинграде:

«Его преждевременная смерть — тяжелый удар по пролетарской литературе».

В Харькове:

«Без малодушных срывов в едином творческом коллективе будем строить новую жизнь».

Во Владимире:

«В связи с самоубийством библиотеки отмечают повышение спроса на книги Маяковского».

Описание панихиды —

У ГРОБА

«У помоста, за скамьями с семьей и близкими друзьями Маяковского — художники, рисующие поэта в гробу».

А после описания — «Помещенный во вчерашнем номере «Известий» рисунок «Маяковский в гробу» выполнен художником Евг. Кацман».

Понятно всё: забыли газетчики в горе да в слезах сообщить миру имя автора рисунка, а он, хоть тоже весь в горе да в слезах, тут же и напомнил, прибежал, скандал устроил — хоть и горе, а не смейте меня, Евг.

Кацмана, зажимать, да и гонорар попробуйте только не выписать!

Да-с, инцидент исперчен. Можно вернуть подшивку «Известий» за март-апрель 1930-го года любезной служительнице газетного фонда и отправиться в универмаг. Прощай, горлан-главарь, земля тебе пухом, кажется, человек ты был честный: хоть и порядком напутал в своем словотворчестве — но пулей грехи все свои, как есть, искупил. Какие грехи? А это ведь ты, Владим Владимыч, первым в русской советской поэзии создал культ вождя — нет, не того вождя, не Сосо Джугашвили, а Первого самого Отца Революции, Владимира Ульянова; это ведь ты в своем безудержно-славословящем философствовании заявил: «мы говорим Партия — подразумеваем Ленин» и насчет «шагов Ильича от победы к победе» и «кланяются Ильичевой республике советов» и много еще всякого такого, после чего наше родное украинское в честь нового Великого Вождя и Учителя «Із-за гір та з-за високих сизокрил орел летить» — покажется и вовсе не славословием, так себе лепет безобидный. Но пуля, конечно, искупает. Вот и с газетной страницы так славно глядишь — папироска в правом углу, кепчонка, угрюмый взгляд. Прощай.

И прежде чем закрыть «с тихим шорохом глаза страниц» (строчка из Маяковского, неплохая, по-моему, у него много очень неплохих строчек), окидываешь Ты взглядом, мой читатель, другие заголовки той же газетной полосы. И слева от поэтового портрета охватываешь крупное жирное черное:

**ТЕРРОР, ВОССТАНИЕ, ИНТЕРВЕНЦИЯ —
пути контрреволюционной работы «СВУ».**

Опять — «СВУ», уже попадалось в заголовках. Что за такое — «СВУ»? И террор и восстание. Прочитать, разве, статейку? Так и быть, прочитаю, поспею еще в универмаг...

Спасибо Тебе, мой читатель, что принял Ты такое

решение — успею еще... И не удивляйся, что не слышал про «СВУ». Ты юн, а 45 лет (сейчас у нас 1975-й, то был — 1930-й) большой срок, особенно в нашу космическую эру. Не удивляйся. На днях отец одного Твоего сверстника — интеллигент, эрудированный пятидесятилетний журналист — спросил у меня:

— А что такое — СВУ?

Но и это не удивительно. А вот что в том же далеком 1930-м украинские мужики с торбами, куда едва успела им вбросить жена или мать шмат сала и краюху хлеба, да еще сам в последний миг схватил со стола любимого «Кобзаря» (утверждают свидетели, что у всех без исключения тех «дядьків» в торбе рядом с хлебом и салом лежал шевченков «Кобзарь»), — те мужики в тюрьмах, на пересылках и в лагерях на вопрос — «за что сидишь?» — отвечали: — Та за какое-то Се-ве-у... Не знаете, что оно за Се-ве-у? — вот это уже удивительно...

Итак —

На процессе «СВУ»

ТЕРРОР, ВОССТАНИЕ, ИНТЕРВЕНЦИЯ — пути контрреволюционной работы «СВУ»

Речь государственного обвинителя т. Михайлика

Скользнули глаза по первому вводному абзацу — и

«В чем мы их обвиняем? — спрашивает т. Михайлик и отвечает, указывая на скамью подсудимых: — Мы обвиняем вас в том, что вы, идеологи украинской буржуазии и кулачества, агенты международной буржуазии, стремились свергнуть советскую власть, систему и основы социалистического строительства... Вы проводили подготовительную работу к вооруженному восстанию... Вы хотели и теперь оторвать Украину от Советской Социалистической Республики... Вы включили в свою боевую тактику массовый и индивидуальный террор, чтобы уничтожить наиболее выдающихся деятелей нашей партии и советской власти... Вы были разведчиками классового врага на советской земле...»

Ого!

...политических представителей враждебного класса, разбитых в открытом бою, превративших научные заведения в штабы восстания, контрреволюционных заговоров и явки для шпионов, превративших знания и специальность в орудия подрывной работы и антисоветских поступков, составлявших в своем контрреволюционном подполье план кровавого угнетения трудящихся и уничтожения кадров настоящей интеллигенции, — тех, кто составлял план поворота культуры и нации назад к условиям капитализма, кто искал боевых контрреволюционных действий и создал законспирированную организацию «Спілка визволення України», — вот кого судит Верховный суд Украины.

Вот почему, товарищи судьи, такую интеллигенцию ундовский и петлюровский лагерь, польская буржуазия считают своей и кричат об «опасности» для «мозга» украинского народа, в действительности же — мозга украинской контрреволюции...

Называются имена и фамилии: Сергей Ефремов — бывший глава партии социалистов-федералистов; научные командировки за границу доставались членам «СВУ» Черняховскому и Ганцову; Владимир Чеховский — бывший премьер-министр петлюровско-винниченковского правительства; Старицкая-Черняховская — «прошла позорный кровавый путь вместе с Петлюрой».

Создали «центр» в июне 1926 года. «Весь 1926-27 г. центр безостановочно проводил работу, создавая свои ячейки в разных областях».

«Кульٹ Петлюры, знаменитого погромщика, был необходим им, как способный поднять волну зоологического национализма, как призыв к звериной мести, к погромам...»

Серьезно замахнулись, мерзавцы! Ну-ка, дальше!

Пути уничтожения советской власти — **террор, восстание, интервенция империалистических государств** — черным набрано. И опять черным:

«Восстание было программным требованием «СВУ», ради него была создана развитая подпольная контрреволюционная организация, ему на службу поставили специально созданный петлюров-

ский аппарат... — церковь, научные заведения, школу, медицину».

«Начало повстанческого движения они представляли себе весной или летом 1930 года., возлагали особенные надежды на 1931 год...»

«Дело восстания было прежде всего делом центра «СВУ» и поэтому, как показал подсудимый Дурдуковский, «вопрос о подготовке восстания президиум «СВУ» рассматривал на своем заседании в конце 1928 или в начале 1929 года».

Погоди, постой, что-то странное в этой фразе... Ага, «как показал подсудимый Дурдуковский», вот странное. Раньше сказано:

«Восстание было программным требованием «СВУ», ради него была создана развитая подпольная контрреволюционная организация

— а тут

«...как показал подсудимый Дурдуковский, «вопрос о подготовке восстания президиум «СВУ» рассматривал на своем заседании в конце 1928 или в начале 1929 года»...

Получается только раз рассматривал? Как же тогда — «восстание было программным требованием»? И почему приведено показание одного только какого-то Дурдуковского? И зачем оно приведено? Ведь наверное же в распоряжении государственного обвинителя, — как его там, тов. Михайлика, — сотни свидетельств и документов, доказывающих, что «восстание было программным требованием «СВУ»? Странно. «...как показал подсудимый Дурдуковский...» Ладно, чёрт с ним, возможно — другие документы вылетели при верстке газетного номера, не поместились...

«В конце своей большой речи государственный обвинитель тов. Михайлик говорит:

— Доказаны ли ходом предварительного и судебного следствия пункты обвинения, поставленные здесь прокуратурой? Доказана ли исключительная опасность для жизни пролетарского государства, для независимости Украинской Советской Социалисти-

ческой Республики, для благосостояния и социалистического будущего трудящихся нашей страны предательской, контрреволюционной работы тех, кого опытная рука Государственного политического управления своевременно извлекла из подполья? Доказана ли исключительная социальная опасность подсудимых Ефремова, Дурдуковского, Чеховского, Гермайзе, Никовского, Старицкой, Гребенецкого, Черняховского, Ганцова, Павлушкова и Матушевского? Доказано ли, что перед нами тут активный, с неимоверно кровавым прошлым классовый враг, который в своей звериной ненависти к трудящимся и советской власти готов каждую минуту пойти на подрывную, вредительскую и повстанческую деятельность?»

О, и в самом деле страшный заговор! «Активный, с неимоверно кровавым прошлым классовый враг»! И заключительные слова обвинителя — о том же:

«Против этих людей есть одна мера социальной защиты — расстрел... Пусть суд сам взвесит. (Громкие аплодисменты).»

Правильно! К расстрелу негодяев-вредителей, врагов-предателей! И я бы аплодировал!

Ну-ка, расстреляли их или нет? 16 апреля, 17, 19... Краткое содержание выступлений защиты, последние слова обвиняемых... Ага, вот, 20 апреля.

«Харьков, 19 апреля (ТАСС). Сегодня в 11 1/2 часов ночи после совещания, длившегося свыше двух суток, Верховный суд Украины вынес приговор по делу «СВУ»...»

Дальше, дальше. «Контрреволюционная деятельность доказана, «СВУ» ставил своим заданием свергнуть Советскую власть на Украине, оторвать Украину от Советского Союза...»

«Исходя из всего этого Верховный суд Украины приговорил:

Руководителя и организатора «СВУ» академика Ефремова, являющегося социально крайне опасным, подвергнуть лишению свободы со строгой изоляцией сроком на 10 лет с поражением в правах на 5 лет... Суд признал возможным не применять к Ефремову высшей меры социальной защиты — расстрела — в связи с тем, что он принес полное раскаяние на суде».

Ишь, гуманно помилован. Академик, все-таки, не

молод, ясное дело, — вот и помиловали. А не зря ли, если он такая кровавая гадина, этот академик?

Хм, и остальных не стали стрелять: 10 лет (тогда не давали выше 10, что ли?*) с упоминанием о необязательности расстрела, 8 лет, 5, 3, нескольких — «признавая их пребывание на Украине опасным» — выслать за пределы Украины. Девять подсудимых осуждены условно и по предложению председателя суда «немедленно освобождены из-под стражи». И —

«Приговор окончательный. Обжалованию не подлежит.

Чтение приговора закончилось поздно ночью и было покрыто аплодисментами всего зала».

Ну и пусть, — подумал Ты, мой юный гуманный читатель. Поступили вполне правильно: и страху нагнали за совершенные тяжкие преступления перед Родиной, и кровь не пролита, может — исправятся еще.

И теперь Ты уже с сознанием полностью исполненного полезного дела закрываешь «глаза страниц» и спешишь в универмаг. А я, желая Тебе всяческой удачи и везения с покупками, не отстану от Тебя. Ты шагай себе, беги в магазины, толкайся в очереди, радуйся новому галстуку, а я телепатическим транзистором прилеплюсь к Твоему мозгу, к Твоей памяти и стану Тебе рассказывать о процессе «СВУ» то, что знаю о нем. Знаю не так уж много, потому что заинтересовался делом «СВУ» и я совсем недавно (мне в апреле 1930-го было два года с половиной), и то из-за матери только заинтересовался. И получил я сведения исключительно из тех же газет, которые Ты только что листал. Потому что случилось так, что участников процесса «СВУ» в живых сегодня один — двое, да и те молчат, зареклись вспоминать, боятся. А архивы — не знаю, может, и хранятся где-то архивы, но мне к ним доступа нет.

* Да, тогда не давали ни 15, ни 25: 10 лет — и высшая мера, расстрел.

Ты не сердись, не гони меня. Во-первых, я обещаю захватывающую детективную историю — что твои Сименон с Агатой Кристи! А во-вторых, не ради пополнения Твоих знаний по истории родной страны поведу я рассказ. Дело в том, что Ты, мой мальчик (или моя девочка), — Ты тоже сидишь на скамье подсудимых этого процесса «СВУ». Усмехаешься? Чушь? Нет, не чушь. И усмехаться Ты вскоре перестанешь, не до смеху станет — во всяком случае, я очень на это надеюсь. Да, мой юный читатель, сегодня Ты проходишь по делу почти пятидесятилетней давности. Так случилось, что та вина, за которую осудили («заслуживает расстрела, но, учитывая раскаяние и т. д., и т. п.») Твоих дедов, легла на Тебя. Они свою ответственность взвалили на Твои плечи. Они с а м и взвалили.

Странно? О, милые мои, в этой истории очень много странного.

Итак, я пообещал захватывающую историю. И не отказываюсь от обещанного. Но пока — прошу прочитать еще одну газетную подачу. Она тоже из «Известий» за 1930 год. Вторник, 22 апреля. 20 апреля была опубликована результативная, постановляющая часть приговора: самое интересное, кому — сколько. А через два дня — не поместилось сразу в номере за 20-е — дали первую часть, описательную: за что. Из нее, из этой описательной части, понятным делается, что такое «СВУ», какова его история, каков его состав, в чем его вина. Изложено четко, кратко — всего три газетных подвальных столбца.

ПОСЛЕДНИЙ ЭТАП УКРАИНСКОЙ КОНТРРЕВОЛЮЦИИ

(из приговора по делу «СВУ»)

Процесс «вызволенцев» Украины закончен. Вынесен исторический приговор над участниками контрреволюционной организации, пытавшейся с помощью иностранных буржуазных государств организовать свержение советской власти на Украине и реставрировать капиталистический строй.

За сорок два дня Верховный суд УССР полностью раскрыл неприглядную картину идейного, морального и политического падения кучки людей, осуществлявших под прикрытием своей ученой и неученой работы контрреволюционную деятельность, направленную против интересов трудящихся Украины.

В приговоре Верховного суда точно и определенно говорится:

— «Союз освобождения Украины», организовавшийся бывшими членами партий украинских социалистов-федералистов и украинских социал-демократов, — партий, которые в свое время стояли во главе так называемой «Украинской народной республики», которая прославилась жестоким массовым террором против рабочих и крестьян, расстрелами революционеров и вождей рабочего движения, массовыми еврейскими погромами на территории Украины, — был организацией, единой с петлюровским зарубежным центром, называющим себя правительством УНР. Это была вторая контрреволюционная организация, созданная руководящей группой «СВУ», во главе с Ефремовым. Еще раньше, в 1920 г., глава партии украинских социалистов-федералистов и украинских социал-демократов создал подпольную организацию «Братство украинской государственности» (БУД), чтобы продолжать вооруженную борьбу против власти рабочих и крестьян после разгрома петлюровщины в 1919 году.

В приговоре далее подробно характеризуется контрреволюционная деятельность БУД, который в свое время санкционировал польско-петлюровский варшавский договор, поддерживал связь с бандитскими отрядами и польскими контрразведчиками, оперировавшими тогда (в 1920 г.) на территории Украины, всеми мерами облегчая польскому войску захват Правобережной Украины, и при захвате Киева делегировал в петлюровское правительство во время польской оккупации своих официальных представителей.

БУД, как боевая контрреволюционная организация, ликвидирован в 1924 году, но деятельность Ефремова и его единомышленников не прекращается. Они продолжают работать над консолидацией сил для новой контрреволюционной организации.

Обострение международной обстановки в 1926 году, создание благоприятных условий для петлюровщины в отдельных государствах активизирует петлюровскую контрреволюцию. В 1926 году украинские социал-демократы, украинские социалисты-революционеры и украинские социалисты-федералисты, пребывающие в эмиграции, создали за границей «Союз освобождения Украины».

В июне 1926 года Е. Ефремов* получил через одно из иностранных консульств в Киеве от главы зарубежного «СВУ» Л. Чикаленка письмо, в котором сообщалось о создании за границей «СВУ» и предлагалось основать такую же организацию в УССР. Ефремов, В. Чеховский, Никовский, Старицкая-Черняховская, Дурдуковский и Гребенецкий тогда же постановили создать на Украине такую же организацию под названием «СВУ».

Руководящий центр «СВУ» на первых своих собраниях разрабатывал программу «СВУ». Установлено, что эта программа предусматривала вооруженный отрыв Украины от Советского Союза и отдачу ее под протекторат буржуазной Польши, восстановление собственности на землю, фабрики, заводы, недра, возвращение бывшим украинским, польским и другим помещикам земель, отданных Октябрьской революцией крестьянству, с тем, чтобы селянам предоставить право эту землю у помещиков выкупить.

Основной социальной базой, на которую опиралась и ориентировалась «СВУ», должно было быть украинское кулачество. Прикрываясь лозунгом независимой Украины, «СВУ» стремилась в действительности с помощью международной буржуазии полностью ликвидировать все завоевания Октября, стремилась к восстановлению эксплуатации помещиков и фабрикантов над миллионами украинских рабочих и крестьян и превращению Советской Украины в аграрную колонию международного империализма, полному социальному и национальному закреплению украинских трудящихся масс. То, что благодаря пролетарской революции, не удалось осуществить правительствам УНР, которые на протяжении шести лет

* Опечатка в газете: надо С. Ефремов, Сергей, Сергей Александрович Ефремов, литератор, историк-украинист; на него ученые и преподаватели ссылаются и в наши дни, добавляя к «историк» — «буржуазный».

продавали Украину по очереди немецким, французским, польским капиталистам, белогвардейским генералам Деникину, Врангелю, это хотела сделать «СВУ».

В приговоре подробно говорится также об организационных формах «СВУ», о создании так называемых пятерок автокефальной, школьной, медицинской, академической и других, о периферийной сети в Одессе, Днепропетровске, Полтаве, Чернигове, Николаеве, Виннице.

Организовав на Украине сеть ячеек «СВУ», центральная группа во главе с академиком Ефремовым через своих эмиссаров руководила всей преступной деятельностью организации, используя в качестве опорного пункта Всеукраинскую Академию Наук, давая отсюда всем группам директивы и контролируя выполнение их. По директивам центра были организованы кружки «СВУ» в вузах, в научно-педагогическом товариществе и в институте научного языка при ВУАН, в ИНО, в мединституте. Осуществляя развитую программу подготовки к вооруженному восстанию, срок которого намечался на 1930-31 год и связывался с иностранной интервенцией, «СВУ» уделял главное внимание собиранию и воспитанию будущих кадров восстаний, причем в этом отношении основными источниками были автокефальная церковь и СУМ.

Церковная пятерка «СВУ» во главе с В. Чеховским, используя служителей церкви и контрреволюционный кулацкий состав актива пятидесяток, превратила автокефальную церковь в сборные пункты командного состава будущего восстания. В автокефальную церковь в качестве руководителей и служителей культа подбирались люди не по религиозным, а по политическим признакам.

Для объединения кулацко-поповской контрреволюционной молодежи «СВУ» создала под непосредственным руководством Ефремова и Дурдуковского боевую организацию СУМ во главе с Павлушковым и Матушевским. СУМ вербовал кулацко-поповскую молодежь, распространял антисоветские воззвания, создавал нелегальные кружки. В своей программе, совпадавшей с программой «СВУ», СУМ имел специальный пункт об индивидуальном терроре и организации террористических актов против руководителей партии и советского правительства и проводил подготовку к осуществлению террористической деятельности.

Особенно активную деятельность развила ячейка «СВУ» в медицинской секции ВУАН. Заданием этой ячейки было воспитание молодых врачебных кадров в духе «СВУ» для контрреволюционной работы на селе. Медсекция признавала медицинский тер-

пор, стоя на той позиции, что больных коммунистов надо не лечить, а уничтожать.

Украинские националисты, и в частности Ефремов, принимали все меры к тому, чтобы создать единый фронт против республики Советов с русской белоэмигрантской контрреволюцией. Неприкрытая и выявленная ориентация «СВУ» на интервенцию империалистических держав с полной очевидностью свидетельствует, что «СВУ» представляет собой неотъемлемый отряд международной контрреволюции, является ее агентом, исполнителем ее воли и опаснейшим врагом трудящихся масс.

Принимая во внимание всё указанное, учитывая, что преступления, совершенные подсудимыми, были направлены к восстановлению власти буржуазии и реставрации прав помещиков и капиталистов, на закабаление трудящихся Украины иностранным капиталом и потому являются чрезвычайно социально опасными; наряду с этим, принимая во внимание, что подсудимые признали всю вредность контрреволюционных организаций зарубежного «Союза Освобождения Украины» и так называемой «Украинской Народной Республики», что подсудимые обнаружили полное раскаяние и полностью осудили свое контрреволюционное прошлое, Верховный суд УССР приговорил их к тем срокам наказания, о которых у нас в «Известиях» уже сообщалось.

Понятно в общих чертах, не так ли? Еще раз — для закрепления — по пунктам

1. Контрреволюционная организация «СВУ» — «Спілка визволення України» — ставила своей целью свержение советской власти, отторжение Украины от Советского Союза, реставрацию помещичье-буржуазного строя.

2. Создали ее и руководили ею бывшие петлюровцы, убийцы, погромщики.

3. Возникла организация в 1926 году, когда Ефремов и прочие кровавые антисоветчики получили соответствующую директиву от зарубежных врагов Советского Союза.

4. Центр «СВУ» быстро расширил свою организацию, создал многочисленные пятерки при разных учреждениях в Киеве, а также широкую сеть филиалов

во многих областях Украины; периферия и пятерки постоянно получали от центра директивы о подготовке вооруженного восстания и проведении вредительской работы.

5. В программе и уставе «СВУ» четко записано:

а) признать и приветствовать массовый и индивидуальный террор,

б) всемерно расширять организацию за счет кулацко-поповских элементов.

6. Опорным пунктом «СВУ» стала ВУАН (Всеукраинская Академия Наук), которую полностью прибрали к рукам ученые-контрреволюционеры.

7. Украинская церковь, которой командовала специальная пятерка «СВУ», превращена в сборные пункты комсостава будущего восстания.

8. СУМ (Союз украинской молодежи) — боевая террористическая организация — готовила массовые кровавые операции против коммунистов.

9. Ученые-медики из медсекции ВУАН, члены «СВУ», воспитывали молодых врачей для контрреволюционной работы в народе и призывали их осуществлять медицинский террор: не лечить больных коммунистов, а убивать.

Естественное резюме: «СВУ» — опаснейший отряд международной контрреволюции.

И начинается обещанный детектив. Внимательно вчитайся, мой юный читатель, в следующие ниже строки.

НЕ БЫЛА «СВУ» опаснейшим отрядом международной контрреволюции.

Ученые-медики из медсекции ВУАН НЕ ВОСПИТЫВАЛИ молодых врачей для контрреволюционной работы в народе и НЕ ЗВАЛИ к осуществлению медицинского террора.

СУМ (Союз украинской молодежи) НЕ БЫЛ боевой террористической организацией, НЕ ГОТОВИЛ убийств коммунистов.

ВУАН (Всеукраинская Академия Наук) занималась в меру сил наукой для народа и НЕ БЫЛА опорой контрреволюционной организации «СВУ».

НЕ РАСШИРЯЛАСЬ «СВУ» за счет кулацко-поповского элемента.

Программа и устав «СВУ» НЕ ПРИЗНАВАЛИ и НЕ ПРИВЕТСТВОВАЛИ террора — НЕ БЫЛО вообще программы и устава «СВУ»!

Центр НЕ РАСШИРЯЛ организацию, НЕ СОЗДАВАЛ филиалов на периферии и пятерок в киевских учреждениях.

Ефремов и прочие погромщики НЕ ПОЛУЧАЛИ директив от зарубежных врагов и НЕ СОЗДАВАЛИ в 1926 г. «СВУ» — не создавали ни в 1926-м, ни в каком другом!

НЕ БЫЛО в руководстве организации кровавых убийц и погромщиков!

НЕ БЫЛО руководства организации!..

— Постойте, погодите! — слышу, восклицаешь Ты, мой читатель. — Как так — не было?!

— НЕ БЫЛО!!!

— А что же было?

— НИЧЕГО НЕ БЫЛО!

— Но «СВУ» — была?

— НЕ БЫЛО!

— И «СВУ» не было?

— НЕ БЫЛО!!!!!!!!!!!!!!

— Но... но что-то же было???

А было вот что. В течение нескольких лет группа друзей, киевских интеллигентов, собиралась в теплой компании в доме В. Ф. Дурдуковского и мужа его сестры С. А. Ефремова — «сидели вокруг «гусака», играли в карты и поругивали советские порядки». «Гусаком» называли куманец с водкой, который неизменно украшал стол — пили, кстати, совсем мало, совсем не пили. Фраза взята мной в кавычки: я привожу слова человека, который знал С. А. Ефремова, В. Ф. Дурду-

ковского и многих их друзей — привожу, так сказать, безымянно, потому что человек этот отказался говорить со мной о тех событиях и называть его я не имею права.

— До тех пор, — сказал он, — пока в УРЕ (Украинская Радяньска — то есть Советская — Энциклопедия, — пояснение мое. — Г. С.) сказано, что «СВУ» — антисоветская организация — я отказываюсь от каких бы то ни было воспоминаний.

Да, еще одно было. Была, существовала, сверх государственного ежедневно и ежечасно спускалась и накалялась установка — искать и находить врагов народа, контрреволюционеров, антисоветчиков, вредителей. Их искали и находили. Почему была установка — поговорим позже.

Вот что БЫЛО. Ты поражен, мой читатель? Нет — не поражен?

Предвижу две Твои возможные реакции.

Первая: — Подумаешь — еще одна история о нарушении социалистической законности, о несправедливых репрессиях в годы культа личности Сталина! Знаем, слышали про 37-й год. Ну, выполнял кто-то там волю диктатора, обвиняли неповинных — а там, конечно, и повинных полно было, лес рубили — щепки летели. Так что новости никакой в еще одной подобной истории для меня в принципе нет.

Вторая реакция: — Что ты всё — «не было» да «не было»? Было! Не могло ничего не быть! Где доказательства? У суда они были? Были! А где — твои? Ну-ка, докажи!

Отвечаю пока очень предварительно.

По поводу **первой реакции**. Я знаю, читатель мой, что Ты слышал про год 37-й и что в принципе Тебя не удивит. Но детектив не в этом, погоди с выводами о том, кто убит и кто убийца.

По поводу **второй реакции**. Да, доказать, что ничего не было — мне тяжело. Чрезвычайно тяжело,

поскольку подлинных документов у меня нет. Впрочем, как Ты вскоре увидишь, их, подлинных документов, и у суда — следствия — прокуратуры, ведших процесс «СВУ», — тоже нет. Тяжело мне, поскольку и свидетелей у меня фактически нет. Подсудимые по делу «СВУ» — на том свете, во всяком случае... нет, позже об этом. Судившие — тоже на том свете, причем отправились они туда в большинстве своем много ранее подсудимых, уж так судьбе угодно было. Так что из свидетелей прямых — т. е. у которых я сам выпрашивал — есть только те, кто тогда сознательно жил и, хоть не знает в деталях процесса «СВУ», помнит детали той эпохи; двое из них, из этих свидетелей эпохи (так их и назову), знали двоих из подсудимых и осужденных — позже знали, когда те вышли на волю: один — чтобы вскоре покончить с собой, другой — чтобы погибнуть в Ленинградской блокаде. Кое-что от них мои «свидетели эпохи» услышали и не побоялись передать мне, получив от меня заверения, что нигде никому ни письменно, ни болтливо я их не выдам. Есть еще один свидетель, настоящий, который знал С. А. Ефремова и его окружение, он и маму отлично знал, — но и его я называть не имею права.

— Какие же это свидетели? — спрашиваешь Ты, читатель, — если их называть нельзя? Выдумка, фикция, а не доказательство!

А я знаешь, как поступлю? Я не стану на их показаниях строить доказательства. Доказательств по-ищем в ином. Но они, свидетели мои нерасшифрованные, — пусть говорят. Думаю, сам почувствуешь: они говорят такие вещи, которых придумать невозможно.

На чем же, спрашиваешь, хочу я строить свои доказательства? А на тех же газетных материалах, с которых началось наше с Тобой, читатель мой, знакомство. Буду очень внимательно вчитываться в допросы, которые в сокращенном виде появились на

газетных полосах, в обвинительное заключение, в речи прокурора и защитников, в репортажи из зала суда. И Тебя приглашу вчитываться вместе со мной.

А детектив как же? А детектив от этого не проиграет. Наша задача, как при чтении любого детектива, — выяснить, кто убит, а кто убил. Вот мы и примемся ее решать по всем законам детективного жанра, распутывая хитрые петли грандиозного исторического преступления.

3. КТО КОГО УБИЛ?

Случилось вот как.

Мой дядя, брат моей матери Вадим Николаевич Собко, известный украинский писатель, обаятельный человек, герой Великой Отечественной войны, потерявший под самым Берлином в последние дни сражений левую ногу, сказал мне, желая убедить в том, что политически предать друга, всенародно отречься от него соответствующим выступлением в прессе, — это абсолютно нормальный, партийный советский поступок.*

— А ты знаешь, Гелюшка (так меня в детстве называли родные), какую роль сыграла твоя мать в деле СВУ? Не знаешь? Так вот слушай. В ранней юности она была дружна со многими членами этой антисоветской организации — учились еще вместе в школе, в 1-й киевской трудшколе имени Шевченка, я тоже там

* Случилось так, что КГБ и партийные органы «пришили» мне кучу грехов, поперли из партии, лишили права печататься и служить в кинематографии — это теперь, в 1974 году. Поводом ко всему этому явилась моя многолетняя дружба с писателем Виктором Некрасовым, которого и прежде власти били и травили, а тут и вовсе потащили на расправу. Мне было предложено выступить в прессе со статьей, поносящей Некрасова: выступи — и тебя простят. Я отказался.

учился, только чуть позже. И потом, когда она поняла, куда ведут, к чему стремятся эти ее друзья юности, — она сначала убеждала одного из них, из молодых Заправил СВУ, Павлушков был такой, Микола Павлушков, а потом, когда увидела, что убеждениями их не проймешь, Наталья написала донос в ЦК комсомола. Да, да, обо всем написала. Можешь назвать это доносом, она сочла нужным донести! На врагов! На врагов социалистического строя — и своих. И это ее письмо в ЦК комсомола, чтобы ты знал, Гелюшка, явилось тем главным и основным документом, который разоблачил заговор и дал в руки ГПУ самый важный материал. Вот так, племянничек. Ты не знал об этом? Так вот знай!..

Дядюшкины слова дубиной меня оглоушили. Но дело не в этом. Абсолютно нехотя — вот уж никак ему того не желалось! — дядя мой, ультраконформистский писатель страны Советов, толкнул меня на изучение истории СВУ и на писание этих глав...

Итак, читатель мой, отлистаем назад газетную подшивку, вернемся на два месяца — в февраль 1930 года. А поскольку события происходили на Украине, то попросим к уже лежащим перед нами на столе «Известиям» добавить еще и главную украинскую газету «Вісті», в ней, естественно, процесс освещался значительно подробнее, чем в общесоюзном органе*.

В «Вістях» за 25 февраля находим упоминание о СВУ. Эдакий первый анонс. Впрочем, не ручаюсь, что первый. Возможно, что и раньше, в январе 1930-го или в конце 1929-го, где-то еще промелькнула похожая афишка.

* «Вісті» — по-украински «Известия», украинская газета на украинском языке. Все материалы из нее даю в собственном переводе. За точность перевода ручаюсь своей профессиональной литературской честью. Но, понятное дело, недоверчивый имеет право усомниться — тогда пусть обращается к подшивкам.

Под заголовком
**В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ МАРТА НАЧНУТ
СЛУШАТЬ ДЕЛО «СВУ»** — читаем (цитирую с про-
пусками):

«Заместитель Наркомюста и Генеральный Прокурор Респу-
блики т. Михайлик заявил:

— ГПУ УССР закончило проведение следствия по делу «СВУ».

Дальше — абзац об уже нами читанном, о задачах
— готовить вооруженное восстание, о связи с украин-
ским петлюровским центром. И —

«Материалы предварительного следствия (признания подсудимых,
программа организации, ее устав, документы, обнаруженные у под-
судимых) доказывают наличие контрреволюционных деяний, как
у всей организации в целом, так и каждого ее участника».

Сказано, что прокуратура привлекла по делу 45
лиц.

Начиная со следующего номера (с 26 февраля),
«Вісті» печатают данные обвинительного заключения.
Вот, к примеру, в номере за 26-е — первая подача:

«СВУ»

ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО ДЕЛУ «СВУ»

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ «СВУ»

Органы ГПУ УССР раскрыли и ликвидировали во второй половине
1929 г. подпольную контрреволюционную организацию, которая
называлась «СВУ»...

И так далее. Подробно, два подвала убористым
шрифтом. В следующем номере — за 27 февраля —
раздел II обвинительного заключения:

**ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУКОВОДЯЩЕГО ЦЕНТ-
РА «СВУ», опять два подвала.**

За 28 февраля —

III.

ПОВСТАНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «СВУ»,
ПОТОМ —

ПОЗИЦИЯ «СВУ» В ВОПРОСЕ О ТЕРРОРЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АВТОКЕФАЛЬНОЙ ЦЕРКВИ
— ОРУДИЯ «СВУ»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КООПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ
«СВУ»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «СОЮЗА УКРАИНСКОЙ МОЛОДЕЖИ» («СУМ»)

МЕДИЦИНСКАЯ СЕКЦИЯ

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО

ШКОЛЬНАЯ ГРУППА

КОНТРРЕВОЛЮЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
«СВУ» НА КУЛЬТУРНОМ ФРОНТЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «СВУ» НА ПЕРИФЕРИИ

В каждом номере газеты «Вісті» с 26 февраля по 9 марта 1930 года — два, а иногда три подвала.

Наконец, 9 марта читаем выдержки из собственных показаний десяти главнейших подсудимых и в номере за 10 марта — первый репортаж из зала суда, подписал его какой-то М. Берлин.

*ОСКОЛКИ СОКРУШЕННОГО**

— Большой зал Государственной оперы, где происходит процесс, переполнен трудящимися...

— В дипломатической ложе присутствует дипломатический корпус в полном составе...

— Из 45 обвиняемых — 20 происходит из поповских семей. Остальные — из помещиков, офицеров, чиновников и т. п. ...

* Не совсем точно — «сокрушенного», по-украински «Сколки потрошеного».

— Читают акт обвинения... Страница за страницей, раздел за разделом, эпизод за эпизодом... Перед аудиторией ярко вырисовывается лицо обвиняемых и их предательская контрреволюционная деятельность. Обвиняемые сливаются в единую фигуру украинского воинствующего фашизма...

Ого! Вот это — образность: все 45 — сливаются в единую фигуру украинского воинствующего фашизма!.. Погодите, а не рано ли? Не рано ли казнить? Ведь только начинается судебное разбирательство? Ведь для того и будет суд заседать 42 дня, чтобы разобраться, правильно ли предъявлено обвинение? А вдруг — невиновны? Ну, хоть не все 45 невиновны, а хоть один из 45-ти, а мы уже, газетчики, М. Берлин, и его туда же упекли, в «единую фигуру украинского воинствующего фашизма»? Кажется, по каким-то там международным юридическим правилам вина может быть доказана только судом, обвинение следственных органов — далеко еще не факт, так, кажется, считают во всем цивилизованном мире? Да и по нашему советскому уголовному кодексу вроде бы так? В ныне действующем УК Украины читаем:

«СТАТЬЯ 3... Уголовное наказание применяется только по приговору суда».

Так то наказание, наказание после суда и последует... Простите, а публично, в газете, в органе партии и государства, причислить человека к фашистам до суда — разве это уже не наказание? Говорят, можно в подобных случаях подавать на газету в суд? Да, говорят, — в фашистской Германии можно было, Георгий Димитров подавал в суд на газету за преждевременное обвинение его в той газете и, насколько я помню, выиграл дело, газету приговорили к штрафу.

Постойте, может, это М. Берлин в «Вістях» только позволил себе такое? Ну-ка, попросим еще подшивку самой наиглавнейшей партийной нашей газеты — «Правду» нам, пожалуйста! Вот она, «Правда», 11 мар-

та 1930 года, полутораподвальная статья Н. Попова «Судороги украинской контрреволюции». Читаем:

«Именно теперь (в 1926 году. — Г. С.) по прямой директиве петлюровского правительства, образуется «Союз Вызволения Украины» с ориентацией на капиталистические элементы внутри страны и помощь извне...

Как оказалось теперь, он (подсудимый Никовский, попросивший в 1924 г. разрешения вернуться на родину из эмиграции. — Г. С.) был специально послан Петлюрой для организации «Союза Вызволения Украины...

В Академии наук уютно устроилась главная ячейка...

Террор и вредительство — стали их методом внутренней борьбы...»

Как видите — и в «Правде»: уже образовался, уже оказалось теперь, уютно устроилась, стали их методом — как словно бы уже всё доказано.

Э, да полно вам. Чего мы лопимся в открытую дверь! Ведь два дня назад, 9 марта, те же «Вісті» опубликовали выдержки из собственных признаний обвиняемых — так сказать, квинтэссенцию признаний, наиболее ударные и выразительные абзацы и фразы. Вот они, читайте!

С. ЕФРЕМОВ: — ...люди, которые так могут ошибаться — обязаны сойти с политической арены раз и навсегда... С политической точки зрения имеем многоглавый труп...

Этот как-то слишком образно вяжет, не до конца, словно бы, «колется». Следующий —

В. ДУРДУКОВСКИЙ: — Высказываю глубокую печаль и сожаление, что под влиянием и грузом прошлого, которое, конечно, осуждено на агонию и смерть, я не имел силы и смелости решительно пойти навстречу тому молодому, многонадежному, что принесла коммунистическая партия...

Тоже и этот жует жвачку — печаль, сожаление, сопли-вопли, не признается напрямик. Кто он там такой? Дурдуковский Владимир Федорович, 57 лет, из попов, директор трудшколы № 1 имени Т. Г.

Шевченка. Да к чертям его... А вот дальше, вот:

В. ЧЕХОВСКИЙ: — Приношу перед советской властью абсолютное, полное и искреннее раскаяние за всю мою вину в контрреволюционной организации...

О. GERMAЙЗЕ: — ...всё жалкое, беззубое шамканье, бессильная злоба, пресмыкание — осуждены историей на уничтожение...

Ха, этот вроде бы уже себе и приговор выдал!

А. НИКОВСКИЙ: — Я, как человек, который был деятельным участником, апологетом и сторонником всех названных выше преступлений... искренне осуждаю...

О, четко и прямо!

О. ГРЕБЕНЕЦКИЙ: — ...идя на суд за свою контрреволюционную и предательскую работу, я хочу заявить, что любую кару приму как вполне заслуженную.

К. ТОВКАЧ: — Отныне признаю советскую власть, как единственную государственную форму...

А где раньше был?

В. ПИДГАЕЦКИЙ: — Я не в силах измерить всех результатов этой своей контрреволюционной работы...

Гр. ГОЛОСКЕВИЧ: — Вскрывая свое и моих товарищей контрреволюционное прошлое, искренне и прямо признаюсь в своей антисоветской деятельности...

Мужественно и честно! И последний, десятый — вернее, последняя:

Н. ТОКАРИВСКАЯ: — Раз мы имели мужество быть членами «СВУ», раз теперь понимаем и осуждаем свою идеологическую политику и способы ее осуществления, тем более должны мы радоваться, что дело организации «СВУ» передано в суд. Мы вскрыем на суде суть всей нашей антисоветской деятельности, ее ошибки, покажем, что аресты украинской интеллигенции — это не есть поход советской власти против украинцев, как, наверное, думают на воле, что недоверие советской власти, если оно и было, имеет на то свои основания. Оглашение материалов заставит наших однодумцев, всю контрреволюционно настроенную интеллигенцию, а таковая есть, критически отнестись к своим взглядам, мыслям, настроениям...

Ну-у, эта вообще арию поет, неловко даже как-то читать подобное... «Должны мы радоваться...» — бред какой-то, чего ж ты туда лезла? И как понимать — «как, наверное, думают на воле» или «недоверие..., если оно и было» — какое еще если, раз арестовали? Да шут с ней, попалась одна истеричка. Кстати, что ей там по приговору через 42 дня вкатили? Три года условно, тут же в зале суда и выпустили на волю — ишь, не зря столь искреннюю истерику порола, «должны мы радоваться»!

Так это же совсем иной поворот! Раз сами признались — мы преступники и контрики — то можно и газете так их называть! Даже и до суда можно, а чего с ними цацкаться, раз сами признались!..

Нет, погодите, кажется, все-таки нельзя. Потому что... В самом деле, зачем же тогда суд? Он же тогда превращается в формальность? Прощтемпелевать обвинительное заключение следствия — и баста? Но суд ведь призван совсем к иному?.. И еще одно. Где-то там в каких-то странах, европейских, буржуазно-загнивающих, есть, говорят, специальная в кодексах статья о том, что собственное признание обвиняемого не может рассматриваться судом, как доказательство вины обвиняемого, потому что... Ну, по многим причинам. А у нас — нет такой статьи? Нет, у нас такого — в ныне действующем кодексе — нет. И раньше никогда не было? А раньше — было. История этой статьи в кодексах государства Российского примерно такова — я не специалист, старинных кодексов не изучал, так что в деталях где-то могу оказаться неточным, но в общих чертах выглядит это дело так.

До Петра I на признаниях личных держались, как правило, все обвинения. Попытки в связи с этим процветали: не скажешь «подлинную» (т. е. под линём) — скажешь «подноготную» (иглы под ногти) — и дело твое решено. Петр I это отменил, и никак судьи не могли с новым положением свыкнуться, о чем пре-

дельно четко говорит устами Петра Гринева А. С. Пушкин в «Капитанской дочке»:

«Пытка встарину была так укоренена в обычаях судопроизводства, что благодетельный указ, уничтоживший ее, долго оставался без всякого действия... Думали, что собственное признание преступника необходимо было для полного обличения — мысль не только не основательная, но даже совершенно противная здравому юридическому смыслу: ибо если отрицание подсудимого не признается за доказательство его невиновности, то признание его и того меньше должно быть доказательством его виноватости».

(«Капитанская дочка», гл. VI)

Положение это, появившееся при Петре, оставалось, насколько мне удалось установить, и далее при всех царях аж до самого Великого Октября. И после Октября еще некоторое время — во всяком случае, в 1922 году В. И. Ленин, редактируя (то ли просматривая) проект судебного законоуложения молодой державы победившего социализма, подчеркивал необходимость сохранить пункт о недопустимости положения, при котором личное признание является доказательством вины. Но на это замечание Вождя судьи внимания обращали мало. А в 1932 году В. Я. Вышинский положение это для советского судопроизводства отменил. Подвел мощную теоретическую базу Януарьевич (на XXIII съезде КПСС Н. С. Хрущев назвал Вышинского «юридической дубинкой») и — не стало статьи в кодексе, выжег ее генеральный прокурор каленым железом!

Так то — в 32-м, а в 30-м, выходит, еще была? Ну, в 30-м — в 32-м, подумаешь — два года! Важность велика! Да и вообще — что за «паньские вытребеньки» такие, что за нежности телячьи? Признаешься — стало виноват, и нечего кодекс всякой разной белибердой загромождать! Не виноват — не признавайся!

Правильно это, ох — правильно! Не виноват — не признавайся! НЕ ПРИЗНАВАЙСЯ!!!

А если требуют?

Если... если очень требуют?

«Вісті», 10 марта:

«На суд прибыли 9 свидетелей, а всего вызвано — 10».

Один — не прибыл. Или — одна? Кто? Может, мама? Почему не прибыла?

Приятеля своего, который имеет допуск к спецфондам научной библиотеки и смог получить стенографический отчет о процессе «СВУ» (оказался в фондах только первый том, второй где-то растворился, вернее — его попросту не издали, поскольку не только издателей пересажали, но и членов суда, которые с высокой трибуны громили контру «СВУ», — анекдот, да?! — уже сделали к моменту выхода II тома врагами народа), — приятеля попросил я полистать отчет на предмет сведений о маме. Он оказал мне эту услугу и выписал из отчета четыре куска текста, где упомянута мама.

1. Из допроса подсудимого Павлушкова Николая. Павлушков дает показания:

«Во главе ТЕЗ почетным председателем был Дурдуковский, действительным председателем был Сава Малашук, я секретарь, Борис Матушевский — казначей, Наталья Собко — член просто, и вторым членом был Витя Мазуренко. Кроме того, кандидатов 5 душ» (стр. 460 I-го тома отчета).

О Николае Павлушкове — впереди целая повесть. А пока о ТЕЗе, чтобы не оставлять шарад.

Выпускники 1923-го года Киевской трудшколы № 1 (школу возглавлял блестящий педагог, любимец учеников Владимир Федорович Дурдуковский), храня наилучшие воспоминания о школьных годах, юной дружбе и любимых учителях, решили организоваться в такой себе тесный отряд, чтобы собираться, не разлетаться без вести, бывать вместе и дальше. И придумали они себе название — ТЕЗ, «Товариство єднання

згоди» (Товарищество единения согласия), избрали инициативную группку. И собирались — целый почти год сходились там же в школе, было их, выпускников 23-го года, 60 человек: классов было два, ведь в школе существовала еще и «бурса», как ее называли, — своеобразный интернат для бедных и иногородних школяров, содержать которых помогали на свои кошты В. Ф. Дурдуковский, директор школы, и его родич С. А. Ефремов, академик — времена были тяжелые, жилось впроголодь.

Дурдуковский на допросе говорил об этом так, цитирую по газете «Вісті»:

«Сперва, как заведующий школы, я хотел объединить детей, чтобы они, закончив школу, не растерялись в огромном житейском море. В организации этого товарищества я принимал непосредственное участие... Я вынужден сказать, что, может, моя любовь к детям была ошибочна, может, моя любовь к ним привела кого-то из них на скамью подсудимых...»

«Подсудимый заволновался, — пишет далее газета. — Председатель суда объявляет перерыв».

Гуманный суд, ничего не скажешь.

На скамье подсудимых сидело двое бывших учеников трудшколы имени Шевченка — Николай Павлушков и Борис Матушевский. Произнося эти слова — «может, моя любовь привела кого-то из них на скамью подсудимых», — Владимир Федорович повернулся к ним и как бы к ним обратился. И они на это слово старого педагога едва не вскочили со своих мест, как вскакивали за партами, когда обращался к ним в классе любимый учитель и уважаемый директор...

...Подсудимый заволновался. Председатель суда объявляет перерыв...

Еще о ТЕЗе. Вот из допроса свидетеля Савы Машука (по газете «Вісті»):

«Этот ТЕЗ «в официальной его части» был объединением молодежи, устраивавшим вечеринки, экскурсии, литературные чтения.

Но потом Малашук увидел, что, кроме этой официальной части, есть неофициальная — политическая, антисоветская, и он вышел из ТЕЗа».

И, наконец, в обвинительной речи в конце процесса прокурор Ахматов выскажется так:

«Основанное в школе «Товариство еднання згоди» было полу-легальной организацией, которая имела выразительную контрреволюционную цель (подчеркнуто везде мной. — Г. С.). Это была первичная форма, легальная форма, которая потом позволила руководителям ТЕЗа превратить товарищество в выразительную фашистскую контрреволюционную организацию «Союз украинской молодежи».

Еще несколько показаний о школе № 1, о ее заведующем и о ТЕЗе.

ДУРДУКОВСКИЙ: — Школа считалась образцовой и в ее стенах перебивало много посетителей.

Это — по газете «Вісті». О том же из «Известий»:

«Трудовая школа им. Шевченка считалась в Киеве образцовой школой. Во главе ее стояли известные педагоги... Школа возникла в 1917 году как 1-я украинская гимназия и с самого начала ставила перед собой националистические задачи...»

Как-то странно получается. Пришел 17-й год — и Украина добилась права иметь собственные украинские гимназии — до революции гимназий на украинском языке обучения не существовало. И вот самая первая из них — «с самого начала ставила перед собой националистические задачи»... Как-то оно неловко...

И дальше из «Известий»:

«Дурдуковский был убежденным и последовательным противником всей советской школьной системы. Он был против классового отбора учащихся, против классовой линии в преподавании... Гимназия оставалась для него идеалом учебного заведения...»

Ну, тут для нас с Тобой, мой читатель, несколько ребусов. Плохо это или хорошо — классовый отбор

учащихся? Попробовал бы кто-нибудь в наше время, когда действует закон о всеобуче, запретить принимать в школу внучку попа или правнучку княгини. Но то — сейчас, а то — тогда, трудно нам разобраться... А гимназия — хорошо это или плохо? Говорят, будто знания она давала весьма и весьма крепкие, а там — Бог ведает...

Но вот еще из показаний Дурдуковского («Вісті»):

«Центральным местом, где больше всего работал я, как педагог, где больше всего проявил свою вредительскую работу для молодежи, которое считал и на самом деле имел за форпост своей антикоммунистической работы, откуда мое влияние широким ручьем разливалось по всей стране и за ее пределами, была моя, как я ее именую, 1-я украинская трудшкола имени Тараса Шевченка...»

Странное признание, правда? Не всё странное, два слова делают его таким — те самые, что набраны в газете черным шрифтом. Так и чудится, будто вместо «вредительскую» хотел он сказать «полезную», да язык подвернулся; а вместо «антикоммунистической» уже произнес было «любимой», а потом зачем-то поправился. Простите, не сказать — а написать хотел, не язык подвернулся, а перо: эти показания Дурдуковского взяты из материалов предварительного следствия, они писались подсудимым на следствии **перед** очами следователя.

«Т. о., по данным предварительного следствия, установлено, что трудшкола имени Шевченка была одной из наиважнейших подпор «СВУ».

Мощная подпора, ничего не скажешь — школьники и десяток учителей. Мощным было и то, что на подпоре той держалось.

(Окончание следует)

Памятник жертвам сталинизма

Недавно восемь ленинградцев заявили о нашем гражданском долге, о невыполненном обещании партии, которая устами Хрущева на XXII съезде объявила решение воздвигнуть памятник всем жертвам сталинского террора.

Слишком много моих близких и друзей стали жертвами сталинских палачей. Поэтому я не мог остаться равнодушным к этому предложению Хрущева. Тем более, что ко мне явились после окончания Съезда три его участника с предложением взять на себя выполнение этого монумента.

Мне не нужно было дважды делать это предложение. Я приступил немедленно к работе, и через полтора месяца модель монумента вчерне была готова. Главная его идея следующая: основание в 500 квадратных метров из полированного черного гранита, на который поставлен параллелепипед меньшего размера из того же материала. В правом углу на параллелепипеде — небольшая бронзовая фигура босоногой скорбящей девушки, руками закрывшей лицо — скорбный лик осиротевшей страны. Основание памятника покрыто названиями лагерей, в которых томились и гибли десятки миллионов заключенных за свои политические, национальные и религиозные убеждения.

Хрущевская «оттепель» продолжалась недолго. И несмотря на то, что наследники Сталина забыли об этом памятнике, я продолжал работать над его проектом до тех пор, пока некоторые мои работы, в том числе и этот монумент, не были разрушены, когда Союз художников выселил меня из моей мастерской. Но память о жертвах не умерла и не должна умереть, тем более, что список жертв сталинизма продолжает расти сегодня.

Прочтя о недавнем выступлении восьми ленинградских диссидентов, я немедленно начал восстанавливать проект монумента.

В Нью-Йорке я продолжаю работать над этим проектом в своей мастерской и рассматриваю свой труд как нравственный долг и безвозмездный профессиональный вклад. Поскольку жертвами сталинизма являются не только люди разных национальностей, живущих в СССР, но и много людей с иностранными подданствами, я призываю создать международный комитет, состоящий не только из эмигрантов из Советского Союза, но и всех других, кто пожелает принять в нем участие. Этот комитет должен заняться возможностью постановки этого монумента на Западе. Только тогда, когда забываются преступления прошлого, могут совершаться преступления в настоящем. Именно поэтому наследники Сталина забыли о своем обещании, но мы его не должны забыть.

Эрнст Неизвестный

11 января 1977 г.

78 Grand St. New York, N. Y. 10013

ПАМЯТИ КОНСТАНТИНА БОГАТЫРЕВА

Почти три месяца тому назад по телефону сообщили из Москвы, что 26 апреля вечером там было совершено зверское нападение на поэта-переводчика Константина Богатырева. Когда он возвращался домой из магазина, в подъезде его дома и на лестнице был выключен свет. В темноте рядом с дверью его квартиры кто-то несколько раз ударил его по голове каким-то тяжелым предметом. С разбитым глазом и перебитой височной костью Богатырев был немедленно отправлен в больницу, где он подвергся серьезной многочасовой операции. После этого он почти два месяца пролежал в больнице в критическом состоянии, а потом — месяц тому назад — пришло известие, что он скончался в результате ранения.

Кто его убил? Кому это было нужно?.. Очень многое говорит за то, что убийство Богатырева не было акцией какого-нибудь там мелкого бандита-хулигана, а — предумышленным преступлением. Оно ведь укладывается в целую систему карательных мер, направленных против людей, которые выступают в защиту преследуемых властью или ведут слишком открытое знакомство с иностранными корреспондентами в Москве. Как же иначе объяснить то, что в подъезде и на лестнице дома Богатырева (как будто нарочно) выключили свет? что убийца поджидал свою жертву как раз у самой двери квартиры (чтобы в темноте не ошибиться)? и что милиция, поставленная в известность о преступлении, начала действовать только через сутки после этого (как будто даже не очень хотели искать злоумышленников!)?

Теперь прошел уже месяц после смерти Константина Богатырева, и на таком расстоянии бесполезно нам снова открывать дело его убийства и искать виновников. Такие старания всё равно не могут возвратить нам человека, смерть которого не только остав-

ляет неизлечимую рану в сердце его семьи и друзей но также означает тяжелую утрату для русской общественной жизни и европейской культуры.

Я хочу говорить не о смерти Константина Богатырева, а о том, каким он был в жизни и что он представлял для нас, кто знал и любил его. Прежде всего Константин Богатырев был большой мастер поэтического слова, и в силу этого — несмотря на свою трудную жизнь и трагическую смерть — он одержал победу над теми, кто мучил и хотел уничтожить его.

Я не ошибся, говоря, что смерть Константина Богатырева — тяжелая утрата для европейской культуры, не только для русской. Я впервые встретился с ним в Москве в начале шестидесятых годов. Его имя естественно связывалось с темой моей исследовательской работы — о взаимосвязи между лирикой Пастернака и творчеством Райнера-Марии Рильке. И после узко национальной ориентации советской литературной критики вообще и кафедры советской литературы Московского университета в частности, я был в восторге от знакомства с людьми глубокой эрудиции и широкой европейской культуры.

Главой семьи Богатыревых был отец Константина, всемирно известный этнолог и фольклорист Петр Григорьевич Богатырев, который умер в 1971 году. В двадцатых-тридцатых годах Петр Григорьевич жил в Праге, преподавал там в Карловом университете и состоял членом Пражского лингвистического кружка. Его сын, Константин Петрович, родился в 1925 г. и провел годы детства в Праге, потом с матерью переехал в Москву, куда вернулся накануне второй мировой войны и отец.

Константин Петрович учился на филологическом факультете Московского университета. Его специальностью там были немецкий язык и литература. Но до окончания университета он был арестован. За неосторожное высказывание по адресу сталинского

режима он был обвинен в терроризме. В условиях тогдашней антисемитской и антиинтеллигентской кампании против так называемых «космополитов» ничего не было проще, как состряпать любое обвинение — вплоть до подготовки покушения на жизнь любимого вождя.

Годы, проведенные в лагере, были для него тяжелым испытанием. Значительную часть времени он сидел с убийцами и другими уголовниками, которые часто устраивали погромы политических. После смерти Сталина Богатырев был реабилитирован и вернулся в Москву. До конца жизни у него постоянно дрожали руки от нервного расстройства, и никогда он полностью не освободился от страшных воспоминаний, постоянно возвращаясь к ним в разговоре с друзьями.

За последние двадцать лет Константин Богатырев сделал себе имя как один из лучших поэтов-переводчиков с немецкого языка. Занимался он переводом как раз самых сложных текстов — произведений Райнера-Марии Рильке. Каждый его перевод — свидетельство высокой словесной виртуозности и редкостного умения «восстановить» сложнейший немецкий текст на русском языке.

Хотя Богатырев был широко начитан и в русской, и в иностранной литературе, главных культурных «ориентиров» было у него два: Рильке и Пастернак. С Борисом Пастернаком он лично дружил с сороковых годов. Именно Пастернак поощрял его первые опыты стихотворного перевода. Когда Константин Богатырев отсиживал свой срок в лагере, Пастернак посылал ему книги, писал письма. Богатырев знал и любил многих поэтов, в том числе Анну Ахматову, которая после его возвращения помогла ему стать на ноги в литературном мире. Но Пастернак как художник всегда оставался для него выше всех. Очень хорошо помню, как блестяще Богатырев подражал пастернаковскому чтению стихов — не с целью насмешки,

конечно: он шагал по комнате, лицо его даже принимало несколько лошадиное выражение лица Пастернака; полу-мычащим, полу-певучим голосом он читал стихи наизусть и как будто перевоплощался в великого русского поэта.

Как и Пастернак, Богатырев прекрасно знал и обожал творчество Рильке и переводил его стихи на русский язык. Его всегдашней мечтой было издать всю лирику Рильке в своем переводе. В скором будущем должен был появиться его перевод всех «Новых стихотворений» Рильке. В некоторых из них звучит почти пастернаковская оркестровка, кстати — отнюдь не противоречащая духу оригинала.

Кроме Рильке, Константин перевел и многих других немецких поэтов и прозаиков — среди них Бертольд Брехт, Иоханнес Бехер, Эрих Кестнер, Генрих Бёлль. По рекомендации Бёлля он недавно был принят в западногерманскую секцию ПЕН-Клуба. Он вел большую переписку с авторами и литературоведами в Западной Европе и Америке, охотно помогал советами, полезными справками и посылкой книг. В своем доме на Красноармейской улице он с радостью принимал постоянное паломничество иностранных гостей. А разговоры, книги и переписка для него должны были заменить настоящее путешествие в другие страны, о которых он постоянно мечтал и почти не видел — он знал только Прагу — в детстве — и небольшую часть Восточной Германии, когда в 45-м году служил в армии.

Политическим человеком в прямом смысле Константин Богатырев никогда не был, но, совмещая некоторую общественную деятельность с литературным трудом, он просто следовал лучшим традициям русской творческой интеллигенции. Так, например, он подписал письма протеста против суда над Синявским и Даниэлем в 1966 году и против исключения Владимира Войновича из Союза писателей в 1974 году. Он

был одним из немногих, кто не побоялся открыто поздравить Солженицына с его пятидесятилетием. Для него было естественно заводить знакомства среди иностранных журналистов и студентов, живущих в Москве, открыто дружить с так называемыми «инакомыслящими», посылать за границу свои переводы. Его переводы — самый лучший и долговечный памятник тому международному культурному обмену и культурным связям, которые он реализовал вне и до всяких договоров и соглашений.

Где-то в личном архиве Богатырева есть письмо от Пастернака, написанное ему в лагерь: «Мужайся, Костя, ты молодец...» И еще фотография Пастернака с надписью «Константину Богатыреву, с верой в его талант и будущее...» Увы, это будущее теперь ушло в прошлое, трагично и преждевременно оборвалось. Но талант и творчество Богатырева существуют уже вне времени. Думаю, что вера Пастернака в судьбу Константина в полной мере оправдалась.

Кристофер Барнс

Июль 1976

Константин Богатырев

Переводы из Райнера-Марии Рильке

РАННИЙ АПОЛЛОН

Как иногда в сплетенье неодетой
листвою чащи проникает плеск
весны в разливе утра, — так и это
лицо свободно пропускает блеск

стихов, сражающих нас беспощадно;
ведь все еще не знает тени взгляд,
и для венца еще виски прохладны,
и из его бровей восстанет сад

высокоствольных роз лишь много позже,
и пустит в одиночку лепестки,
чтоб рта его коснулись первой дрожи,

пока еще недвижимого, но с гибкой,
по каплям отпивающей улыбкой
струящегося пения глотки.

ЖАЛОБА ДЕВУШКИ

Получила я в наследство
от младенчества и детства
склонность быть всегда одной.
Время в спорах протекало,
у меня ж — свои начала,
близы, дали и причалы,
звери, образы, покой.

Я от жизни без предела
только брать и брать хотела,
чтоб себя познать в себе.
Разве не во мне величье?
Но от прошлых лет в отличие
жизнь чужда моей судьбе.

Но, отринутой и дикой,
этой, ставшей сверхвеликой
нелюдимости к лицу,
чтобы чувство, взяв высоты
гор моих грудей, к полету
ринулось, или — к концу.

ПЕСНЬ ЛЮБВИ

О как держать мне надо душу, чтоб
она твоей не задевала? Как
ее мне вырвать из твоей орбиты?
Как повести ее по той из троп,
в углах глухих петляющих, где скрыты
другие вещи, где не дрогнет мрак,
твоих глубин волною не омытый?
Но все, что к нам притронется слегка,
нас единит, — вот так удар смычка
сплетает голоса двух струн в один.
Какому инструменту мы даны?
Какой скрипач в нас видит две струны?
О песнь глубин!

ЭРАННА — САФО

Ты сильней метательниц копья!
Я — копье на поле брани
среди других вещей. Твое звучанье
отшвырнуло вдаль меня. Где я?
Кто ответить в состояньи?

Сестры мыслят мною и поныне
в том же доме, где меня не стало.
Я — отринута. Я — на чужбине.
Я, как просьба, вся затрепетала:
ведь горит от моего накала
среди мифов дивная богиня.

САФО — ЭРАННЕ

Так узнай же беспокойство молний!
Я тебя, обвитый жезл, возьму
и, как смерть, тебя собой наполню,
как могила передам всему —
всем вещам. И так свой долг исполню.

САФО — АЛКЕЮ

Фрагмент

Ты зачем сюда ко мне явился?
Нет надежды на сближенье душ,
если взгляд твой долу опустил
пред невысказанно-близким. Муж,

посмотри: мы эти вещи вскрыли
словом, славою себя покрыв.
Среди вас иссякла бы в бескрыльи
наша девственность, перебродив.

Мы себя уберегли от тлена,
пронеся нетронутыми над
толпами бескрылых. Митилена
вся, как яблонный вечерний сад,
запах зреющих грудей вдыхала,

в том числе и этих двух, моих,
двух упущенных тобой, который
взгляд свой долу опустил. Жених,
уйди — моею лирой скоро
овладеет кто-то: всё стоит.

Этот бог обоим не опора,
но когда он одного пронзит

- - - - -

ГРОБНИЦА ДЕВУШКИ

Не забыли. Словно всё сначала
это вскоре повторится вновь.
Деревцем лимонным у канала
маленькие груди окунала
ты в разбушевавшуюся кровь

бога этого.

Он вне нападок,
он — беглец, но тронул вас крылом.
Он, как мысль твоя, — и жгуч и сладок,
он — как тень, коснувшаяся радуг
юных бедер, как бровей излом.

ЖЕРТВА

О как расцветают каждой жилкой
плоти ароматные пласты!
Посмотри: я — стройный, гибкий, пылкий
по твоей вине. Но кто же ты?

Ухожу беззвучно и бесслёзно.
Прошло осыпалось листвою.
Ты с улыбкой нависаешь звёздной
над собой, а значит надо мной.

Детских лет и впечатлений груди
имя дам твое у алтаря.
Ты его воздвигла на безлюдьи,
на венки пожертвовала груди,
волосами яркими горя.

ВОСТОЧНАЯ ДНЕВНАЯ ПЕСНЬ

Край ложа, на котором ты уснула,
как край земли у вспененного моря.
Волна твоих грудей перехлестнула
за грани чувств в предел фантазмагорий.

Но эта ночь надрыва и тревог,
в которой звери рвали и металы,
предельно нам чужда. И кто бы мог
поверить, что понятней нам едва ли
заря, которой занялся восток.

Нам так с тобою лечь друг в друга надо,
как вокруг тычинки лепестки ложатся.
Повсюду горы хаоса толпятся,
на нас готовясь рухнуть всей громадой.

Пока мы прижимаемся телами
друг к другу, чтобы не увидеть зла,
возможно, искра пробежит меж нами,
которую измена в нас зажгла.

ДИВНАЯ МАЛИНА

1. Почетный донор

Может, он приехал к нам вечером, последним автобусом, когда магазины уже закрыты. Запоздалые посетители выходили из «Гражданского». На площади пьяные мужики пели, усаживаясь в такси.

Он постоял около автобуса — наверно, не знал, куда идти. Может, у него не было денег? Он мог войти в зал ожидания и пересидеть там до утра.

Зал ожидания — в старом, двухэтажном доме (переулок за углом поворачивает на площадь). Над входом (скрипящие, раскачивающиеся двери) надпись: «Вокзал — зал ожидания». С двух сторон белые таблички с расписанием. Внутри, вдоль стен, — скамейки. Окошки касс закрыты. Последние автобусы приезжают к нам перед полночью. Потом до пяти утра — тишина.

Он сел в углу, на широкой скамейке с облезшими бордюрами. Пол замусорен (рванные бумажные пакеты, окурки, сухая хлебная корка). Жестяные плевательницы у стен. У выхода — черно-белый мусорный бачок. Рядом зеленые бутылочные осколки. В слабом свете еле виден драный плакат с половиной лозунга «Да здравствует...» и сжатым на древке кулаком. Старые женщины дремали на лавках, положив головы на старые мешки. На полу стояли бидоны. Он слышал спокойное дыхание. Перед «Гражданским» пели.

Среди ночи, может, пришел сержант Ольшевский из нашей комендатуры. Долговязый — наклонился, переступая порог. Женщины дышали во сне спокойно. Ольшевский обошел зал ожидания, каждую встряхнул.

— Не спать, не спать, не спать!

Женщины, одна за другой, садились, протирая глаза.

Полусонно озирались. Ольшевский сказал сурово: — Спать не положено. Ноги с лавок убрать!

Женщины молчали. Одна зевнула, другая шмыгнула носом. Сержант огляделся, погрозил пальцем: — Еще раз замечу — оштрафую.

Он вышел. Двери со скрипом раскачались. Женщины тут же снова улеглись. Мешки они клали под голову, ноги подкорчивали. И снова он слышал спокойное дыхание, скрип дверей, колеблемых ветром. В конце концов и он, наверное, заснул. Голову откинул на спинку скамейки, дремал с открытым ртом.

Далеко в ночи лаяли собаки.

А может, он приехал в полдень, в набитом автобусе, с теми же женщинами, когда они ехали на рынок? Тогда он вышел на площадь и, может быть, постоял, глядя на серое здание исполкома. Наверно, он видел небо, отраженное в стеклах.

Этот город был невелик. Они съезжали серпантинном вниз, и далеко, в долине, блеснула на солнце железная крыша костела. Потом они ехали вдоль лугов (стадо в туче пыли шло на водопой). Он помнил: бабы в платках едут на базар, пыль в приоткрытые окна, духота в автобусе, толкотня, мешки, бидоны с молоком, и вот уже дуга дороги, обсаженной ясенями, развалины замка, дома, площадь, низкие акации. Небо в окнах исполкома.

Потом Ленка, секретарша председателя, сказала «войдите», когда он постучал. Два раза пришлось повторять, пока вошел. Выглядел он обычно: сорокалетний мужчина в зеленой болонье с пятнами на рукавах, в тирольской шляпе, с потертой замшевой папкой. Из-под грязного воротника рубашки выглядывала резинка галстука.

— Из тех, что торчат у пивного ларька, — может быть, подумала Ленка.

Курьерша Стефа (она клеила конверты за столиком у окна) смотрела на него молча. Он снял шляпу, и они увидели, что лоб у него под залысинами потный.

— Можно видеть председателя Туроня?

— Его нет, — ответила Ленка. И снова начала сортировать письма, предназначенные к отправке. Он стоял в дверях, переминаясь с ноги на ногу. Смотрел на герань и пеларгонии на подоконнике. За спиной Ленки густой плющ расплзся по деревянной решетке. Может, он смотрел на ее волосы? Они были серые, как мышьяная шубка. На Ленкиной шее позвякивало стеклянное ожерелье.

— Вы, пани, наверное, любите цветы.

Ленка улыбнулась.

— Конечно. А вы, товарищ, по какому делу?

Он закашлялся.

— Я хотел бы повидать Генека Туроня. Это мой коллега. Со школы.

— Ах, вот как. Садитесь, пожалуйста. Стефа, дай стул. Или пройдите в кабинет. — Она встала и открыла обитую кожей дверь. — Он скоро вернется. Чаю не хотите?

Мужчина в болонье поблагодарил. Он сел в кресло у маленького столика, рядом с огромной агавой в кадке. На полу лежал красный ковер. Со стен смотрели каменные лица. Их отражения он видел в стекле, покрывавшем письменный стол. Он посидел, потом встал, повесил плащ и шляпу у дверей. Подошел к окну. Виднелась крыша пивного ларька между акациями. Вокруг стояли мужчины. Он слышал приглушенный разговор, смех. Чумазый тракторист поднимал бутылку к губам. Он оставил двигатель на холостом ходу — мужчина поглядел на трясущийся трактор (из жестяной трубы стреляли тучи выхлопных газов). По улице проехала милицейская «Ниса» с рупором на

крыше. Репродуктор зарычал: «Пешеходы, переходите улицу в местах, обозначенных указателем «Переход». У ларька никто не оглянулся. Пили. Ветер доносил пивной запах.

Кто-то открыл обитую кожей дверь. Мужчина обернулся, но это была только курьерша Стефа со стаканом горячего чаю.

Ленка потом рассказывала машинистке Стасе из райкома (они сидели в садике за домом, на плетеных стульях под яблонькой).

— Был у нас один посетитель, знаешь? Такой какой-то... — и задумалась.

Они ели взбитые сливки. Рядом, на маленьком столике, стояли стеклянные тарелочки, салатница и изюм в керамической мисочке. Стася часто навещала подругу. Она была моложе, веселей, круглолицая. Несмотря на толстые ноги, ходила в цветных мини-юбках. Когда она смеялась, на щеках появлялись ямочки.

— Мадзя, Мадзя*, смотри! — погрозила она подружке пальцем.

— Он заснул в кресле, знаешь?

Председатель в дверях попятился. — Кто это? — спросил он.

Мужчина спал с раскрытым ртом, выдвинув небритые щеки. Рука бессильно свисала.

— Это ваш школьный товарищ, — объяснила Ленка. — Ждет уже два часа. — Туронь запер дверь. Наклонился над спящим — может быть, слегка потряс его за плечо.

— Анджей Мушина, — сказал председатель, когда гость открыл глаза.

Этого разговора Ленка не слышала, хотя дважды

* Мадзя и Ленка — уменьшительные от Магдалена. — Прим. пер.

заходила в кабинет. Забрала пустой стакан, потом положила на стол папку с письмами.

Может, он не знал, что сказать? Председатель — в светлом костюме, загорелый, симпатичный — наверно, вызывал у него робость. Они закурили. Туронь сел за стол. На площади гремел трактор.

— Генек, — может быть, начал он, — Генек...

— Валяй смело, старик.

— В жизни бывает...

— Не выходит, а?

Он закашлялся, потер щеку. От ларька с пивом доносился гомон.

— Писали о тебе в газете. Новый председатель! Я думал...

— Ты читаешь провинциальную прессу?

— Где я только не был, старик. — Он покачал головой.

Председатель спросил тише: — Опять сидел?

— Недолго. Меньше года.

— За что?

— Книжечки, — вздохнул тот.

— Когда-то у тебя вроде была растрата. Левандовский писал. Это правда?

— Это уж давно.

— Как жена?

Он пожал плечами.

— Пьешь?

Не ответил. Туронь смотрел на его поношенный пиджак, галстук на резинке, пыльные ботинки.

— Есть у тебя паспорт, удостоверение? — Туронь протянул руку.

Мушина, кривясь (дым от сигареты лез в глаза), порылся в старом бумажнике. Встал и подал картонный квадратик в пластиковой обложке. Председатель глянул и сразу отдал.

— Ничего себе. Почетный донор. И это всё?

— Всё. — Он снова уселся в кресло. Может, чуть-точку помолчали? За окном гремел трактор.

— Что с тобой, Мадзя? — спрашивала Стася. — Ты же говорила, неинтересный: грязный, лысый, в перепачканном плаще.

Ленка пыталась объяснить: — У него такие глаза, знаешь?

— Какие?

— Серые.

Стася только смеялась.

Когда он выходил из председательского кабинета, секретарша подняла голову. Тихо звякнуло стеклянное ожерелье.

— Вы уже уезжаете?

Мушина поцеловал ей руку. — До свиданья! Надеюсь, что нет.

Он вышел. Остался от него грязный стакан, несколько окурков в пепельнице и неприкрытая дверь в коридор. Ленка сидела в цветах — пеларгонии на подоконнике, герань, густой плющ по деревянной решетке. Она откинула со лба мышинные волосы, глянула в окно.

Мушина выпил пива у ларька и вдоль низких акаций пошел в парк. Посидел на лавочке, возле памятника Костюшке. Вождь воздымал саблю (на клинке следы птичьего помета, лицо у героя серое, как будто усталое). Немного поспал у реки, в зарослях лозняка: с высокого откоса за развалинами замка он спустился на луг, где росла арника и гуси с шипением удирали из-под ног. Он спал, подложив папку под голову, прикрывшись плащом, лозы качались на ветру. Пахло рекой.

Потом он вернулся в город и до шести просидел в ресторане «Гражданский» на площади.

Инвалид Франек Сломкевич (двадцать один год, неполное владение левой ногой вследствие сложного перелома голенной кости и раздробленной голенной чашечки) сидел один за столиком, с которого официант Людвись еще не успел убрать. Франек был слегка пьян, поэтому, выбирая столик, не обратил внимания на пустые бутылки от водки и лимонада, недопитые стаканы, тарелки с остатками салата из зеленых помидоров и полную окурков пепельницу (окурки валялись и на столе). Он сидел, подпирая голову кулаком, повесив палку на спинку стула, и каждый раз, когда Людвись проходил мимо, повторял:

— Пан Людвись, на минуточку!

Но официант Людвись не обращал на Франека внимания. Франек задремывал, потом чей-нибудь громкий голос поблизости будил его, он озирался по задымленному залу, приподнимался со стула и звал:

— Пан Людвись, ну пожалуйста!

И снова Людвись (грязный белый китель, недочищенные ногти, ячмень на глазу) молча обходил его, Франек опускался на стул, голова падала, глаза закрывались.

Мушину он зацепил первый: — Господин хороший, милости прошу! — (Мушина искал свободного столика.) — Будьте так любезны, присядьте.

Потом сразу начал рассказывать о своей травме.

Чуть больше году прошло с тех пор, как секретарь Медза, возвращаясь с рыбалки, служебной «Варшавой» сбил возле моста пьяного Франека. Вдобавок пьяный шел не той стороной. Франек твердил, что всё было наоборот: не он был пьян, а секретарь Медза (Франек даже говорил, что видел в машине девушку), и не он шел неправильно, а секретарь съехал на обочину, ослепил его фарами и отбросил со сломанной ногой в сторону. И врезался в дерево. Следствие, проведенное поручиком Гонтарским под надзором начальника милиции майора Попеляка, обнаружило безоснователь-

ность этих обвинений («Вышепоименованный Сломкевич Франтишек в состоянии опьянения шел правой стороной дороги и в момент, когда автомобиль марки «Варшава», управляемый гражданином Медзой Эугениушем, проезжал мимо, скатился под колеса машины...» — соответствующий фрагмент протокола допросов).

Франек пролежал в больнице меньше трех недель — на девятнадцатый день его выписали. Видно, рано: кость срослась плоховато. Через два дня его, правда, взяли обратно (и продержали еще два месяца), но с тех пор нога не заживала. Франек страдал от боли, к тому же, через три месяца его уволили с работы (он был почтальоном, и почтовому начальству стало ясно, что с больной ногой он не работник). Потом были хлопоты о пенсии, но так он ее и не получил. Франек возвращался домой вечером — почту развез задолго до этого. В городе он занимался своими частными делами. («От семнадцати часов тридцати минут до двадцати часов пятнадцати минут находился вместе с гр. гр. Окрасой Станиславом и Левандовским Зеноном в ресторане «Охотничий» — занесено в протокол.) Франек, правда, твердил, что не был в «Охотничьем» и не пил в компании вышеназванных, но свидетели подтверждали формулировку протокола. Потом он своими силами добивался справедливости: писал жалобы, заявления и апелляции, ездил даже в столицу, на волну пятьдесят шесть*. Однако всякое вмешательство отражали, цитируя протоколы.

— И что, милостивый пан? Есть, по-твоему, справедливость на свете? — спросил он Мушину после своего рассказа.

Мушина молчал. Он только что заказал шницель и

* Программа Варшавского радио, возникшая в 1956 г. и служившая для вмешательства и защиты граждан от различных злоупотреблений. Сейчас ее значение сошло на нет. — Прим. пер.

пиво. Официант Людвись в конце концов остановился около них и молча, собирая на поднос грязные тарелки и пустые бутылки и стряхивая на пол окурки, выслушал заказ.

— Людвись, родненький, — сказал Франек, — кружку пива мне, умоляю.

— Кто такой Медза? — спросил Мушина.

Сломкевич отъехал со стулом от стола: — Дорогой ты мой, да ты откуда?

Мушина пожал плечами: — Ясно, нездешний.

За соседним столиком сидели два милиционера и штатский в темных очках (молодой, худой, в сером костюме). Милиционеры сидели в фуражках. Потом к ним подсел другой штатский — толстый и краснолицый. Он только и был пьяный — штатский в очках и милицейские пили лимонад. Они звали толстого «зав». Это был работник исполкома Рыбачинский, по кличке Ясь Фляга.

— Зав, — сказал один милиционер, — домой пора, проспаться.

Франек, рассказывая о катастрофе, часто поворачивался в их сторону, как будто хотел, чтобы милиционеры слышали. Теперь он перегнулся и потянул толстого за рукав.

— Пане Ясь, иди к нам на минуточку.

Толстый заморгал. Он был здорово пьян — вставая, опрокинул стул. — Я глубоко извиняюсь, — сказал он милиционерам.

Франек помог ему поднять стул. — Садись, пане Ясь, и расскажи этому парню про меня. Только по правде, как брату.

— Франя, я тебя очень люблю, но я же не могу. Извините, пожалуйста, — обратился он к Мушине, — мне надо приятелю пару слов сказать.

— Пожалуйста-пожалуйста, — кивнул Мушина.

— Франя, — шептал толстый, — ты же сам знаешь. Ты говоришь одно, протокол — другое. Думать я

могу, как ты говоришь, но говорить — только так, как в протоколе. На то есть компетентные инстанции, чтобы писали и учили граждан, что и как! — Последнюю фразу он произнес громко. — Правильно я говорю? — повернулся он к милиционерам.

Они не ответили, занятые своим разговором.

— А вы, простите, кто будете? — Ясь посмотрел на чужого.

— Приезжий, — ответил Мушина.

— Извините, пожалуйста, может, некрасиво спрашивать приезжего, но по какому вы, так сказать, делу?

— По частному, по частному... — Мушина отодвинул пустую тарелку. Допил пиво и поискал глазами Людвися.

Франек вытащил из кармана измятый конверт — бросил на стол.

— Вот, читайте! Читайте, какова справедливость. Я всё громко скажу — всё как есть. Никого не боюсь. — Поглядел на милиционеров.

Ясь Фляга клонился всё ближе к заляпанной скатерти.

— Читай, милостивый пан, читай, — говорил Франек, — понимаешь? Кто им дает объяснения по моему делу? Ну, кто?

Мушина не ответил. Заплатил, протянул Франеку руку.

Два милиционера тоже встали и вышли. Официант Людвись сгребал окурки в пепельницы, Ясь Фляга спал, положив голову на грязную скатерть. Пьяницы бубнили за столиками, и дым наполнял оба зала «Гражданского».

Мушина постоял перед рестораном. Он вдыхал чистый воздух и смотрел на мелкие листочки акации. Они легко дрожали на ветру.

В начале седьмого он постучал к Туроням. Они жили в новом блочном доме на улице Проектируемой,

за городом. На лестничной клетке пахло масляной краской. Туронь был один — в рубашке с засученными рукавами, в фартуке и тапочках. Он казался слегка измученным — не то, что утром (как будто тот светлый костюм придавал ему уверенности). Он попросил Мушину чувствовать себя как дома.

— Прости, старик, я дежурю. Жена пошла в город.

Он провел гостя в большую комнату с балконом. Рядом, в маленькой, плакал ребенок. Генрик заканчивал стирку пеленок в ванне. Иногда заглядывал в кухню помешать кашку.

Потом они сидели за круглым столом (пахли нарциссы, со двора тянуло холодком). Туронь катал коляску — старался укачать ребенка. Пока тот не заснул, они говорили шепотом. Поскрипывали плохо смазанные колеса. На лугах у реки покрикивали гуси.

О Туронях у нас говорили разное: плохое и хорошее. Приехали год назад — Мышка, жена Туроня, была на третьем месяце. Через полгода родила. Старшую девочку отдали в садик. Сначала их дела пошли неплохо: знакомых мало, врагов не было. Они сразу, первыми, въехали в новый дом на Проектируемой. Он был председателем исполкома, ее назначили заведующей в Дом Культуры. Только через несколько месяцев стало ясно, что новый председатель жить с людьми не умеет.

— Она, эта Мышка, ничего не скажешь, хорошая женщина. Только он какой-то странный. Ни то, ни сё. Не наших времен.

Так говорили о Туронях.

Всё началось с именин. Люди узнали, что он их отмечает в июле, — отправились его поздравлять. Нормально: купили цветов, альбом, бутылку коньяку. А он не принял.

— Это недопустимая практика, — вроде бы ответил он. — Я решительный враг выпивок на рабочем

месте. Прошу в будущем никогда... — И так далее. Добрых десять минут. Они все (в том числе Ленка и Ясь Фляга), красные от стыда, переминались с ноги на ногу. Цветы отправил в детский сад, альбом в городскую библиотеку, а коньяк просто отдал обратно.

С тех пор в президиуме приходилось соблюдать осторожность. Двери кабинетов во время именин запирали на ключ. Ставили патрули в коридорах, Ленке звонили, чтобы узнать, на месте ли, а если нет, то когда вернется.

— Просто не человек.

Позже они поссорились с Медзой. Сначала секретарь — ничего не скажешь — очень доброжелательно подошел к председателю. На рыбалку на озеро приглашал (Туронь сказал, что не удит), на ужин с женой, часто звонил и зазывал его в райком.

— Товарищ Генрик то, товарищ Генрик это...

Только когда раз-другой столкнулись на собраниях (в исполкоме и на контрольной комиссии) — он переменял мнение о председателе. Последнее время просто видеть его не может.

— Юзек, — жалуется он иногда Гняздовскому (директору нашей больницы), — этот человек меня в гроб вгонит. Как с ним разговаривать? Не пьет, не курит. Как святой!

Прозвал Туроня Христосиком.

Началось с канализации. Как известно, в старых домах вокруг площади и в так называемом деревянном квартале ни водопровода, ни канализации. Зимой люди выстаивают с ведрами перед заледенелым колодцем. Сточные воды текут ручьями из ворот. Вонь. Летом рой мух селятся на помойках. Трудности с вывозом фекалий — нет у нас нужной машины. Вывозят телегами — вонь висит над городом. Туронь добился дополнительных денег из воеводства — хотел поставить канализационные работы в план. Медза не согласился.

— Сначала надо выстроить несколько необходимых объектов. Магазины, мебельный павильон, ресторан первой категории. Зачем канализация? Дадим им новые квартиры.

Из деревянного квартала должны были переселять в блочные дома.

Туронь повысил голос:

— Люди живут в недопустимых условиях. Так нельзя! Это позор. Что думают о нас туристы, когда видят эти возы с фекалиями? А ресторанов у нас и так три. Зачем еще один? Чтобы людей спаивать?

Вроде бы так сказал на исполкоме.

— Глупый! — люди крутили пальцем у виска. — Кто это видывал — болтать, что на ум взбрело? Нажил себе врага на веки вечные!

Действительно — с тех пор стало известно, что если Туронь скажет «да», то Медза «нет». И наоборот. Любое решение председателя легко было отменить, стоило пойти в райком.

— Бумажный председатель, — смеялись мужики.

Потом они поцапались из-за использования денег на развитие спортивно-туристской базы. Туронь хотел стадион для молодежи построить и трамплин для лыжников. Медза уперся на ресторане с мотелем. Особенно слово «мотель» он полюбил и постоянно повторял:

— Мотель первой категории поставим!

Туронь на это:

— И снова все пьяницы обретут Мекку.

— Кого? — спросил Медза, но председатель не объяснил.

Секретарь сделал паузу (всё это на последнем собрании). — Во всяком случае на трамплин я не согласен, — заявил он решительно.

О спорах и ссорах узнали в воеводстве.

— Вы, товарищи, не думайте, — объяснял секретарь, — что мы не хотели протянуть руку новому

председателю. Мы много раз выступали с инициативой преодоления кризиса. Это очень тяжелый человек. Факт, что сначала он хотел по-хорошему.

— Товарищ Туронь, что это вы так пешочком? — спрашивал он. — Служебной машины нету?

Туронь каждое утро отводил Малгосю в садик. Мышка несла младенца в ясли.

— Это им глаза кололо, — сказал он Мушине сейчас.

Фляга как-то раз пришел к новому председателю:

— Товарищ Туронь, послали меня спросить, не нуждаетесь ли вы временами? Только скажите, денежки найдутся.

— Выйдите, пожалуйста, — сказал тогда Туронь и побледнел.

Рассказывал ли он об этом Мушине? Из открытой балконной двери тянуло холодком. Пахли нарциссы.

— Что ты, Генек, такой романтик? — смеялся гость. — Дают — бери, а можешь зажмуриться — зажмурься. С людьми надо уметь, иначе они тебя этак! — И он вывернул ладонь большим пальцем к полу.

Туронь, покачивая коляску:

— Пить надо, пить. Тогда признают за своего. А я, видишь, непьющий.

Это правда — не выпивал. О секретаре люди говорили:

— Свой парень. И выпьет, и накричит, когда надо. А этот — такой какой-то... Слишком любезный.

Заведующий Рыбачинский, например! Прозвали его Флягой, потому что посетителям говорит: «фляжку выставь, тогда поговорим!»! Иначе ничего не делает.

Мушина смеялся:

— А ты попробуй, Генек. Водка регулирует желудок.

Туронь не отвечал. Может, тогда и план свой

представил? Вышло, что не Мушина просит председателя о помощи, а наоборот.

— Помоги мне, Анджей, — мог он сказать. — Это мой последний шанс.

Легко ли Мушина согласился или заставил себя уговаривать? Никого при разговоре не было, только спящий ребенок. Через отворенную балконную дверь они видели всё более темные холмы за рекой. Еще гуси покрикивали на лугах, тянуло вечерним холодом. Часы на костеле пробили семь, скрипели плохо смазанные колеса. Так-то вот, наклонившись над коляской, и могли они этот план согласовать.

Мушина согласился на всё, а что ему было делать? Еще бы. Он выглядел как последний из тех, что торчат у пивного ларька. Ни денег, ни куда вернуться. Дал втянуть себя председателю в его нечистую игру.

Вернулась Мышка — жена Генрика. До восьми у нее было дежурство в Доме Культуры. Маленькая, худенькая, она сердечно улыбнулась Мушине.

— Познакомьтесь, — сказал Туронь. — Мой школьный товарищ.

Старшая дочка Туроней, Малгося, уселась отцу на колени.

— Папочка, у пана Весоловского пропал Цезарь. Он весь день его искал.

— И что, нашел?

— Нет, но мы ему зато котенка отнесли. Такого маленького, рыжего.

Мужчины смеялись. Мышка подала ужин на зеленых тарелках: нарезанную колбасу, сыр, салат из редиски и горошка. Они пили чай из высоких стаканов. Пахли нарциссы, хлеб был мягкий. Туронь повеселел, громко смеялся. Они вспоминали школу, Мушина рассказывал про Болека Копенгагена.

— Помню, как он нас облапошил. Это с ним, с Копенгагеном мы пошли выпивать в «Рыцарский». Он обещал платить, а сам вышел в уборную и оттуда,

наверно через окошко, на улицу. Мы еще с одним ждали его допоздна. Скандал был, у нас же ни гроша за душой.

— Это Болек, он таковский, — смеялся Генрик.

Когда за окнами потемнело, Мышка зажгла лампу. Абажур был соломенный — на стенах закачались пятна света.

Было поздно, когда они пошли к Ленке. Она жила с матерью, старушкой, на другом конце города. Они шли короткой дорогой, через поля.

— Пока там поселишься, а потом посмотрим, — сказал Туронь.

Мушина молчал.

Утром он пришел в исполком на заседание, которое должно было начаться в девять. Генрик ждал его в кабинете. Мушина изменился до неузнаваемости — курьерша Стефа глаза вытаращила. Он был в спортивной куртке (Туроня), в чистой рубашке и новом галстуке. И пах кремом «Нивея». На плече у него висел фотоаппарат-зеркалка (тоже Туроня).

— Привет! — сказал председатель, стоя в дверях. Он ввел Мушину в кабинет.

В девять они вышли на заседание. Ленка взяла пачку бумаги и пошла за ними. Она должна была вести протокол.

Заседания исполкома бывают у нас раз в месяц. Товарищи депутаты обсуждают важнейшие дела нашего города. В конференц-зале на первом этаже собрался весь исполком. Директор больницы Гняздовский, инженер Шафранек — управляющий городским стройтрестом, учитель Шелёнг и директор школы Квасиборский. Пришла жена секретаря Медзы Хеленка — председатель местного кружка Союза женщин. Майор Попеляк, комендант нашей милиции, разговаривал с директором фабрики фруктовых консервов Кулешей. Все курили. Районный архитектор Таргов-

ский — сигареты с фильтром «Кармен», инженер Шафранек — трубку. Облако дыма висело над столом.

Мушина с Туронем уселись. Туронь должен был вести собрание. Он вынул из плоского портфеля блокнот и начал проглядывать. Ленка придвинула маленький столик ближе к окну (и тут на подоконниках стояла герань). Мушина улыбнулся ей. Она откинула со лба прядку мышиных волос. Положила на столик пачку листов, начала подтачивать карандаш.

Собравшиеся несколько минут ожидали секретаря Медзу. В конце концов, он появился, оставив за собой широко распахнутую дверь (кто-то вскочил и запер). Разговоры у стола, застеленного зеленым сукном, стихли. Секретарь обошел стол бодрой походкой, сопя и выпячивая живот. Это был крупный, полный мужчина. Воротничок голубой рубашки лежал поверх лацканов пиджака. Виднелись подтяжки. В руке он держал большой кожаный портфель.

— Добрый день, товарищи, добрый день! Что же вы не начинаете?

Он сел на свободный стул, рядом с директором Гняздовским, с другой стороны стола, и вынул из портфеля бумаги. Потом принялся надевать очки, положив большой металлический футляр на зеленое сукно. Тишина продолжалась — слышалось только сопение секретаря и гомон от пивного ларька за открытым окном. Через площадь, как и вчера, проехала милицейская «Ниса».

«Пешеходы, переходите улицу на перекрестках при зеленом свете светофора!» — загудел рупор. Туронь встал.

— Товарищи, разрешите сначала представить моего сердечного друга Анджея Мушину. Коллега — журналист, работает в центральной прессе. Приехал на несколько месяцев ознакомиться с местностью и нашими проблемами. По возвращении он предполагает написать цикл репортажей или даже книгу, — тут

председатель наклонился к гостю, — правда, Анджей?

Все смотрели на них. Мушина, слегка оторопев, встал и поклонился. Казалось, что ему мешает зеркалка, повешенная через плечо.

— Да, — сказал он тихо. — Репортажи.

— Так вот, — продолжал Туронь, улыбаясь членам совета, — у коллеги к нам просьба. Он хотел бы участвовать в сегодняшнем заседании, а также по возможности и в будущих. Он питает надежду, что по всем вопросам мы дадим ему необходимые разъяснения. Верно, Анджей? — И он снова наклонился над столом.

— Ну да, — тихо сказал Мушина. Он глянул между головами Медзы и директора Гняздовского на Ленку.

— Чтобы отдать долг формальностям, — всё еще продолжал Туронь, — позвол-ка, редактор, удостоверение!

Мушина подал Генрику пластиковый квадратик. Председатель поглядел, приподнял удостоверение в воздухе и сказал:

— Порядок! — и еще спросил: — Как, товарищи, согласны?

Все молча уставились в пространство. Только Медза закашлял:

— Согласны, согласны!

— Спасибо, — сказал председатель, и следом за ним, как эхо, привстав со стула, повторил Мушина: — Спасибо.

Дальнейший ход заседания лучше всего иллюстрировать черновиком протокола Ленки. Обычно через несколько дней она переписывала протоколы начисто, в нескольких копиях, которые затем рассылала заинтересованным лицам. На листах черновиков мелким почерком она записывала всё, что говорилось. Потом менее важные детали вычеркивала. На полях иногда рисовала кошек и зайчиков, женские головки, а также

(в скобках) делала заметки о виде присутствующих и их поведении. Протокол сегодняшнего собрания был таков:

«Представив редактора Мушину, председатель Туронь предлагает сначала рассмотреть текущие дела, а потом узловые проблемы относительно распределения кредитов, полученных на развитие спортивно-туристской базы.

Присутствующие молча выражают согласие.

Первым взял слово товарищ Медза Эугениуш. Хотел бы знать, почему еще не готова трибуна перед зданием Президиума? Через три дня демонстрация, а тут одни доски лежат и незаконченный каркас. Доски не охраняются — что за разгильдяйство? (Как всегда: громко и грубо! — замечание Ленки.)

Объяснения приносит заведомо коммунального хозяйства товарищ Рыбачинский. Вопрос трибуны выглядит следующим образом: столяр, владелец частной мастерской, гражданин Грошек Ян («как вы знаете, товарищи, у нас в городе нет государственных столярных мастерских») отказывается воздвигать трибуну, утверждая, что не получил надлежащего материала. Требуется брусев и досок третьего класса. Раньше начал работу, а теперь прервал.

Председатель Туронь: — Надо, товарищ Рыбачинский, заняться этим делом лично и немедленно!

Товарищ Медза: — Чтобы Грошек закончил трибуну без разговорчиков! Что это еще за порядки — столяр нам диктует условия! Доски есть, пусть работает!

Заведующий Рыбачинский обещает энергично заняться вопросом. Присутствующие молча принимают его заявление к сведению. Председатель Туронь: — Панна Ленка, запишите, пожалуйста!

С текущими делами всё. (Гора мышь родила! — на полях, корявыми буквами.)

Председатель Туронь опять просит собравшихся

задуматься над использованием фондов, полученных на развитие спортивно-туристической базы. Он предлагает выстроить стадион для молодежи и лыжный трамплин и советует отказаться от строительства еще одного ресторана.

Товарищ Медза напоминает, что уже на предшествующих заседаниях обозначились разные точки зрения на эту тему. У него мнение четкое: он считает, что предложение построить ресторан с мотелем — наилучшее. В ресторан можно взять на работу цыганский оркестр.

Позицию секретаря поддерживает директор Шафранек.

Председатель Туронь: — Я предлагаю подумать еще раз, товарищи. У нас в городе два государственных ресторана и один частный. Зато нам не хватает многих других, куда более нужных объектов. У нашей молодежи вообще нет стадиона. На холмах за городом можно построить подъемник для лыжников или трамплин. Надо же развивать у молодежи любовь к спорту, чтобы она не торчала у пивных ларьков и не шлялась по улицам.

Тут вставляет вопрос редактор Мушина: — Простите, товарищ председатель, у вас что, действительно нет стадиона?

Туронь: — В том-то и дело, что нет, товарищ редактор!

(Что там Медзуня так внимательно записывает? — замечание Ленки.)

Секретарь говорит, что дело можно было бы дополнительно обдумать: — Почему бы нам еще разок не подискутировать? Разве только за мной последнее слово?

Он предлагает отложить решение до следующего заседания. Присутствующие молча одобряют предложение.

Майор Попеляк выступает с проектом радиофи-

кации города. Развесить репродукторы на электрических столбах — через два на третьем. Студия — в здании комендатуры. Обучать и инструктировать граждан, как вести себя в общественных местах, на проезжей части, на тротуарах и на дорогах. В промежутках они, полагает майор, с удовольствием будут слушать пластинки.

Председатель Туронь протестует. Он-то сам живет за городом, но думает, что жители центра не будут довольны. Хватит с нас шума. Дома мы хотим отдыхать в тишине и спокойствии!

— Музыка — это для вас, коллега председатель, шум?

— Из рупора — безусловно! — отвечает Туронь.

Редактору Мушине хватает репродуктора на крыше «Нисы». Он у нас только два дня и уже знает все лозунги наизусть. (Почему никто не смеется шутке пана редактора? — замечание Ленки.)

Председатель Туронь: — Я уж знаю, какая у вас музыка будет, товарищ майор. Марши, марши!

Предлагает детальное рассмотрение проекта коменданта отложить и выслушать мнение жителей окрестных домов.

Присутствующие молча принимают предложение.

Последняя часть собрания — разное. Просит слова учитель Шелёнг Мечислав. У него сомнения относительно участия в торжествах гражданина Весоловского Франтишка — бывшего легионера. Гражданин Весоловский, по его мнению, является классово чуждым ветераном и не имеет права стоять на трибуне рядом с такими товарищами, как секретарь Медза, директор Гняздовский или товарищ Котуля из воеводства.

Присутствующие не высказываются. Товарищ Медза спрашивает, кто такой Весоловский? Объясняет заведующий Рыбачинский:

— Гражданин Весоловский Франтишек — старик-

пенсионер. Ему семьдесят девять лет, проживает по улице Проектируемой. Каждый год ему посылают приглашение на почетную трибуну. Он был легионером у генерала Галлера. Перед войной всегда стоял на трибуне на праздник Третьего Мая*. Вот и привык.

Медза (кашляя): — А-га...

Председатель Туронь: — Дело старика Весоловского каждый год рассматривается заново. Может, мы, товарищи, раз навсегда решим: «да» или «нет»? Зачем тратить время попусту?

Председатель голосует за. Весоловскому семьдесят девять лет. Кому помешает его голубой мундир?

— Мы не будем делить ветеранов на своих и классово чуждых, товарищи.

Присутствующие молчат дальше. Председатель говорит: — Прошу запротоколировать: «Участие старика Весоловского в праздновании одобрено».

Ниже Ленка написала большими буквами: «На этом собрание окончено». И поставила большой восклицательный знак.

Депутаты начали подниматься. К Мушине подошел секретарь Медза (застегивая по дороге желтый портфель).

— Рад приветствовать, товарищ! Когда забежите в райком? У меня для вас всегда найдется время, не забудьте! — Он протянул крупную руку.

— Вы его еще в дверь будете гнать, а он войдет в окно! — пошутил Туронь.

Медза смеялся:

— Я у вас редактора похищаю, а вы хоть быхны? — И Мушине: — Может, прямо завтра?

Они сговорились на десять часов. Редактор записал время в блокнот. Они еще поговорили, стоя над зеленым сукном. Собравшиеся медленно расходились.

— Юзек! — крикнул секретарь директору Гняз-

* Праздник Конституции, принятой 3 мая 1791 г. — Прим. пер.

довскому: — Подожди! — Попрощался и вышел. В коридоре раздался трубный голос и смех.

Туронь ударил Мушину по плечу:

— Ну, что? Акула клонула!

Они громко расхохотались, так что Ленка (она одна оставалась в пустом зале) удивленно подняла глаза. «Пешеходы, соблюдайте правила уличного движения!» — зарычал на площади радиоавтомобиль.

II. «Глубоко извиняюсь, панна Ленка...»

Ленка стояла коленями на стуле, придвинутом к подоконнику, и выглядывала в окно. С улицы было видно ее лицо между стеблями цветущих пеларгоний. Домик, где живет она с матерью, низкий, деревянный. Окна чуть выше тротуара. Ленка смотрела, не идет ли кто снизу, со стороны города. Но был уже вечер — переулок и всегда-то пуст, и сейчас никто не шел.

В комнате, которую снял Мушина, ждал ужин: бутерброды с ветчиной и желтым сыром, редиска, пустая тарелка для яичницы, чашка для кофе. В маленьком фарфоровом кувшинчике стояли сливки.

Ленка время от времени подкидывала уголь в плиту, чтобы вода не переставала кипеть. Потом снова залезала на стул, раздвигала стебли пеларгоний и смотрела на улицу. Медленно спускались сумерки.

Мушина до двух дня просидел в кабинете Туроня. Они говорили о завтрашнем визите к Медзе, намечали план разговора.

— Походи сегодня по улицам, — сказал Генрик. — Пусть тебя люди видят.

Сразу после двух прибежал запыхавшийся Рыбачинский.

— Пан председатель, не могу сговориться с этим старикашкой! Даю ему новые доски, а он говорит, не

примет, потому что пятого класса. И еще кричит про рейки и брусья... Ей-Богу, не будет трибуны вовремя!

Туронь сразу встал, и они пошли к Грошеку. Столяр жил за площадью. Там начинались низкие одноэтажные дома, окруженные садами. Один из таких домов занимал Грошек с семьей — впятером. Старик с женой, их сын, невестка и внук. Сын был шофером на машинной станции, внук ходил в десятый класс. В сарае за домом у Грошека была своя мастерская. Он делал на заказ мебель и гробы. Был он уже довольно стар, но держался крепко. Седой, слегка сгорбленный, молчаливый.

Возле дома был большой сад. За ту часть участка, где росли деревья, Грошек судился с районным архитектором Тарговским. Тут хотели выстроить общественную уборную.

Когда Туронь с Мушиной пришли, Грошек как раз обедал. Перед ним на столе из березовых бревен, под развесистым грецким орехом, стояла тарелка супа.

— Пане Ян, — сказал Туронь, — что я слышу? Вы не хотите строить трибуну? — Он протянул старику руку.

Грошек не встал и не пригласил их сесть.

— А что они думают? — спросил он (местоимением «они» старик пользовался очень часто). — Пускай дадут хороший материал, тогда сделаю! Лелюхович древесные плиты на декорации получил, почему мне не дадут приличных досок? Без брусьев тоже не пойдет.

— Пане Ян, — сказал Туронь, — через два дня праздник. Вы ж, если захотите, из ничего сделаете!

Грошек пожал плечами. Из дому выбежала седая женщина в фартуке. Руки у нее были вываляны в муке.

— Пожалуйста, пожалуйста, — говорила она, вытирая ладони о фартук. — Садитесь, гости дорогие, садитесь! Янчик, ты почему не приглашаешь пана председателя присесть? Чайку не выпьете?

Туронь поблагодарил.

— Милая пани, уговорите мужа закончить трибуну. Праздник нам испортит, этакий упрямый!

Старик внезапно взорвался:

— Если Грошека хотят стукнуть, ни на что не смотрят и не спрашивают. Чья это идея, чтобы тут, на этой земле, — он встал и топнул ногой, — строить общественный клозет? Их, их, — он указал пальцем на Туроня. — А припекло, так вспомнили! Строй им Грошек, трибуну! Из чего, я вас спрашиваю? Из воздуха?

— Тише, тише! — уговаривала старуха. — Не нервничай, Янчик. Пан председатель — добрый человек.

— Все они добрые. Для себя.

— Вы же знаете, пане Ян, что этого проекта я не поддерживаю, — сказал Туронь. — Если меня снимут из-за этой трибуны, то уборную уж точно выстроят. Кто тогда защитит Грошека? — Он засмеялся.

Старик сопел от раздражения. Он резко отодвинул тарелку, суп расплескался.

— Чудак, но добрый человек, — говорил Туронь, когда они возвращались. — Намозолил глаза архитектуре, теперь они его изничтожают. Медза приказал поставить в городе общественную уборную. Правильно, нужна. Архитекторы начали размышлять, где ее поставить, и кто-то им подсунул идею — на участке Грошека. И от площади близко, и достаточно вырубить несколько деревьев. Старик запротестовал. Заявления писал, жалобы. Ездил к воеводскому архитектору, вызывал комиссии. То выносили решение строить, то не строить. Последнее — не знаю, какое, наверное, строить, раз Грошек злой. А всё потому, что кому-то взятку не сунул, или поллитра не поставил, или громко сказал, что думает...

Они дошли до площади. Туронь спешил домой. — Пока, старик! Помни, что завтра говорить.

Обедал Мушина в «Гражданском». Официант Людвись посадил его за столик, покрытый белой скатертью, в зал за занавеской.

— Отдохните, пожалуйста, пан редактор, — любезно сказал он. Принимая заказ, всё повторял: — К вашим услугам, к вашим услугам! — Под конец спросил: — Вкусненько ли показалось, пан редактор?

У Мушины на выходе началась громкая отрыжка.

Потом он сидел, прислонившись к стволу над откосом, и смотрел на реку. Еловые холмы на другом берегу уже потемнели. Медленно ползли облака.

Недалеко от развалин местный дурачок в оранжевой безрукавке дорожного рабочего пас корову. Это был Кривой Стефан — уличный подметальщик. Корова была инженера Шафранека — управляющего стройтрестом. Жена Шафранека любила свежее молоко. Магазинного пить не могла.

— Неизвестно, чего туда подмешивают, — говорила она. — Так хоть знаю, что своя корова.

Люди в городе смеялись, что у Стефана две службы (Шафранек платил ему двести злотых в месяц). Улицы он мел утром, а потом пас корову. Выводил ее из маленького хлева возле трестовских складов и гнал по улицам на луг к реке или на откос.

Дети кричали ему вслед:

— Стефан, Стефан, работу потеряешь!

Кто-то напугал дурачка, что из-за коровы у него отберут службу подметальщика. Поэтому время от времени он заходил в исполком, снимал круглую шапку и заводил нечленораздельные речи. Достаточно было сказать, что никто у него службу не отберет и что будет он работать до пенсии, он сразу успокаивался. Разве что чиновникам хотелось посмеяться, и тогда они делали вид, будто не поймут, чего ему надо, спрашивали про корову. Стефан нервничал, краснел, кричал и, размахивая кулаками, выбегал на улицу.

Ленка ждала. Опершись локтями на подоконник, она задумчиво смотрела вниз, на сирень за чужими заборчиками. Ей было двадцать пять лет. Семь из них она проработала секретаршей в исполкоме. Председатели за это время сменились пять раз. Каждое утро к восьми Ленка шла на службу.

После школы она хотела пойти на биофак, да не попала. Ее парень, сын мясника Рыбарчика, поступил в политехнический, перестал приезжать в город. Сначала она ему писала, потом бросила, потому что ответа не было. Старый Рыбарчик больше не откладывал телятину для ее матери, не замечал Ленку на улице. Однажды она поехала забрать документы из института и пошла по адресу, списанному с последнего конверта. Дверь открыла девушка с ребенком на руках. Ленка спросила молодого Рыбарчика. Та удивилась:

— Мужа нет дома.

Больше Ленка не выезжала из города. Она была худая, маленькая, мышиные волосы каждый день старательно расчесывала перед зеркалом. Носила чешские стекляшки, красила ресницы. Ее мать, женщина уже не молодая, огорчалась, чего дочка не выходит замуж.

— Может, здешних кавалеров не хочет? — жаловалась она соседкам. — Выбор, правда, не Бог весть какой. А может, ждет, что этот прохвост Рыбарчик вернется?

Ленка беспокойно зашевелилась в окне. Кто-то шел по улице вдоль заборов, из-за которых торчала сирень. Но это была всего-навсего ее собственная мать. Она возвращалась из костела.

Про Кривого Стефана рассказал Мушине Фляга. Они встретились на откосе. Ясь пришел за травой для кроликов. Его шестилетний сын тащил деревянную тележку.

— Ага, редактор Мушина! — обрадовался Фляга. С пяти дотемна они пили в «Гражданском». Мушина сначала не хотел идти, отговаривался, что устал.

— Редактор миленький! — просил Рыбачинский. — Надо! Хоть одну поллитровочку! — Он отправил мальчика домой. — Скажешь матери, попозже приду! — крикнул он вслед.

Они сидели в зале за занавеской, за столом с чистой скатертью. Ясь жаловался на плохие заработки.

— Какой-нибудь Гняздовский, например, вот зарабатывает! Там прихватит, здесь... Виллу поставил за аборт. Пан редактор, был бы я верующим, ноги бы моей не было в его доме... Всё на крови невинных существ! — Он смеялся, брызгая слюной.

Мушина отклонял голову. — А Туронь какой? — спросил он. — Довольны им люди?

Фляга помолчал.

— Порядочный человек, ничего не скажешь. Но насчет человечности, чтоб живи и другому дай пожить, — этого нет. Я глубоко извиняюсь, пан редактор. Говорю всё, как есть.

Мушина кивал.

Фляга придвинулся и зашептал:

— Глубоко извиняюсь, — повторил он, — но этот Туронь, он не того?.. — и помахал пальцами под подбородком*.

Мушина не сразу понял, потом засмеялся:

— Что вы, Рыбачинский? Что за глупости?

Он уже напился. Зал ходил ходуном, как палуба корабля. Спотыкаясь, он пошел по нужде.

Уборная была снаружи, в нише стены, окружавшей темный двор (дорогу показал Людвись). Дверь не прикрывалась, доска была загажена, на бетонном

* Специфический жест в современной Польше, переводимый как: «Не космо...навт ли он?» — «Космонавт» = «космополит» = «еврей». — Прим. пер.

полу стояла вонючая лужа. В воздухе висел смрад.

Попозже, когда они уже перешли на ты (обнявшись, долго целовались над столом), Рыбачинский вдруг спросил:

— Анджейка, а ты, собственно, откуда?

— Из центра, — сказал Мушина.

— А название, название газеты?

Мушина поглядел на Яся Флягу — на его красное лицо, вишневую рубашку «нон-айрон», вспотевшую подмышками, — и ответил высокомерно:

— А что ты такой любопытный, Рыбачинский?

И тогда, неведомо чего, Фляга перепугался.

— Я глубоко извиняюсь! — Он схватил Мушину за руку и крепко потряс. — Глубоко извиняюсь. Я только так, для разговора, не подумайте чего дурного, редактор! — Он обернулся, стукнул кружкой по столу. — Людвись, Людвись, пивца редактору!

Когда они выходили, было уже темно.

Ленка ждала. Она постелила себе и матери в большой комнате позади кухни и уже почти не выглядывала в окно. Переулок между домишками был пустой и темный. Ленка читала за столом, потом поужинали, немного поговорили.

— Ложись, — повторяла старуха. — Поздно.

Ленка делала вид, что не слышит. Подходила к окну, чувствовала на щеках прикосновение листьев пеларгонии. Никого не видно.

Сержант Зенон Ольшевский из районной комендатуры — огромный, костистый мужчина — принял дежурство в двадцать один ноль ноль. Он был известен непримиримым отношением к хулиганствующим элементам, нарушающим порядок и дисциплину в нашем городе. Особенно волновал его правильный переход улиц. Люди смеялись, что в день он собирает сто штрафов. Сержант не глядел при этом, с кем он гово-

рит. Знаете, как он с директора Гняздовского потребовал десять злотых? Гняздовский, конечно, раскричался, но Ольшевский пригрозил дубинкой. Гняздовский утих и заплатил. Потом он несколько раз обращался к майору Попеляку. Майор беспомощно развёл руками:

— Ничем не могу помочь, директор. На службе он в своем праве.

Бывало, что Ольшевский доставлял ненужные хлопоты. Например, задержал шофера грузовика, нагруженного материалами со строительства микрорайона по Проектируемой (в том числе: доски-дюймовки и полихлорвиниловые плитки). Материалы перевозились к вилле Медзы, где строился гараж. Ольшевский составил протокол и передал его в комендатуру вместе с предложением начать дознание. Медза потратил несколько дней на разговоры с Попеляком.

В двадцать один тридцать сержант отправился в обход (руки за спиной, ремешок под подбородком, резиновая дубинка на животе). Он прошел мимо парка и медленно приближался к площади. Напротив ресторана «Гражданский» он заметил пьяного мужчину, который переходил улицу в стороне от белых полос перехода. Ольшевский прибег к помощи служебного свистка, а потом громко сказал:

— Гражданин, пройдемте!

Дальнейшее описание событий содержит акт, составленный сержантом в дежурке комендатуры.

«На обращенное замечание вышеназванное лицо не отреагировало, зато решительно отказалось предъявить удостоверение личности и заплатить штраф. Затем, расставив ноги на ширину плеч, оный начал удовлетворять физиологическую потребность. В этот момент приблизился лично мне известный гражданин Рыбачинский Ян — заведующий отделом коммунального хозяйства горсовета — также в нетрезвом состоянии. Гражданин Рыбачинский заявил, что я «пре-

следую трудящихся», а также потребовал оставить в покое «редактора центральной прессы». Разговор вел в агрессивных тонах. На обращенное замечание, что он сам также неправильно перешел улицу, в связи с чем должен уплатить штраф, ответил хохотом. Удовлетворив физиологическую потребность, названная личность, поддерживаемая гражданином Рыбачинским, начала удаляться с места нарушения правил. Ввиду такой позиции вышеназванного я был вынужден применить физическое насилие с целью задержания. Гражданин Рыбачинский, несмотря на неоднократные призывы, удалился в неизвестном направлении...»

На последних фразах Ольшевского прервал телефон. Звонил майор Попеляк.

— Ольшевский, — сказал он коротко, — отпустите задержанного.

— Гражданин майор... — начал сержант.

— Немедленно! — приказал майор и положил трубку.

Ольшевский был недоволен. Он подождал несколько минут, надеясь, что майор передумает, потом неохотно отдал распоряжение дежурному милиционеру.

Мушина спал на лавке в камере возле дежурки. Он открыл глаза, когда его хорошенько встряхнули. Поднимаясь, он чуть не упал. Милиционер отдал ему ремень, шнурки, галстук и зеркалку. Он запихнул галстук в карман, сошел с крыльца комендатуры и остановился, не очень-то зная, куда идти. Его шатало — пришлось ухватиться за перила. Фляга ждал поблизости.

— Ну, что, не говорил я тебе? — хлопнул он Мушину по плечу. — Попеляк — это голова!

Они пели, возвращаясь через пустой город. Их голоса, слегка охрипшие, разносились далеко.

«Рано, рано, ранёхонько, рано по росе...»

Ленка всё еще ждала. Мать пила чай на кухне.

— Мадзя, — говорила она, — почему не ложишься?

Девушка приоткрыла окно. Прислушалась. Снизу, от города, доносилось нескладное пение:

«Выгоняла стадо Кася...»

Да, это возвращался редактор Мушина. В расстегнутой рубашке, без галстука, зеркалка криво повисла на шее. Они долго стояли с Рыбачинским против низкого окна, заканчивали нескладное пение:

«Кася, Кася, Касюленька, кто к тебе пришел?»

Ленка стояла за занавеской. Видела, как они обнялись на прощанье.

— Ясь дорогой, век тебя не забуду! — бормотал Мушина. — Пока, милый, пока! — Он двигался в сторону двери.

В сенях споткнулся на велосипед. Ленка выглянула из кухни, но шарахнулась обратно.

— Глубоко извиняюсь, панна Ленка! — сказал Мушина в закрытую дверь. — Глубоко извиняюсь!

Было слышно, как застонали пружины за стенкой, когда он, не раздеваясь, плюхнулся на постель.

III. Святой Иосиф на булавке

Секретарь Медза сидел в кабинете на втором этаже. Здание райкома стояло против парка — окна были отворены, теплый воздух приподнимал муслиновую занавеску. Медза повесил пиджак на спинку кресла, остался в расстегнутой рубашке с засученными рукавами.

На улице, под окнами, стояла служебная «Варшава», и в ней дремал шофер Юзик. Достаточно было выглянуть в окно и крикнуть:

— Юзик, давай сюда!

Шофер не спеша вылезал из машины и поднимался по лестнице, по мягкой красной дорожке. Обычно в

течение дня Медза несколько раз вызывал его таким образом. Потом давал разные поручения:

— Съездишь за сигаретами. — Или: — Слетай, Юзик, домой. Жена ждет. — Юзик возил секретарскую супругу на рынок и по магазинам.

Летом ездили на рыбалку. Чаше же всего шофер проводил весь день в служебной машине. Читал шпионские романы или слушал радио. Может, оттого так разленился и распустился? Брился через день, не отдавал жене рубашки стирать и круглый год ходил всё в тех же, обвисших на коленях брюках. Медза, брезгливый к запахам, во время езды всегда открывал окно.

Сегодня с восьми (было уже почти десять) Юзик сидел в «Варшаве». Секретарь заказал разговор с воеводством и ждал звонка. Он не любил незапланированных визитов, поэтому время от времени проверял, не собирается ли к нам кто из вышестоящих товарищей. Например, он не любил приездов товарища Кмиты, знакомого председателя Туроня (Медза знал, что только благодаря этому Кмите Туроня пока не перевели от нас). Кмита не ловил рыбу и не был охотником до коньяка. Зато он задавал вопросы, на которые было трудно ответить. Когда Медза пробовал отвечать уклончиво, товарищ из воеводства резко прерывал:

— Короче, короче, пожалуйста. Да или нет?

Дожидаясь звонка, секретарь крошил табак.

Это ради чайной розы — двухметрового куста в большом горшке. Под кустом в углу кабинета стояли четыре мягких кресла и столик. На листьях появилась тля. Медза страшно расстроился (чайная роза, *hibiscus*, была предметом его особой заботы), даже звонил заведующему отделом сельского и лесного хозяйства. Прислали человека с опрыскивателем, но секретарь не выдержал страшно вонючего препарата. Через два дня он велел уборщице Чесе стереть жидкость с листьев. Тля, к тому же, не сдалась. Тогда Хеленка предложила старый, еще бабушкин способ: натереть розу табач-

ным отваром. Сигаретный (или трубочный) табак надо было залить кипятком и оставить на ночь. Чеся с восьми часов держала чайник на плитке.

Зазвонил телефон. Медза схватил трубку, но это был всего лишь профессор Квасиборский, директор школы.

— Мое почтение, товарищ секретарь. Извините, пожалуйста, что с самого утра беспокою.

— Короче, короче, директор, — сказал секретарь. — Я жду междугородного.

— Я хотел поговорить о вашем сыне. Отпустил длинные волосы, знаете, такие модные, до плеч. Надо послать его к парикмахеру. Школа не может терпимо относиться к хиппи.

Секретарь ответил не сразу. — Не слишком ли резко, директор? Молодежи надо побунтовать.

— Товарищ секретарь, — не уступал директор, — это недопустимо. Вся школа смотрит на вашего сына. Я вас очень прошу: повлияйте на него!

— Ну ладно, я с ним поговорю. Во всяком случае спасибо за вашу принципиальную заботу. — Слова «принципиальный» и «забота» занимали в словаре Медзы важные места. — Нет ли там у вас под рукой товарища Шелёнга?

— Шелёнга? — повторил Квасиборский. Речь шла об учителе физкультуры и председателе охотничьего кружка. Квасиборский не любил Шелёнга. Более молодой учитель явно рассчитывал занять его место. — Нет, товарищ секретарь. Вероятно, на занятиях. Позвать?

— Нет, нет. Ничего срочного. Скажите, пусть позвонит мне. — И Медза не прощаясь отложил трубку. Некоторое время он сидел, задумчиво глядя на муслиновые занавески. На стене над ним висели каменные лица вождей. В застекленном шкафу виднелось несколько книжек и старательно сложенные комплекты журналов.

Вошла уборщица Чеся с чаем. — Можно, товарищ секретарь?

Секретарша Медзы — Рыбачинская (жена Яся Фляги) — была в декретном отпуске. В секретариате ее заменяла машинистка Стася (подруга Ленки), однако чай подавала Чеся, у которой в каморке под лестницей стояли электроплитка и чайник.

— Пожалуйста, пожалуйста, — Секретарь отодвинул в сторону бумагу с кучкой табака.

Чеся была старая, седая женщина. Год назад Медза случайно обнаружил в каморке (уборщица держала там тряпки и щетки) бумажный образок со Святым Иосифом, приколотый к полке. Святой держал на руках Младенца Иисуса. Медза страшно разволновался и тут же приказал Чесе снять образок. После он не раз заглядывал в каморку. На первый взгляд, образка вроде бы не было, но вдруг Чеся нашла для него другое место? Эта проблема, наравне с чайной розой, тоже была предметом заботы секретаря.

— А если бы товарищи из воеводства увидели такую штуку! — орал он, побагровев от злости. — Кому глазами хлопать: мне или вам?

Чеся клялась, что никогда больше образок не повесит.

Медза принялся завтракать — он развернул бутерброды, старательно приготовленные Хеленкой, и насыпал сахару в чай. В этот момент машинистка Стася открыла обитую кожей дверь.

— Товарищ председатель Туронь и еще какой-то пан, — сказала она.

Медза вскочил. Обойдя стол, он кинулся навстречу.

— Утро доброе, — говорил он, протягивая руки. — Сердечный привет редактору! — Туроня он как будто не замечал.

Они сели в кресла под чайной розой. Секретарь

достал из шкафа бутылку советского коньяка и поставил стаканы. Генрик заговорил первым.

— Простите, что я вас беспокою. Я насчет аккордеона.

Секретарь вроде бы не дослышал. — Как насчет кофейку, редактор?

— Спасибо, нет, — ответил Мушина.

Туронь продолжал, ничуть не смутившись: — Ко мне два раза приходили из музыкального кружка Дома Культуры. Я очень прошу вас вернуть аккордеон, который вы одолжили в прошлом году.

Медза пожал плечами. — Почему они сами ко мне не пришли?

— Да вроде бы приходили, и не один раз. К сожалению, у вас ни разу не нашлось для них времени.

Речь шла о двадцатибасовом аккордеоне «Вельтмейстер». За четырнадцать тысяч злотых Дом Культуры купил его для музыкального кружка. После июльского торжественного вечера Медза попросил Мышку дать ему на время инструмент. Он научился играть еще в войну, в сорок пятом, знал несколько солдатских песен. Игра гармониста напомнила ему об этом. Однажды он взял аккордеон на рыбалку, и во время одной из выпивок аккордеон потерялся. Сам Медза твердо не знал, что случилось: то ли упал с лодки в озеро, то ли забыли на берегу (на моторке они приставали то в одном, то в другом месте). Прошло полгода, и эти из музыкального кружка пристали с просьбами вернуть инструмент. Особенно беспокоился гармонист Домарадзкий, который учился в вечерней музыкальной школе (вообще-то он был служащим на машинной станции). Ситуация была неприятной и для Мышки, которая лично своими руками отдала секретарю аккордеон.

Медза сказал довольно небрежно: — Ладно, товарищ. Что о пустяках разговаривать. Пусть придут ко мне. Ну что, редактор? Как вам у нас нравится?

Мушина всё это время усиленно что-то писал. Переворачивая листки блокнота, он сказал: — Товарищ секретарь, у меня несколько вопросов. Можно сразу начать?

Медза смеялся: — О, я вижу, товарищ редактор лодыря не гоняет. Пожалуйста, спрашивайте.

— Кто такой Франек Сломкевич?

Улыбка сошла с лица Медзы. В тишине отчетливо доносились голоса с улицы. («Пешеходы, переходите улицы в местах, обозначенных указателем «Переход»!» — заревел радиоавтомобиль.) Муслиновая занавеска легко взлетела и снова обвисла.

— Вы с ним разговаривали? — спросил секретарь. И, не дожидаясь ответа, заговорил: — Этот негодяй чушь несет беспросветную! Пьян был, свалился под колеса, покарежился, а теперь на весь свет жалуется. Дорогой редактор, куда только он не писал...

— Он, кажется, остался без работы.

— По своей же вине.

— Пенсии не получает.

— А мало ли людей не получает пенсии? Это же известный в наших местах алкоголик. За пьянство его и выбросили с работы. За девками волочился, бездельничал!

— Он инвалид. Я своими глазами видел.

Медза махнул рукой. — Товарищ редактор, знали бы вы, сколько он мне крови попортил, слов на него жалко! Оставим эту тему. Я из-за него, знаете, от чего должен был отказаться? — он придвинулся к Мушине. — Больше не вожу машину.

Мушина внимательно записывал. — Следующий вопрос. Разрешите?

Медза поднял стакан с коньяком: — Стынет, стынет, редактор, — пошутил он. Рука его вздрагивала. Они выпили.

— Из каких фондов и для кого построен центр

водного спорта у озера? Так называемая рыбацкая хижина.

Секретарь посмотрел на Туроня. Генрик провожал взглядом медленное движение занавески. Казалось, он не слушает.

— Ну, это того... Из фондов, предназначенных на развитие городской туристской базы.

— Кто пользуется услугами центра?

— Как кто? Все. Кто хочет.

— Мне говорили, — Мушина постучал авторучкой по блокноту, — что вы рассматриваете центр как свою собственность. Мало людей туда заглядывает.

— Ерунда! — крикнул Медза. — Точно, как с этим Сломкевичем. Сплетни собираете, редактор?

— Товарищ секретарь, — сказал редактор Мушина, — я здесь никого не знаю. Ваши люди так говорят. Потому я и спрашиваю.

Медза обратился к Генрику: — Покажем редактору наш центр, а, товарищ Туронь? Мы можем гордиться таким объектом.

— Ну, а стадиона у городской молодежи всё равно нет, — сказал Генрик. — И, видно, долго не будет. Вы забрали фонды, предназначенные для этой цели, и построили рыбацкую хижину.

— В самом деле? — спросил редактор. Снова что-то записал в блокнот.

Зазвонил телефон. Секретарь отставил стакан и подбежал к столу.

— Воеводство, — доложила телефонистка.

— Наконец-то! Алло! Можно товарища Котулю?

Котуля был из тех, кого Медза принимал с удовольствием. Обычно они вместе ездили на рыбалку — оба были страстными рыболовами. К сожалению — «был и только что вышел». Медза положил трубку.

Туронь и Мушина встали.

— Ну, мы пошли, — сказал редактор. — Долг журналиста зовет.

— Так быстро? Что ж так быстро? — спрашивал секретарь, но остаться не уговаривал.

Мушина сделал снимок — Медза за письменным столом, на фоне портретов на стене. Громко пальнул затвор. Потом они вышли.

Секретарь закрыл обитую кожей дверь и уселся в той же позе, как сфотографировал Мушина: руки на стеклянной доске стола, гримаса вместо улыбки. Он смотрел отсутствующим взглядом. Перед ним, на листе белой бумаги, лежала кучка табака. Он глубоко вздохнул, встал, позвал шофера и послал его еще за сигаретами.

Товарищ Котуля позвонил через несколько минут. Секретарша, видно, передала, что звонили из района.

— Что там, товарищ Медза? Какое-нибудь дело ко мне?

Секретарь обрадовался. Самым сердечным тоном сказал: — Товарищ дорогой, когда на рыбалку соберетесь? Ждем — не дождемся!

Котуля, помолчав, буркнул: — Вам что, делать нечего? Что за звонки? — Видимо, у него был дурной день.

Разговор окончился неприятно — товарищ из воеводства положил трубку не попрощавшись.

Вернулся Юзик с сигаретами, и только тут Медза взорвался:

— Ты как выглядишь? Побрейся наконец как следует, штаны выгладь! Отдай жене рубашку, пусть постирает!

Юзик стоял, слегка ошеломленный неожиданным взрывом. Потом спустился, удобно разлегся за рулем и взялся за очередной шпионский роман.

На обратном пути из райкома они остановились у трибуны, против главных дверей исполкома. Грошек, в темно-синем комбинезоне (из заднего кармана торчала желтая плотницкая линейка), руководил установкой помоста на деревянные козлы. Благодаря любезности

майора Пызика (которому по этому поводу звонил Рыбачинский) столяр получил в помощь нескольких арестантов. Люди в серых холщевых одеяниях работали под присмотром тюремного надзирателя — он стоял поблизости с автоматом через плечо и приглядывался.

Грошек подошел к Туроню: — Пан председатель, сами видите, какая работа. Доски тонкие, брусьев нет. Даже гвоздей не хватает! — Он обреченно махнул рукой.

— Браво, пане Ян! Трибуна как на медаль! — пошутил Туронь.

Старик закурил. Руки у него все были в опилках. Он ни слова больше не сказал. Арестанты начали ставить вокруг платформы каркас из древесно-волоконистых плит. Это была идея художника — Лелюховича. Грошек сначала протестовал, потом — зная, что досок на обшивку или хотя бы на прикрытие трибуны не хватит, — бросил. Приказал только как следует закрепить деревянную лесенку.

Туронь и Мушина вошли в исполком.

К четверем трибуна была готова. Работой заключенных руководил лично магистр Лелюхович. Плиты, установленные вокруг платформы, обили красным полотном. Впереди булавками прикрепили две большие единицы и слово «МАЙ» из картона. За трибуной, на шеренге высоких мачт (тоже идея магистра), повисли длинные флаги. Они лениво колыхались на теплом ветерке.

Хеленка, жена Медзы, выглянула на крыльцо, как раз когда Юзик остановился перед калиткой. Она видела, как секретарь сопя вылезает из машины, захлопывает дверцу и машет, чтобы Юзик не ждал. Скрипнули петли калитки — Медза в расстегнутом пиджаке, с выпяченным животом, в сандалиях, с большим портфелем желтой кожи, шел по дорожке, между двумя

полосками анютиных глазок. На пути ему надо было обойти собаку. Большой дог-арлекин дремал прямо на дорожке.

— Ну что, Паяц, как дела? — спросил Медза. Дог поднял голову и стукнул хвостом по дорожке.

Медза потерял контакт с собакой с тех пор, как ударил ее прикладом двустволки на охоте. Паяц тогда только глухо заворчал, а потом не дал посадить себя в машину. Он вернулся в город один, собачьим нюхом, и с тех пор никого не слушался. Приходил только поест да иногда выспаться под крыльцом. Шлялся по всему городу — его можно было увидеть у церкви и в парке. Он любил окрестности колбасной, иногда купался в речке. Чаще всего он обосновывался на площади, время от времени разгоняя пьяниц от пивного ларька. Если они к нему цеплялись.

— Езус Мария, Генюсь, пять часов, где ты был, деточка? — заговорила жена, когда Медза был уже почти на крыльце. — Полшестого у меня собрание. Опоздаю. Обед уже холодный.

Медза обошел ее в молчании. Пошел в свою комнату. Вернулся в тренировочной рубашке и в подтяжках, поддерживавших не до конца застегнутые штаны. Они сидели в столовой: открытая дверь на террасу, натертый пол, ветка сирени в хрустальной вазе. Хеленка говорила не останавливаясь:

— Ты сегодня не прислал шофера, я хотела поехать на базар. Если Рыбарчик не отложит мяса, что будем есть в воскресенье? Почему Юзик не приехал?

Медза ел молча. Он, действительно, забыл приехать Юзика, который каждый день возил его жену на рынок и в магазины на площади. Мог бы и сам догадаться, да Юзик не из тех — без напоминания весь день продремлет в машине и не стронется с места. А Медза просто забыл. Забыл из-за визита Туроня и Мушины и телефонных разговоров с воеводством. Плохой день был. Он отставил пустую тарелку.

— Всё утро простояла над девушками в саду, — говорила Хеленка, — ног под собой не чую. Теперь еще это собрание. Почему ты отпустил шофера?

— Какие девушки? — заинтересовался секретарь.

— Ну, эти, из садового техникума. Я просила прислать в помощь. Вскопали несколько грядок.

Медза ел шницель.

— Ренек снова прогулял. Знаешь? Как он выглядит? Почему не пошлешь его постричься?

Секретарь махнул вилкой. Сказал с полным ртом:

— Знаю. Квасиборский звонил.

— Генюсь, деточка, так нельзя. У тебя с ним никакого контакта. Он такой большой уже вырос. Прямо мужчина. — И Хеленка отвернулась.

— Чаю, — напомнил Медза.

Женщина смотрела на стенные часы. — Езус Мария! Уже четверть. Точно опоздаю. Возьми, деточка, чаю сам. — Она встала и, колыша тяжелым бюстом, вышла из комнаты (собрания Союза женщин происходили раз в неделю, в здании комитета; Хеленка была председателем местного кружка).

Медза остался один — он сидел, ковыряя во рту зубочисткой. Зубочистки стояли в маленьком серебряном стаканчике около вазы с веткой сирени. Он глядел на два плетеные кресла на террасе и на белую кору фруктовых деревьев.

Ренек лежал, задрал ноги на спинку кровати, и читал журнал «Радар». Он учил наизусть слова английской песенки «Эврибоди лав самбоди самтаймз», ноты и текст которой (записанный фонетически) были в журнале. Медза тихо постучал и вошел к сыну в комнату. Ренек не переменял позы и не прервал занятия. Он только выглянул из-за «Радара», посмотрел на отца и снова заслонился журналом. Медза придвинул стул ближе к кровати и тяжело уселся. Некоторое время он

молчал, пока Ренек с закрытыми глазами бормотал: «Эврибоди лав самбоди самтаймз...»

— Реня, — сказал Медза примерно через минуту.
— Реня, — повторил он громче.

Ренек положил «Радар» на живот, скрестил руки под головой и посмотрел на отца. В нем было метр девяносто, и он легко доставал руками до потолка.

— Реня, — еще раз повторил секретарь, — послушай, сынок. Так нельзя.

— Что еще опять, — спросил Ренек брезгливо.

Медза сбился. Он посмотрел на свои большие руки с толстыми пальцами. Застегнул полураскрытую ширинку.

— Мама говорила, что ты опять не был в школе. Мне звонил директор Квасиборский...

— Когда этот старик наконец-то отправится на пенсию? — перебил Ренек. — Он меня в гроб вгонит.

— Сынок, — начал Медза, еще помолчав, — директор говорил о твоих волосах. Почему тебе не постричься?

— Квасиборский носит бороду. Я не требую, чтобы он побрился.

— Реня, Квасиборский старый, ему уже недолго осталось преподавать. Не можешь ты, чтобы всем было спокойно, пойти к Янковскому? Позвоню в парикмахерскую, если хочешь, скажу ему, чтобы хорошо тебя постриг.

— Что ты меня травишь? — заявил Ренек. — Буду ходить с длинными волосами, пока в армию не заберут.

— Когда-нибудь, — сказал Медза, разглядывая руки, — ты и сам станешь серьезным человеком, инженером, на ответственной должности. Будет у тебя семья, дети. Тогда увидишь, как это тяжело, как трудно жить. — Он замолчал. Не знал, что еще сказать.

— Не трави меня, отец, — повторил Ренек. — Я в твою политику не лезу.

Медза встал. — Уроки выучил?

Ренек не ответил. Снова взялся за «Радар». Бормотал себе под нос английские слова. Секретарь стоял над сыном и смотрел на его длинные ноги в вытертых американских джинсах, замшевые полуботинки с бахромой, большие угловатые руки, прыщеватое лицо и длинные волосы, по поводу которых звонил директор Квасиборский. Он сделал шаг в сторону кровати, словно хотел погладить Ренека по голове. Однако не дотронулся, отдернул руку и вышел, тихо закрывая дверь. Ренек слышал, как отец спускался вниз.

Он вскочил, потянулся, достав руками потолок, и подошел к окну. Между грядками, на дорожке, посыпанной гравием, лежал дог-арлекин и дремал на солнце.

IV. Директор Гняздовский

О директоре Гняздовском у нас говорили с почтением: — Ну, этот комбинирует!

Он приехал из воеводства и сразу занял должности заврайздравом, директора больницы и районной поликлиники. В вилле, построенной через два года, он устроил кабинет для частного приема. Пациентов он принимал каждый день после обеда — брал полтора-два злотых за первый визит и по сто за каждый следующий. Он был хирург, но лечил и как терапевт, педиатр и даже гинеколог. Женщинам делал операции за полторы и за две тысячи. Дороже, если беременность была больше. Говорили, что виллу он выстроил на эти деньги. Факт, что женщины приезжали к нему не только из нашего района. Люди смеялись, что, если б надо было, он лечил бы и зубы.

К больным в поликлинике он относился пренебрежительно, часто вообще не хотел разговаривать, пока не принимал дома. Тогда охотно выписывал лекарства с тридцатипроцентной скидкой.

— Испытанный товарищ, — говорил о нем Медза.

Ну, конечно, — он же всегда был первым в президиуме, во время государственных праздников и торжественных заседаний. Он говорил без бумажки, да так, словно передовицу читал.

Больше всего на него жаловались те, кто попадал в больницу. Было известно, что Гняздовский ничего не сделает, пока не получит хотя бы грязнуху* в конверте. Но и этого бывало мало. Более трудные операции стоили дороже — брал и по несколько тысяч. Обычно, приняв больного, он ничего не предпринимал, пока не появлялся кто-нибудь из родни. Тогда он говорил, что в больнице ему некогда разговаривать, и назначал визит дома. Там он объяснял, какая трудная операция, сколько к ней надо готовиться, какие заграничные лекарства нужны и так далее, а в конце просто называл цену. Люди платили.

Всем известна история женщины со сломанными ногами. Привез ее брат из пограничной деревни — двадцать километров телегой. Женщина лезла по лестнице на сеновал. Ступеньки были трухлявые, подломились, и она упала на бетонный пол. Была она немая — брат держал ее для помощи в хозяйстве. Вроде бы у нее где-то был внебрачный ребенок. Держалась она спокойно, только постанывала всю дорогу. Приехали они под вечер — еще два часа ждали в приемном покое. Поскольку все палаты были полны, ее положили в коридоре. Назавтра Гняздовский остановился около нее, сказал что-то о сложном переломе и спросил:

— Из родных кто-нибудь есть?

Женщина замычала — не умела говорить. Санитарки за спиной Гняздовского молчали. Хирург приосмотрелся внимательней. Пожал плечами и отошел.

* Билет в 500 злотых, прозванный так за грязно-коричневый цвет. — Прим. пер.

Несколько дней он, казалось, не помнил о ней. Проходил мимо кровати в коридоре с таким безразличием, как будто немой с поломанными ногами не было. Женщина поднималась на локтях и глядела ему вслед. Ноги у нее очень болели — по ночам не спала. Под коленками распухло, кожа покрылась кровоподтеками. Брат заглянул в больницу только через неделю. Увидел ее ноги и ужаснулся. Тут же пошел к Гняздовскому, кричал — говорят, двум санитарам пришлось его выводить. Тогда он побежал в райком — оказалось, это секретарь той пограничной деревушки. Медза позвонил Гняздовскому.

И разве что этот единственный раз он ничего не получил. Пришлось выправлять сложный перелом задаром. Женщина полгода пролежала в гипсе. Брат угрожал написать в газету, но только так — ясно было, покричит, покричит и перестанет.

Мушина пришел в поликлинику около двух — Гняздовский принимал с двух до четырех. Он хотел записаться как больной, но санитарка в окошке отказалась его записать. У него и карты медицинской не было, и что болит, не мог объяснить. На удостоверение почетного донора она только пожала плечами: — Да вы что, смеетесь? — И хлопнула окошком.

Мушина огляделся в темной приемной. Под потолком горели две лампочки в проволочных сетках, обвешанные липучкой. В углах стояли жестяные плевательницы, стены были оклеены плакатами. «Мать, помни о витаминах для твоего ребенка!» — прочитал он. Ниже, под лозунгом, нарисован огромный букет овощей. Пол черный, старые стулья скрипели. Люди разговаривали шепотом.

Он сел у стены, заложил ногу на ногу, закурил. Рядом на краешек стула присела женщина с ребенком в конверте. Щеки младенца были в коросте. Время от

времени он просыпался и принимался плакать. Мать терпеливо укачивала его.

— Спи, спи, Каролька! Пан доктор сейчас придет, — говорила она.

Гняздовский запаздывал. Мушина несколько раз смотрел на часы. Было пять, десять, потом двадцать минут третьего. Он разговорился с рабочим, который подсел прикурить. Это был молодой мужчина со сломанной рукой. Кривясь и глубоко затягиваясь, он рассказал, как это вышло. Работал он в лесу, на вывозе древесины. Они делали лесосеку под высоковольтную линию. Местность тяжелая — овраги, ручьи, скалы, с которых они стаскивали еловые бревна. Кони вязли в глине. В одном месте он переходил ручей по скользкому бревну, потерял равновесие и упал на камни.

— Весь мокрый, знаете ли, и такая боль, будто ножом тычут. С девяти утра здесь дожидаюсь. — Он показал Мушине опухшую руку.

— Не приняли сразу?

Рабочий поправил сигарету в портсигаре.

— Вас ведь тоже отравила, ведьма такая.

Ребенок с коростой на щеках снова плакал.

— Спи, Каролька, спи. Пан доктор уже идет.

Старушка в белом платке с бахромой (большие жилистые ладони, клюка на спине стула) двигала зернышки четок. Пенсионер в круглой шляпе громко кашлял. Было несколько детей: мальчик с рукой на повязке, девочка с красным леденцом. Была и уборщица Чеся, но Мушина ее не знал.

Гняздовский пришел полтретьего. Серый костюм, прибор в седых волосах, очки в роговой оправе, черный портфель. Он прошел через приемную быстро, словно никого не было. Казалось, будто у него страшно мало времени. Некоторые женщины встали и поклонились, когда он проходил. Гняздовский не ответил. Прошел в кабинет.

Мушина смотрел на часы — еще через пять минут

санитарка начала вызывать пациентов. Доктор смотрел быстро — некоторые выходили сразу, самый долгий прием продолжался пятнадцать минут. Он принял только семь человек, да и то не в порядке очереди. Редактор что-то записывал в блокноте, когда санитарка вызвала последнего (худой, высокий мужчина, который сидел в самом конце).

— Больше никого не примет, — сказала она. — Не ждите.

— Как это? Как это? — громко удивился Мушина. Все на него поглядели. Санитарка хлопнула дверьми.

— Говорят, — сказал рабочий, — он вызывает только тех, что ходят к нему частным образом. Придется, видно, пойти. В эту виллу возле замка.

— Пан доктор знает, что ему делать, — сказала молодая женщина с ребенком. — Это лучший доктор в районе.

Мушина знал от Туроня, что Гняздовский не принимает на работу старых врачей. Только молодых — сразу после института. Известно, люди таким не доверяют. Одному Лисовскому, зубному врачу, за сорок. Остальные все моложе.

Мушина встал, когда доктор вышел из кабинета (та же быстрая походка, очки, седые волосы, портфель). Люди повставали со стульев — клюка старушки упала на пол и громко стукнула. Мушина стал у Гняздовского на дороге.

— Прошу прощения, пан доктор, я представитель прессы. Хотел обменяться парой слов.

Хирург не удивился. Посмотрел на часы.

— В чем дело?

— Может, вернемся в кабинет? — предложил редактор.

— Ваше удостоверение?

Мушина смешался. Люди смотрели на них.

— Не всё же время носить его с собой. Вы же на заседании видели.

— Так в чем дело? Спрашивайте.

Они стояли в темном коридоре, окруженные больными, — высокий Гняздовский с черным портфелем (он снова посмотрел на часы) и небольшой Мушина перед ним — в болонье и с зеркалкой на шее. Этот разговор машинистке Стасе рассказала уборщица Чеся.

Мушина (запинаясь): — Первый вопрос: почему вы не приняли всех пациентов? Тут есть человек, — он оглянулся, но рабочего уже не было, — со сломанной рукой. Кто ему окажет помощь?

Гняздовский (резко): — Вы знаете приемные часы?

Мушина (снова запинаясь): — Вопрос второй: почему другие врачи не принимают? Вы — хирург, а тут я вижу пациентов и к терапевту, и к кожному...

Хирург словно не дослышал. Он сказал: — Это мое дело, сударь, решать, кого принять и в какой очередности. В этом я разбираюсь лучше журналистов. — Он посмотрел на людей.

Мушина нервничал. Вдобавок ручка перестала писать.

— Правда ли это, что вы принимаете в первую очередь тех, кто приходит частным образом?

Гняздовский на шаг отступил. — Хватит! Приносите удостоверение — тогда поговорим! — Портфелем он отодвинул редактора и пошел к лестнице. Люди расступались перед ним.

— Весь красный, кричал, — рассказывала Чеся машинистке Стасе. — И правда: мало у него забот? А тут еще приходят и нервируют!

Стася поддакивала.

Редактор закрыл блокнот. Он осмотрелся, кашлянул — никто из пациентов не отозвался. Только когда он пошел к двери, женщина с ребенком сказала:

— Кто это видывал, так невежливо говорить с паном доктором? Это лучший врач в районе.

Младенец, обсыпанный коростой, снова заплакал.

Мушина уже на лестнице услышал, как женщина завела свое:

— Не плачь, Каролька, не плачь!

О том, что доктор вот-вот придет; она уже не говорила.

(Продолжение следует)

ОРЛОСЬ Казимеж — род. в 1935 г. в Варшаве, окончил юридический факультет Варшавского университета. Выпустил в Варшаве три книги прозы: «Меж берегов» (1961), «Конец забавы» (1965) и «Темные деревья» (1970). Вторая книга удостоена премии им. Станислава Пентака — одной из главных литературных наград в Польше, третья — премии женевского фонда им. Костельских. До 1973, года выхода в Институте Литерацком в Париже повести «Дивная малина», был литературным редактором Варшавского радио, членом редколлегии еженедельника «Литература», автором ряда киносценариев. После выхода книги снят со всех занимаемых постов, полностью лишен возможности печататься и зарабатывать каким бы то ни было литературным трудом.

Русская зарубежная поэзия

Странник

РОЖДЕНИЕ ЭЛЕГИИ

* * *

Начинаю всё — с тишины,
Где молитвы разрешены,
Но слова еще не слышны.
Начинаю едва-едва,
Говорю простые слова.
Тишина напрягает лук
И стрела вылетает вдруг.

РОЖДЕНИЕ ЭЛЕГИИ.

Ты расслаблен, изранен, в сердце контужен,
А на небе гроза идет, угрожая.
Надо привыкнуть, что ты никому не нужен
И тебя никто, никто не желает.

Если бы кто-нибудь о тебе вспомнил
И донесся до тебя шепот речи,
Это все-таки было бы капельку легче
Понять, что и ты в человеческом доме.

Человеку нельзя быть таким одиноким,
Тишиною своей считать только стены,
Быть слабее цветка и мгновенней пены,
Стать неслышным для всех, как эти строки.

Одиночество — это ведь завершенье
Долго молчавших мира просторов.
Это слова большого в тебе рожденье,
Что к земле подошло и настанет скоро.

ДОСТОЕВСКИЙ

«...если б кто мне доказал, что Христос
вне истины... то мне лучше хотелось бы
оставаться со Христом, нежели с исти-
ной».

Достоевский
Письмо к Н. Д. Фонвизиной

С того Семеновского плаца
Безмерной бедности земной
Я начал истины касаться
И знать, что Ты всегда со мной.

Мне ангелы тогда сказали
О первой тайне бытия —
О том, что Ты всегда в начале,
А после — истина Твоя.

СЕРДЦЕ

Не поймется и не уловится,
Перейдет свой холод и зной,
Но когда-то вдруг остановится
Над медлительностью земной.

Всё хотевшее безмятежности,
Открывающихся путей,
Остановится в этой нежности
И неведомой, и твоей.

ГРОТЕСКИ

1. СЛУЧАЙ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ

Гомункулус по имени Попутчикус
В родной Европе (и в реторте) жил как вздумалось
И говорил, когда впадал в задумчивость:

«Когда передовое человечество
От предрассудков Запада излечится,
То в коллектив включившаяся клеточка —»

«Ну что тебе, Попутчик-Глупчик, снится-бредится?» —
Спросила вдруг Большущая Медведица
И увезла его к себе — проветриться.

Иона из кита, я слышал, выбрался
(И кролик проглотил удава в Виннице);
Попутчикус в Медведице-гостинице
Учился диамату и кириллице.

Над белым холодом и гололедицей
Был мир другой, другой Большой Медведицы.

2. РАЗРЯДКА НАПРЯЖЕННОСТИ ПОСРЕДСТВОМ ВИЗИТА

«Этот мавзолей наш новый Акрополь!»
Робот-акробат глотает закуски.
(Смотрят микробы, малютки, моллюски.)
«Сейчас выступят мистер и миссис Джопол,
Сперва по-китайски, потом по-русски!»

(В гранитной гробнице лежит Панургий,
Нафимиамен, нанафалинен.
Дают законы москиты-Ликурги
Полупавианам, полупавлинам.)

«Я к вам приехал с культурным обменом,
Я либерален, а вы прогрессивны:
Кремлевским, excuse me, китайским стенам
Я говорю: Good morning, good evening!»

Желтый богдыхан случил пилигрима
С пандой китайской. Китайские тени.
Нет мелодрамы, одна пантомима:
На фоне огня, и неба, и дыма
Жестикулирует Рок-шизофреник.

3. ВЫХОД ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ

Если будет война,
Мы уедем далёко-далёко.
Тепловая волна
Наш корабль взметнет кособоко.

Серодымчатый гриб,
Точно столп, уцелевший от взрыва,
Будет выше зари,
И мы скажем: смотри, как красиво!

На небесный вокзал
Мы приедем, намучившись вдосталь,
Где с ключами стоял
Бородатый курчавый апостол.

И товарищ Петров,
Голубой ученик Чу Эн Лая,
Отодвинет засов
На воротах китайского рая.

ЧИННОВ Игорь Владимирович — поэт, профессор русской литературы. Родился в Латвии, окончил Латвийский университет. Выехал за границу после войны. Автор нескольких поэтических сборников, вышедших на Западе. Представлен в большинстве антологий русской поэзии, изданных на Западе за последние тридцать лет. Печатается в эмигрантских газетах и журналах, а также — в переводе на английский — в американских изданиях. В настоящее время живет в Соединенных Штатах Америки.

ИЗ ПЕРЕВОДОВ

От переводчика:

«Тело Джона Брауна» — монументальная эпическая поэма Стивена Винсента Бене о гражданской войне в Америке. В 1929 году поэма Бене была удостоена премии Пулитцера. Предлагаемый отрывок посвящен Армии Юга.

Стивен Винсент Бене

ТЕЛО ДЖОНА БРАУНА

(Отрывок из шестой книги)

Рубаху Лука Брекинридж отмывал в грязноватом пруду,
И кислые мысли его донимали.

Только вчера

Он видел — упряжка, скрипя, подъезжала к гостинице Поллет,
И этот с крысиными глазками чертов торгаш
Настегивал мулов своих! Подумаешь, тоже — великая шишка!

Лука уже вообразил,
Что призрачный Шиппи стоит перед ним, и что с яростью
лупит он Шиппи,
Колотя рубаху о камень.

«Случись это дома —

Я просто засел бы в кустах и ухлопал его.

Ишь, едет к девчонке моей на своих задрипанных мулах,
Торгашеской лестью своей девчонку отбить мою хочет!»

Но здесь на войне только в янки стрелять позволяют,
А если стреляешь в других — поймают тебя и пристрелят,
Как будто уж ты не солдат, а шпион иль паршивец какой-то —

У них это всё бестолково. «Его б отучил я
За девочкой бегать моей — попадись он мне дома в горах.
В прошлый раз я при встрече ей так и сказал напрямик —
Будь хорошею девочкой, Соф, и я тебе платье куплю,
Мы хижину можем славно поправить, а если пойдут у нас
дети —

Мы и поженимся. Разве честнее что этого скажешь?
Она неплохая девчонка, но нрав у бабья переменчив,
А тут этот чертов торгаш с барахлом своим ричмондским
встрял,

А мы отходим как раз, чтобы янки нахлопать,
И я не успею уже повидать ее и разузнать,
Ладно ли всё было с ней. Тут обратным путем он проедет
На мулах своих, подстеречь его — плевое дело,
Да как пить дать поймают меня.»

И рот его мрачно скривился,
А медленный мозг вырабатывал план — как разом сомнения
все разрешить.

Наконец уронил он свой камень с радостным воплем.
«Эй, Билли, — он крикнул соседу, — рубашка просохла твоя?
Ну так одолжи мне на время рубаху, — моя еще выжата
только:

Я должен идти к капитану.»

Но Билли не был покладист.
«Немало дружков у меня есть в рубахе, — сказал он
с растяжкой, —

Я вовсе не жажду гостей получить из твоей.
Я скромн, и скромны мои ползуны, и они неохотно
С чужими вступают в общенье. Они у меня из Пьемонта.
И все-таки это — рубаха: в ней больше рубахи, чем дыр.
Твоя ж — не рубаха, а бублик!»

Они побранились немного,
Но все же Лука наконец ушел с драгоценной рубахой,
Дорогой нехитрый отрывок из горного джига свистя.
«Помнишь меня ты, торгаш», — он думал, ища капитана.

Шиппи в ветхой тележке ехал в вечерней пыли.

Не по себе ему было, тревожно как-то и жутко.
Надо бы ехать другою дорогой ему, вдоль ручья,
Но он и так чересчур задержался в гостинице Поллет,
Пока он разыскивал Софи, а видел ее на минутку всего лишь.
Теперь ей флакончик духов захотелось.

Душа у него

Дрожала от страха, как тощий пес на морозе,
Злясь понапрасну на страшную вещь, что мы жизнью зовем.
— Ведь должен быть где-нибудь угол, в который можно
забиться и мягко свернуться в тепле, —
Но Шиппи такого угла никогда отыскать не умел.
В школе большие мальчишки завтрак крали у Шиппи
И тыкали в грязь его носом; потом он подрос,
Но все оставалось по-прежнему.

Было что-то в лице у него,

Говорившее: «Что ж, измывайтесь — в ответ я кусаться
не буду».

Он сам на лице у себя никогда не заметил такого,
Но, видимо, было у Шиппи такое в лице.
Всегда, приезжая на новое место, он думал: «На этот-то раз
Они не дознаются». Но дознавались они
Со временем.

Так получилось, когда он был в лавке,
Так было и в армии, так и теперь, когда стал он шпионом.
И вот он в мечтаньях своих создавал сверх-Шиппи, героя,
Что распоряжался людьми и женщин блестящих любил,
Выпячивал грудь, умирая под знаменем окровавленным,
Затем оживал, чтоб принять благодарность наряженных
в блеск генералов.

Шиппи, съедающий в школе завтрак мальчишек больших, —
Это был идол его! Он сейчас представлял себе этого Шиппи,
Бесстрашного Шиппи с бумагой, зашитой в сапог:
Ловко несет он пакет роковой сквозь мятежников части
К какому-то светлому месту, где...
Мул пристяжной, споткнувшись, заржал,
И Шиппи ругнул его ноющим тоном и дернул за вожжи,
И дернулось что-то в сердце у Шиппи. Сверх-Шиппи исчез.

Один он, и страшно ему на поздней дороге.
О Боже мой, как ему страшно шпионом служить,
И как он боится той женщины в Ричмонде, той с неподвижным
лицом!

Как он напуган войною и жизнью! И это ведь правда,
Что кое-какие бумаги лежат у него в сапоге.
Заглянут в бумаги они, а он перед ними стоять будет,
мокрый от пота,

И, скомкав бумагу, они начнут недовольно его распекать:
«Не мог ты даже узнать, где солдаты находятся Хета?
Ты карт рисовать не умеешь? О Джексоне — Каменном
вале — ты вовсе не знаешь?

Скажи, почему ты не знаешь об этом? А что это за
переправа — налево от церкви?

Скажи, для чего ты болтаешься там, черт возьми!
В другой раз получше придется тебе поработать. Смотри
у меня!

Тебя мы пошлем по седьмому маршруту. Имели мы там
человека,

Но нам донесли, что убит он.»

И Шиппи в душе содрогнулся,
Воображая веревку и с ветки свисавшую тяжесть
И женщину ту с неподвижным лицом, — как она отошлет
донесенье

В сапоге у кого-то другого. И Шиппи представил, как некто
Замороженным голосом сладким скажет другому
Невзрачному и перепуганному человечку:

«В другой раз попробуй пойти по маршруту седьмому.
Имели мы там человека,

Но нам донесли, что убит он».

О, где-то ведь есть же нора,
Там, глубоко под землею, где прячутся зайцы, —
Но мне никогда не найти.

Они повешали лозунгов всюду и знамя воткнули,
И это войной называлось, и шел ты, до смерти напуган
Криками, ревом, людьми, что тебя норовили убить...
Наконец показалось тебе, что всё что угодно — лучше чем это,

И вот погоняешь ты мулов, и защиты бумаги в твоём сапоге,
И все же убить тебя люди хотят, и выхода нет никакого.
А дезертируешь — женщина та с неподвижным лицом
разузнает —
И самое страшное ждет. А если на фронт попроситься —
Тебя ожидает Булл-Ран, и крики, и вся эта кровь,
От которой тошнило тебя. Даже в школе
Не удавалось от драки отделаться. Выхода нет.

Софи — милашка, хорошая девочка Софи.
Софи и есть та земля, то тепло, куда прячутся зайцы
От всевозможнейших бед, чтоб сердца могли биться спокойней.
Но с Софи не мог он остаться, не мог он остаться.
А ведь сказала она, что девочкой будет хорошей.
Но он против воли
Представил большого мальчишку, который коробку
картонную с завтраком вкусным
Жадными пальцами рвет на голом школьном дворе,
Где хныкает Шиппи.

«О, Софи, тебе я достану духи.
Клянусь, я достану! О Боже, дай только пробраться —
Один только раз — и я буду молиться, о Боже, я буду
хорошим —
О сделай, чтоб эти бумаги пришлись им по вкусу!»
Он мулов своих понукал.
Еще одна миля — и выедет он на большую дорогу,
И временно там в безопасности будет.

Он приободрился
И начал из праха сверх-Шиппи опять создавать.
Повозку шатало, и в такт с ней он носом клевал...
С полдюжины всадников, съехав с полянки лесной,
Как будто случайно, ему преградили дорогу.
Он мулов своих осадил, озираясь. Но тут он знакомое сразу
увидел лицо
Со странным на нем выраженьем злорадства — он вспомнил:
Софи ведро наполняла — а этот вот дюжий детина
Стоял, привалившись к насосу, с голодным блеском в глазах.

Всё так поспешно стряслось, что он не успел испугаться.

Такие заставы бывали; наверное, новый патруль.

«Меня же ребята все знают, — сказал он. — Да, пропуск со
мною.»

Пропуск они отобрали, но не возвратили обратно.

Казалось — колеблется воздух, пронизанный пылью,
Как будто струна натянулась. Как в горле его пересохло!

Сейчас вот он дальше поедет. «Так как же, ребята, —
сказал он, —

Дружочки?»

Они на него не смотрели и не отвечали.

«Я вам говорю — это тот», — настаивал горец.

Сержант посмотрел нерешительно на остальных.

По виду он был джентльменом — юноша славный, наверно, —

Черные усики на загорелом и тонком лице.

Этот не сделает дурно. Всё хорошо обойдется.

Всадник другой подравнивал ногти ножом.

Он, видимо, тоже был славный — с лицом беззаботным,
веселым,

Он водку с тобой разопьет и с девочками посмеется,

Тебе он не сделает больно, не станет выкручивать руки.

За исключением горца — все славные были ребята.

Обыскивать стали его, но делали это не грубо.

Он с ними болтать продолжал:

«Ребята, ну право, ребята,

Всё это — большая ошибка, ребята все знают меня,

Все знают развозчика Чарли.» —

Вид у сержанта

Стал почему-то такой, как будто его затошнило.

Ладно, смотрите — вовек все равно не найдете — Софи —
флакончик духов. —

Голос отвратный сказал: «Стащите с него сапоги».

Тогда он испуганной крысой стал отбиваться, кусаясь и плача,

Но те повалили его и в минуту бумаги нашли.

Лука Брекинридж с удивлением на это смотрел.
«Ах чёрт, — думал он, — а, паршивец — шпион в самом деле!
Я так и сказал им, ей-ей, но я этого вправду не думал.
Я только хотел отпугнуть эту шавку, чтоб он перестал
За девочкой бегать моей, и назад позабыл бы дорогу, —
Ах, чёрт побери, меня сделать капралом должны!»
Он был очень доволен собой.

Клей Вингейт посмотрел
На катающегося в ногах у него человека.
«Встань!» — он голосом жестким сказал, ощущая прилив
тошноты.

Но пришлось существо это силой волоочь по земле,
Да и тут продолжало оно бормотать.
Горло всё пересохло у Шиппи.
Ну, да всё обойдется — всё хорошо обойдется —
Он ведь жив — он ведь Шиппи — он девочку знает одну —
Он решил подарить ей флакон первоклассных духов.
Это всё прекратиться не может. Он еще не готов умереть.
С ними он подружиться готов, он готов обратить это в шутку,
Пусть возьмут и повозку, и мулов, и сделают

больно-пребольно,
Но только б не это — других, разумеется, принято вешать
шпионов —
Но только не Шиппи — не тело, которое знает он так хорошо,
В котором живая пульсирует кровь, согревая его.
Ведь он-то всамделишный! Куртка на нем и штаны.
Он может так сделать, что все это сразу исчезнет, —
Глаза только стоит зажмурить. Сейчас они пустят его —
Ведь славные это ребята, и зло обращаться не станут они
с человеком.

Не станут же вешать его.

Но вешать его они стали.

БЕНЕ Стивен Винсент — родился в 1898 г. в Бетлехеме (Пенсильвания) в семье артиллерийского офицера. В 1915 поступил в Йельский университет и выпустил первый сборник стихов «Пятеро и Помпей». Автор многих рассказов, романов, пьес, поэм и сборни-

ков стихов. Член Национальной академии искусств и изящной словесности. Кроме двух Пулитцеровских премий, удостоен трех премий О'Генри, награды памяти Шелли и медали Теодора Рузвельта за литературные заслуги. Умер в 1943 году.

ЕЛАГИН (настоящая фамилия — Матвеев), Иван Венедиктович, родился 1.12.1918 г. во Владивостоке. Отец Елагина — поэт-футурист Венедикт Март (Матвеев), дед — журналист, издатель, автор очерков по истории города Владивостока, Николай Петрович Матвеев.

**Вышел из печати и поступил в продажу
литературно-художественный альманах**

АПОЛЛОН — 77

В альманахе представлены наиболее значительные и яркие представители русского авангарда за шестьдесят лет, как в живописи, так и в поэзии, от Филонова, Кузмина, Введенского, Ремизова до наших современников. Поэты и художники, драматурги и литературные критики, живущие в СССР и за границей, впервые представлены не отрывочными публикациями, а в достаточно полном объеме.

Альманах снабжен многочисленными репродукциями современных русских художников-авангардистов — Б. Свешникова, Д. Плавинского, А. Харитонova, Д. Краснопевцева, О. Целкова, О. Рабина и многих других.

*Главный редактор и издатель
— Михаил Шемякин*

Цена — 350 франков
Заказы направлять в магазины
ИМКА-Пресс и Дом Книги

КРУГ РАССКАЗЧИКОВ

Сергей Довлатов

ПО ПРЯМОЙ

После того, как меня связали телефонным проводом, я успокоился. Голова моя лежала под радиатором парового отопления, а ноги, обутые в грубые кирзовые сапоги, — в центре ленинской комнаты, под люстрой, где неделю назад стояла елка.

Первым делом я решил объявить голодовку и стал ждать ужина, чтобы к нему не притронуться. Но никто не пришел.

Я слышал, как солдаты конвойного взвода получали оружие, как их инструктировал лейтенант Хуриев, я знал, что сейчас они окажутся на морозе и пойдут по черным трапам вдоль зоны мимо рвущихся собак, и каждый будет освещать фонариком лицо, чтобы солдат на вышке мог его узнать. Я слышал, как по коридору шла свободная смена, кидая под сумки с двумя магазинами и белые от инея автоматы на прилавок ружейного парка, а затем часовые передвигали легкие дюралевые табуретки в столовой, где повар Балодис оставил им несколько луковиц, буханку хлеба и кусок свиного сала.

Трезвея от холода и боли, я начал вспоминать всё по порядку.

Сначала мы пили с бесконвойниками, которые пытались меня обнять и всё твердили: «Боб, ты один в Усть-Вымлаге человек». Потом мы отправились через весь поселок к кильдиму, встретили леспромхозного доктора Штерна, Фидель сорвал с него ондатровую шапку, зачерпнул снега и снова надел. Мы шли дальше, а по лицу доктора стекал грязный снег. Потом мы зашли в магазин и спросили у Тонечки водки. Она сказала, что водки нет, тогда мы закричали, что это ничего, потому что деньги у нас все равно уже кончились. Она говорит: «Вымойте полы на складе, и я вам дам по фунфурику одеколона». Тонечка пошла за водой, вернулась через несколько минут, и от воды шел пар, а мы сняли гимнастерки, скрутили их в жгуты, окунули в ведро и начали тереть дощатый пол. Потом мы выпили одеколон, который очень медленно выливался в кружки из флаконов, и закусили барбарисками с прилипшей к ним оберточной бумагой.

Тонечка сказала:

— На здоровье!

Латыш Балодис показал на нее и спрашивает Фиделя:

— Ты бы мог?

А Фидель ему и отвечает:

— За миллион и то по пьянке.

Когда мы вышли, было уже темно. Над лесобиржей и в поселке зажглись огни. Мы прошли мимо конюшни, где стояли телеги без лошадей, с оглоблями, упавшими на землю. Фидель затянул: «Мы идем по Уругваю», а Балодис схватил гитару, ударил ее об дерево и обломки кинул в прорубь.

Я поглядел на звезды, и у меня закружилась голова.

В это время Фидель полез с ножом в зубы на телеграфный столб. Человек он был технически грамотный и надеялся что-то испортить. Он забирался все выше и выше, а когда тень от него на снегу стала огромной, он вдруг страшно закричал и упал вниз с десятиметровой высоты. Мы кинулись к нему, но Фидель встал и говорит:

— Падать — не залазить!

Стали искать нож, но не нашли. Балодис говорит: «Видно ты его проглотил».

Потом мы отправились в казарму, а когда навстречу выехал из-за поворота хлебный фургон, шли вперед до тех пор, пока водитель не дал задний ход и не въехал, ломая забор, в чей-то палисадник.

Когда мы вернулись, служебный наряд чистил оружие. Мы зашли в столовую и поели холодного рассольника. Фидель хотел помочиться в бачок, что стоял в углу на табурете, но Балодис ему отсоветовал.

Потом мы зашли в ленкомнату и расселись вокруг стола, накрытого кумачовой скатертью. Кругом висели стенды, плакаты и лозунги, мерцала люстра, в углу валялась свернутая трубкой новогодняя «Молния».

— Скоро коммунизм наступит? — спросил Фидель, — а то у меня потребности накопились.

Я говорю:

— А как у тебя со способностями?

— Ничего, — ответил Фидель, — способностей у меня навалом.

— Матом выражаться, — подсказал Балодис.

Фидель начал расставлять шахматные фигуры, я положил голову на скатерть, а Балодис стал разглядывать фотографии членов политбюро ЦК.

Потом он сказал:

— Вот так фамилия — Челюсть.

Тут в ленкомнату заглянул старшина Евченко.

— Ложились бы спать, хлопцы, — сказал он.

А Фидель как закричит:

— Почему кругом несправедливость, старшина?! Объясните, почему! Вор сидит за дело, а мы-то за что пропадаем?!

— Кто же виноват? — говорит старшина.

Я говорю:

— Если бы мне указали человека, который виноват во всех моих несчастьях, я бы его тут же придушил.

— Шли бы спать, — произнес Евченко.

Тут мы встали и прошли мимо старшины, задев его плечом. Затем покурили, сидя во дворе на бревнах, и направились к зоне.

— Боб, иди в лагерь, — сказал Фидель, — и принеси горячего.

— Ага, — подхватил Балодис, — в кильдике водки нет, а в зоне ее всегда навалом. Урки дадут, еще спасибо скажут. Знают, что и мы в долгу не останемся.

Он потянул Фиделя за рукав:

— Дай папиросу.

— Курить вредно, — сказал Фидель, — никотин отрицательно влияет на сердце.

— Нет, полезно, — сказал Балодис, — курить очень полезно. Вредно на вышке стоять.

В зону меня не пустили. Контролер на вахте спрашивает:

— Ты куда?

— В зону.

— По личному делу?

— Нет, — говорю, — по общественному.

— За водкой, что ли?

— Ну.

— Поворачивай назад.

— Ого, — говорю, — вот это соцзаконность! По-твоему что, пускай ее выпьет какой-нибудь рецидивист?

— Ты за водкой ходишь, сближаешься с контингентом, а потом он тебя использует в преступных целях.

— Кто это — он?

— Кто, контингент. У тебя должен быть антагонизм по отношению к эзкам. Ты должен их ненавидеть. А разве ты их ненавидишь?

— Я никого не ненавижу. Даже тебя, детка.

Я вернулся в казарму, спотыкаясь. В темноте пересек заснеженный плац и оказался в сушилке, где топилась печь, а на крючьях висели валенки и полушубки. Фидель ринулся ко мне, опрокинув стул, но я сказал, что водки нет, и он заплакал. Я спросил:

— А где Балодис?

Фидель говорит:

— Все спят. Мы одни остались.

Тут и я чуть не заплакал, я представил себе, что мы одни на белом свете, никто нас не любит и некому о нас позаботиться.

Фидель взял гармошку, издав резкий пронзительный звук.

— Ого, — сказал он, — впервые инструмент беру, а получается неплохо. Что тебе сыграть, Баха или Моцарта?

Мы помолчали.

— У Дзавашвили чача есть, — сказал Фидель, — только он не даст. Пошли?

— Неохота связываться.

— Может, ты его боишься?

— Чего мне бояться? Плевал я на него!

— Нет, ты боишься. Я давно заметил.

— Может, я и тебя боюсь? Может, я вообще и Когана боюсь?

— Когана ты не боишься, и меня не боишься, а Дзавашвили боишься. Все грузины с ножами ходят. Чуть что, берутся за ножи. У Дзавашвили вот такой саксан! За голенищем не уместается.

— Пошли, — говорю.

Андзор Дзавашвили спал у самых дверей. Даже во сне его лицо было красивым и немного встревоженным. Фидель разбудил его и говорит:

— Слышь, нерусский, дай нам чачи.

— Какая чача, дорогой, спать надо.

— Дай, говорю, мы с Бобом похмеляемся.

— Как ты завтра на службу пойдешь? — говорит Андзор.

А Фидель отвечает:

— Не твоих усов дело.

Андзор повернулся спиной.

Тут Фидель как закричит:

— Что ж ты, сука, русскому человеку чачи не даешь?!

— Кто русский? — говорит Андзор, — ты русский? Ты не русский. Ты — алкоголист!

Ну и пошлô.

Андзор кричит:

— Гиго! Вахтанг! Вай ме! Арунда!

Прибежали грузины в нижнем белье, загорелые даже на Севере, и стали так жестикулировать, что у Фиделя немедленно пошла кровь из носа. Тут началась драка, о которой долго помнили в казарме. Пять раз я падал, раза три вставал. Наконец меня связали телефонным проводом и отнесли в ленкомнату, но даже здесь, лежа на шершавых досках, я все еще преследовал кого-то. Наверное, это и был человек, виновный во всех превратностях моей судьбы.

Если спишь на полу, а руки и ноги у тебя связаны телефонным проводом, к утру настроение портится.

Я слышал, как повар с грохотом опустил дрова на кровельный лист у плиты, как звякали ведра, как шел по коридору дневальный, а потом захлопали двери, и все наполнилось особенным шумом казармы, где живут одни мужчины и ходят в грубых сапогах.

Через несколько минут в ленкомнату заглянул Евченко, наклонившись, перерезал штыком телефонный провод и сказал, что меня вызывает капитан Прищепа.

Я вошел в канцелярию, потирая запястья. Прищепа встал из-за

стола. У окна сидел писарь Богословский, самый избалованный и одинокий в казарме человек.

— На этот раз я прощать не намерен, — сказал капитан, — с расконвоированными пили?

— Кто, я?

— Вы.

— Ну уж, пил. Так, выпил...

— Сколько?

— Не помню, — сказал я, — помню, что пил из консервной банки.

— Товарищ капитан, — вмешался Богословский, — он больше не будет.

— Знаю. Слышал. На этот раз пусть трибунал решает. Времена старой ВОХРы прошли. Мы принадлежим к регулярной армии. И не стоит забывать об этом.

Он повернулся ко мне.

— Вы принесли команде несколько ЧП. Вы срываете политзанятия, задаете демагогические вопросы лейтенанту Хуриеву. Вчера учинили драку с нехорошим шовинистическим душком. Этого достаточно. Пускай решают в штабе.

Капитан подозрительно взглянул на дверь, затем распахнул ее. Там стоял Фидель и подслушивал.

— Здравсте, товарищ капитан, — сказал он.

— Ну вот, — произнес капитан, — как раз Петров вас и отконвоирует.

— Я не могу его конвоировать, — сказал Фидель, — он мой друг. Я не могу конвоировать друга. У меня по отношению к нему нет антагонизма.

— А вместе пить вы можете?

— Пить — это другое дело, — задумчиво сказал Фидель.

— Хватит! — капитан хлопнул ладонью по столу, — снимайте ремень!

Я снял.

— Положите на стол.

Я бросил ремень на стол. Медная бляха ударила по стеклу.

— Возьмите ремень! — крикнул Прищепа.

Я взял.

— Положите на стол!

Я положил.

— Ефрейтор Петров, берите оружие и марш к старшине за документами!

— Автомат-то зачем?

— Выполняйте.

Тут я говорю:

— Поесть бы надо. Никто не имеет права голодом морить.

Когда мы вышли в коридор, я сказал Фиделю:

— Ладно. Не ты, так другой.

Затем мы позавтракали пшенной кашей, сунули в карманы сахар и белый хлеб, оделись потеплее и вышли на широкое и чисто выметенное крыльцо. Фидель достал из подсумка обойму, прямо на ступеньках зарядил автомат, и мы не оглядываясь ушли к поезду, где можно было сесть в попутную машину или лесовоз.

Мы шагали по лежневке, оставляя за спиной темные стены казармы, прозрачные деревья над забором и мутное белое солнце.

Шлагбаум был опущен, и мы постояли несколько минут, наблюдая, как мимо с грохотом проносится состав. Мне удалось разглядеть голубые занавески, термос, лампу и мужчину с папиросой в одном из окон.

Рядом затормозил лесовоз, Фидель махнул рукой шоферу, и мы оказались в кабине, где пахло бензином и было тесно.

Фидель поставил автомат между колен, и мы закурили.

Шофер повернулся ко мне и спрашивает:

— За что тебя, парень?

Я говорю:

— Критиковал начальство.

Когда мы проезжали мимо старой кирпичной водокачки, где дорога сворачивает к поселку, я вынул из кармана часы без ремешка и показал шоферу.

— Купи, — говорю.

— А ходят?

— На два часа точней кремлевских.

— Сколько?

— Пять колов.

— Пять?

— Ну, семь.

Шофер остановил машину, вынул деньги, дал мне пять рублей, а потом еще долго разглядывал часы и прикладывал к уху.

— Тестю, — говорит, — преподнесу на именины, старому козлу.

Мы вышли из машины и направились по лежневке, темнеющей среди сугробов, к поселку, который встретил нас стуком движка, скрипом полозьев, сквозняком пустынных улиц, на которых было больше собак, чем людей. Дальше под горой начинались серые заборы головного лагпункта с двухэтажным кирпичным зданием штаба, и путь наш лежал через весь поселок, мимо полуразвалившихся каменных ворот тарного цеха, мимо изб, погребенных в снегу, мимо столовой, из распахнутых дверей которой валил белый пар, мимо гаража, где автомобили развернуты в одну сторону, как коровы на лужайке, мимо клуба с серебристым громкоговорителем над чердачным окошком и потом — вдоль нескончаемого забора с проволочным карнизом наверху к калитке с жестяной пятиконечной звездой и по тропинке к зданию штаба, набитого щеголеватыми офицерами,

стуком пишущих машинок и многочисленными воинскими реликвиями. Там за железной дверью хорошо оборудованная гауптвахта с цементным полом.

— Мы тебя на поруки возьмем, — сказал Фидель, — я поговорю с мужиками.

— Ага, поговори.

Мы прошли через ров по обледевшим бревнам. Потом я сказал:

— У тебя в документах указано время?

— Нет, — сказал Фидель, — а зачем?

— Куда, — говорю, — нам спешить, — пойдем к торфушкам.

Так называли сезонниц с торфоразработок, которые жили в бараке на краю поселка.

— Да ну, — говорит Фидель.

— А что? Возьмем бутылку, деньги есть.

Тут я заметил, что Фиделю это не нравится, что он с тоской поглядывает на меня.

— А с автоматом что делать?

— Автомат под кровать. Пошли, в тепле хоть посидим.

Фидель идет и молчит.

Я говорю:

— Пошли. Посидим, покурим. Бардаки я и сам не люблю. Так хоть спокойно посидим в тепле, без крика. Уже одно, там «Ванечка, Боря» — и то приятно.

А Фидель говорит:

— Слушай. Вот он, штаб, рядом. Шли бы по прямой через болото. Пять минут, и ты в тепле.

— На гауптвахте, что ли?

— Ну.

— Где пол цементный?

— Причем тут пол? Там есть топчан. И печка. И температура по уставу должна быть не ниже шестнадцати градусов...

— Ванька, — говорю, — не по делу ты выступаешь. Это всё впереди — и гауптвахта, и топчан, и шестнадцать градусов, и дознаватель Войшко, а сейчас пойдем к торфушкам.

— Приключений искать? — сказал Фидель с досадой.

— Ах вот как ты заговорил! Вот что делается с человеком, которому дают продаттестат и оружие впридачу! Давай, приказывай, гражданин начальник!

Фидель как закричит:

— Чего ты возникаешь, а? Чего ты возникаешь? Да пойдем, куда угодно! Пойдем к торфушкам! Куда хочешь, туда и пойдем!

Мы свернули к кильдиму, поднялись на крыльцо, отряхнули снег и вошли в помещение, где пахло рыбой и керосином, в углу темнели бочки, а на полках лежали сигареты, мыло, печенье в старо-

модной упаковке, куб халвы с оплывшими краями и пряники цвета мрамора.

Я дал деньги, Тонечка протянула две бутылки вина, и Фидель опустил их в карманы галифе. Потом мы купили немного халвы и две банки свиных консервов.

Фидель сказал:

— Купи селедки.

Тонечка говорит:

— Селедка с запахом.

Фидель спрашивает:

— С плохим, что ли, запахом?

— Да с неважным, — говорит Тонечка.

Мы вышли из магазина, поднялись в гору, и вот оказались перед баракком с ветхой лампочкой над входом. Утопая в сугробах, мы подошли к окну и постучали. Тотчас высунулось плоское лицо, и девица с распущенными волосами кивнула несколько раз, указывая пальцам в сторону двери.

В прихожей стояло ведро, накрытое куском фанеры. В углу висели ватники. Под ними лежали веревки, лопаты и крючья.

В бараке было тепло. Из угла в угол тянулась труба чугунной печки, наполненной розовым жаром. На нарах валялись пальто и ватники. К подгнившим балкам были прикреплены осколки зеркала и цветные фото из журналов. На тумбочках громоздилась немытая посуда.

Мы скинули полушубки и сели к дощатому столу. В двух шагах кто-то спал, укрывшись с головой. У окна сидела женщина в синей железнодорожной гимнастерке и, повернувшись к нам спиной, читала книгу.

— Будьте как дома, если уж пришли, — сказала девица с распущенными волосами.

На ней были малиновые шаровары и грубые кирзовые сапоги. Ее подруга с бледным и злым лицом была в малиновой лыжной куртке, суконной тесной юбке и домашних шлепанцах.

Мы вынули бутылки и консервы.

Девицы принесли эмалированные кружки и хлеб. При этом они толкали друг друга и беспрерывно смеялись.

На подоконнике стоял транзисторный магнитофон, выделяясь среди всего этого хлама.

Девица в красных шароварах назвалась Зиной, а ее подруга в юбке сказала басом:

— Амосова Надежда.

— Мальчики, — спросила Зина, — вы из ВОХРы?

— Нет, — сказал Фидель, — мы артисты. Лауреаты. А вот мой сакс.

И он помахал автоматом над головой.

— Мальчики, — спросила Надя, — вы немного чокнутые?

— Ага, — говорю, — мы психи. Кукареку!

Фидель разлил вино, звякая стеклом об эмалированные кружки.

— Будем здоровы! — сказал он.

— Будем здоровы, — говорю.

— Будете, будете, — сказала Зина, — мы проверяемся. Так что не бойтесь.

Кто-то ходил у нас за спиной по бараку, кто-то ругался, когда включили проигрыватель, кто-то захлопнул книгу, кто-то пил воду в сенях, затем явились леспромхозовские парни, увидели наши ватники на лавке, не захотели присесть и долго бродили под окнами, что-то замышляя.

Но я ни на что не обращал внимания, потому что вдруг вспомнил о том, как по первому снегу приехал в Вожаель на очередные сборы надзорсостава и нас разместили в сорокаместной палатке, где койки стояли в два яруса и внизу было жарко от печки, а под обвисшими брезентовыми бортами гулял ветер. Каждое утро мы беспорядочной толпой шли в столовую учебного пункта, а потом тренировались в спортивном зале или перелистывали инструкции, чтобы в шесть часов, поужинав, разбрестись кто к знакомым, кто на танцы в местный клуб, где грохочет оркестр, разгоряченные девушки ищут в толпе офицеров, а солдаты в душных мундирах и сапогах, сияющих, как фальшивые драгоценности, торчат у стены, распространяя запах одеколона и конюшни, но вот смолкает джаз, и они идут в темноте пешком из клуба или едут в кузове батальонного грузовика, а затем под сводами сорокаместной палатки долго еще звучит тяжелая грязная брань в адрес всех без исключения женщин мира.

И вот однажды вечером я свернул с дороги, окаменевшей от первых морозов, и по тропинке, стиснутой сугробами, пошел в библиотеку. Я поднялся крутыми деревянными ступенями на второй этаж, отворил дверь и стал на пороге. В читальном зале было пусто и тихо. Вдоль стен мерцали шкафы. Несколько старинных картин придавали залу торжественный вид. Я подошел к деревянному барьеру. Навстречу вышла женщина лет тридцати пяти, в очках, с узким лицом и бледными губами. У нее была нежная кожа и довольно длинный нос, хотя лицо и не казалось от этого унылым, а когда она посмотрела в мою сторону, сняв очки и тотчас коснувшись переносицы, я почувствовал на себе неожиданно твердый, дерзкий, мальчишеский взгляд. Я взял книгу, которую полюбил еще в школьные годы, и, расписавшись на квадратном голубоватом бланке, сел к окну. Я включил изогнутую лампу, положил локти на холодный стол и углубился в чтение. Женщина несколько раз вставала, уходила из комнат, иногда смотрела на меня, и я вдруг понял, что она ничего не боится, но любит молчать. Затем она передвигала стулья, я встал, чтобы помочь, заметив, что на ней старомодное платье из очень жесткой, темной, всегда прохладной материи и меховые чу-

котские пимы. Тут я случайно коснулся ее руки, у меня на секунду остановилось сердце, и я со страхом подумал о том, как я отвык от вещей, ради которых стоит жить, как много я потерял, чего лишился, сколько счастья пронеслось мимо меня в эти ночи, полные ненависти, когда доски трещат от мороза, на питомнике лают собаки, а ты сидишь в изоляторе и слышишь, как за стеной звякает наручниками Анаги-заде, а дни, морозные, несчастные, одинаковые, бредут под окнами, опережая почту.

Я вернулся к столу, захлопнул книгу, не оглядываясь, спустился по лестнице и, с трудом прикурив на ветру, пошел в военный городок...

Сейчас я вспомнил это и сказал Фиделю:

— Пошли отсюда.

Девушки спросили:

— Вас что, невесты дожидают...

Мы шли под звездами в тишине, вдоль забора направились к ложине, которая заканчивалась темным и громоздким силуэтом штаба. Вдруг на тропинку упали тени, и перед нами оказались лес-прохоровские парни, но Фидель сразу кинул по-эсесовски автомат на грудь и только сказал:

— В лесу стреляю без предупреждения!

Парни выругались, исчезнув в темноте между деревьями.

Я шел впереди, ориентируясь на силуэт спортивной рамы для канатов, установленной перед штабом, она темнела сейчас на фоне неба, как виселица. Фидель шел следом.

Тропинка была узкой, не шире лыжни, и я то и дело оступался.

Когда мы оглябли последние дома поселка, я увидел в окне библиотеки свет, остановился и подумал о женщине, которая сидит над освещенным столом за бастонами книжных шкафов в тихом и теплом пространстве с невидимой печкой, и вот я КАК БЫ иду по деревянной лестнице, затем по коридору, оставляя мокрые следы, распахиваю дверь, женщина встает, ее старомодные серьги тихо покачиваются, тишина настолько полная, что мне явственно слышится их мелодичный звон, женщина снимает очки, тотчас коснувшись переносицы с выражением еле заметной досады, и я ощущаю на себе не женский, смелый взгляд...

— Пошли, — сказал Фидель, — ноги мерзнут.

Я говорю ему:

— Мне бы надо в библиотеку зайти.

— Ну ты даешь!

— Я хочу там с одной поговорить.

— Кончай, — сказал Фидель, — и так целые сутки до штаба добираться.

Я остановился. Кругом ни души. В стороне желтеют огни поселка. Справа темной стеной возвышается лес.

Я говорю:

— Фидель, будь человеком,пусти меня. Я познакомился с одной, мне надо...

Он смотрит в сторону и произносит:

— Не могу.

— Ну, ясно, вот что делается с человеком, если дать ему автомат и документы, чтобы вел другого под конвоем!

— Иди, давай, и не базарь! — сказал Фидель.

— Ясно, — говорю, — приказывай, начальник!

Но не двигаюсь с места.

Фидель становится у меня за спиной.

— Мне, — говорю, — надо в библиотеку.

— Иди вперед!

— Мне надо...

— Ну!

Я посмотрел туда, где сияло квадратное окошко, дрожащий маяк, и направился по глубокому снегу к поселку, оставляя за спиной темнеющий на горизонте забор военного городка и черную фигуру конвоира.

Тогда Фидель крикнул:

— Стой!

Я обернулся и говорю:

— Хочешь меня убить?

Он произнес еле слышно: «Назад».

Тут я обругал его самыми грязными словами, которые слышал у костра на лесоповале, и в штрафном изоляторе, и за картежным столом перед дракой, и на пересылках во время шмона.

— Назад! — сказал Фидель.

Я шел, не оборачиваясь, я стал огромным, я заслонил собой горизонт, я слышал, как в опустевшей и морозной тишине звякнул затвор, как, скрипнув, подалась боевая пружина, как утвердилась со стуком в патроннике пуля.

И вдруг я испытал такую злость, как будто сам, я, именно сам, целился сейчас в человека, бредущего по снегу в сторону поселка, и этот человек без ремня был виновником всех моих несчастий, вот только лица его я не успел разглядеть.

Я остановился, посмотрел на Фиделя, вздрогнул, увидев его лицо (в зубах он держал меховую рукавицу), что-то крикнул и пошел ему навстречу.

Фидель бросил автомат и заплакал, стаскивая зачем-то полубок и обрывая пуговицы на гимнастерке.

Я подошел к нему и встал рядом.

— Ладно, — говорю, — пошли.

ДОВЛАТОВ Сергей — родился в 1941 году в Ленинграде. Учился в Ленинградском университете на факультете журналистики, оттуда был взят в армию, служил на севере. Работал журналистом в Ленинграде, затем в Таллине. Более 15 лет пишет прозу, но смог напечатать лишь несколько рассказов. В 1973 году в Таллине была набрана книга его рассказов, но по приказу из КГБ набор был рассыпан. Сейчас живет в Ленинграде.

СТАРИК СЕМЕНЫЧ

Он маршировал по улице с тринадцатикопеечным батоном наперевес и с готовностью улыбался изумленным прохожим. На нем была клетчатая рубашка навыпуск, зеленые китайские брюки без складок, с гармошкой под коленками, и коричневые сандалии из кожаного заменителя на босу ногу. Рукава засучены, шея открыта, остатки волос всклокочены.

Около круглой деревянной будки он приставил ногу и заглянул внутрь. В тесном, заставленном пространстве раком-отшельником шевелился крошечный старичок на высоком табурете, авторитетный человек, местная знаменитость, председатель клуба любителей поболтать, пока не привезут газеты. На нем была шелковая тенниска в клеточку, купленная в магазине «Детский мир», в отделе для школьников, а узкую руку перекрывали огромные часы на широком ремешке с компасом и портретом космонавта Егорова.

— Кого я вижу! — равнодушно воскликнул старичок, раскладывая монеты по столбикам. — Как жизнь молодая?

— Наше дело пенсионное, — с удовольствием ответил Семеныч и энергично взмахнул батоном. — Сиди дома и жди смерти.

— А это вы видели?! — неожиданно взвизгнул старичок и выкинул из киоска руку, на конце которой, как игрушечный пистолетик, торчал маленький кукиш. — Если они отправят меня на пенсию, я эту лавку сожгу, так и знайте...

— Дяденька, — закричал парнишка на велосипеде. — «Юный техник» есть?

— Есть, — старичок убрался, будто в раковину, в глубину киоска и, словно защищаясь от кого-то, пробурчал: — Оболью керосином и сожгу...

— Мальчик, — тихо позвал Семеныч, примериваясь, — а мальчик... Дал бы ты прокатиться...

Он выполнил батоном ружейную команду «На плечо!» и, печатая шаг, пошел через дорогу к себе во двор. Остановилась машина, остановились прохожие. Сандалии гулко и торжественно хлопали по морщинистым пяткам. В прошлом месяце пошел седьмой год его пенсионной службы, а он до сих пор не нашел себя.

Около подъезда сидел на скамейке сосед Семеныча, почтенный старик, старец, председатель товарищеского суда, в строгом синем костюме, в светлой рубашке с отложным воротником.

— Как дела, товарищ? — строго поинтересовался сосед, шурша передвицей.

— Марки решил собирать, — охотно откликнулся Семеныч. — Австралии, Новой Зеландии и стран Океании.

— Ну?

— Ага. Переписываться буду.

— Пустое дело, — отрубил сосед. — Хорошую коллекцию всё одно не собрать. На это годы нужны. А где они у вас? Нету. Где их взять? Негде.

— Чего ж тогда делать? — потупился Семеныч, ковыряя батон.

— Отдыхать! — приказал сосед. — Отдыхать от прожитой жизни.

Он поднимался по лестнице почти бегом, выставив вперед голову и размахивая рукой с батоном, как это делают на соревнованиях по скоростному бегу на коньках. Навстречу ему, тяжело ступая на пятки, медленно спускалась женщина. Тонкие руки, тонкие ноги, лицо в желто-коричневых пятнах, строгие запавшие глаза и неожиданно яркое, нарядное платье, вздернутое спереди огромным животом.

— Дерется? — заинтересованно спросил Семеныч, кивая на живот.

Женщина ничего не сказала, только вздохнула.

— Должно быть, скоро.

Женщина опять вздохнула.

— Ну и ладно... И хорошо... — Ему очень хотелось дотронуться до живота, чтобы ощутить толчки, но он не решился и сказал, глядя исподлобья и как бы хвастаясь в свою очередь: — А я во сне вздрагиваю...

Женщина тяжело охнула и понесла дальше свой живот.

— Вниз расту, — объяснил он и перевесился через перила: — Вниз так вниз... Всё не на месте.

Вошел в квартиру, поел, попил чаю, вымыл посуду. Время — девятый час. Все дела переделаны. Можно отдыхать.

Утреннее солнце беспощадно лупило по стеклам, в комнате сгустилась духота, — слишком быстро прогреваются эти комнаты, — а снизу, из палисадника, где невиданно разрослась трава и золотые шары, тянуло сырой землей, и тополь уже дорос до балкона, отмахав за жаркий и влажный месяц почти на метр. Еще в прошлом году он только царапал решетку концами веток, а сейчас победно торчал над нею. Шумливые листья глянцевого поблескивали на солнце, и среди них выделялся один, тусклый, объединенный напополам. Штук пятнадцать зеленых гусениц, вцепившись по-собачьи, мертвой хваткой, упруго торчали во все стороны от листа. Тополь рос и тащил их за собой.

На соседний балкон вышел длинный прыщеватый малый в трусах и динамовской майке.

— Вовка, — обрадовался Семеныч. — Чего делаешь?

— В армию собираюсь, — пробурчал Вовка, вытряхивая рюкзак.

— Стало быть, берут?

— Берут. Чего им не брать?

— Ладно, — успокоил Семеныч. — Зато в ЦСКА будешь играть.

— Да знаю я... — отмахнулся Вовка. — Говорили.

— А потом куда? После армии?

— Там видно будет.

— Знаешь, — задумчиво молвил Семеныч, ероша волосы, — только в повара не иди. Ты стараешься, готовишь, а они — раз! — и съели. Не иди, ладно?

— Ладно, — хмуро сказал Вовка и ушел в комнату.

— Вовка! — закричал он.

— Ну, чего еще?

— В парикмахеры тоже не иди. Ты стрижешь, укладываешь, а они шапки надели — и смяли.

— Да ладно... — скривился Вовка. — Надоело. Я, может, в «Динамо» пойду.

Он постоял еще на балконе, понюхал запахи, пожмурился на солнце, а потом, вдруг, забеспокоился, побежал в комнату. Завернул в газету парадные брюки, уложил в авоську, примерился перед зеркалом, скривился, застенялся, заправил рубашку под ремень, надел носки и пиджак, пригладил волосы, чинно спустился вниз.

На скамейке у подъезда председатель товарищеского суда сонно качал коляску. Прочитанная газета, сложенная шапочкой, прикрывала голову от солнца. Рядом с ним зевал, томился, мусолил папиросу пенсионер Алешкин, бывший таксист, в белой майке-сеточке, в синих шароварах на резинке, в стоптанных шлёпанцах. Еще в прошлом году гонял Алешкин на недозволенных скоростях, — пузо в руль, голова в потолок, — вышибал доход себе и государству, хозяином разгуливал на стоянках, снисходительно, сверху вниз, выбирал пассажиров, а теперь целый день мается во дворе, ждет неизвестно чего.

— Ты куда? — оживился Алешкин.

— Друга хочу проведать.

— А это будет? — и он выставил толстенный кулак с двумя оттопыренными пальцами.

— Должно быть.

— Я с тобой, — быстро сказал Алешкин.

— Давай. Только переоденься.

— Да ладно... Так сойдет. А то смоешься без меня...

— Граждане, — нахмурился председатель. — Дети спят.

— Извиняемся, — бодрым шепотом заорал Алешкин, отдавая честь, будто перед милиционером, и, заглянув в коляску, польстил: — Весь в деда. Тоже, видать, председателем будет.

Он подхватил Семеныча под руку, и они пошли серединой двора под неодобрительным взглядом председателя. Наголо обрिताя

голова Алешкина нестерпимо сверкала на солнце, и председателю было больно на нее глядеть.

— На такси поедом, — обрадовался Алешкин. — Красота...

— А деньги у тебя есть?

— Откуда? У меня и карманов нету.

Они сели в трамвай, и Алешкин сразу зашептал на ухо:

— Не надо... Не бросай. Небось, не обедняют.

— Ну, почему же, — обиделся Семеныч. — Я, если хочешь знать, может, еще работать пойду.

— Как же, как же, так тебя и ждут. Все глаза проглядели.

Трамвай взвизгнул и сразу встал. Семеныч упал на Алешкина, Алешкин упал на железную кассу. На рельсах стоял седой мужчина. В белой чесуче, в белых туфлях, с поднятой палкой.

— Откройте дверь, — негромко сказал мужчина, и водитель открыл.

Мужчина в чесуче тяжело поднялся по ступенькам, сел на сиденье лицом к вагону, положил палку на колени.

— Имею право, — сказал мужчина, и они поехали дальше.

Он по-хозяйски оглядел вагон, и все поняли, что сейчас он будет говорить. Трамвай — самое удобное для этого место. Двери закрыты, ехать надо — не убежишь.

— Такая молодая и уже мать, — громко сказал он женщине с ребенком. — Муж-то есть?

Весь вагон посмотрел на женщину.

— Есть... — прошептала она, пристально глядя в окно.

— Есть, — подтвердил молоденький летчик и покраснел.

Весь вагон посмотрел на лётчика.

— А что вы стесняетесь? — покровительственно сказал мужчина. — Лично вам стесняться нечего. Пусть те стесняются, кто детей своих бросает. Летаете?

— Летаю, — оробел лётчик.

— И как же вы летаете?

— Как прикажут, так и летаю.

— Неправильно, — нахмурился мужчина. — Как бы вам ни приказали, надо летать выше всех, дальше всех и быстрее всех. Плохой вы летчик. Азов не знаете.

— Верно, — сказал вдруг Алешкин. — На хрена нам нужны такие летчики...

— Эй! — зашептал Семеныч, дергая Алешкина за руку. — Ты чего?

— Привычка, — сконфузился Алешкин. — Когда поддакиваешь, пассажир больше платит.

Мужчина в чесуче пристально поглядел на них и сказал, приглашая к разговору:

— Всё говорят: теперь, теперь... Раньше тоже не дураки жили. Хуже делали, да лучше было.

— Вы что... — вскинулся Семеныч, и взмахнул авоськой с парадными брюками. — Вы, что, дома не наговорились? Вам, что... не о чем помолчать? Подумать не о чем?... — И сердито приказал: — Алешкин, пошли отсюда!

На остановке трамвая к Алешкину сразу прицепился милиционер. Такой интеллигентный капитан в очках.

— Гражданин! — воскликнул он, с изумлением разглядывая мохнатое Алешкинское пузо под сетчатой майкой. — Что это вы в неглиже разгуливаете?

— Где? — испугался Алешкин.

— Не где, а в чем. В таком виде ходить по улицам нельзя.

— Нельзя, — с готовностью согласился Алешкин и втянул пузо внутрь. — Ни в коем разе нельзя, товарищ полковник.

— Капитан, — поправил милиционер. — Пока что капитан. Всё-таки город, центральная улица.

— Безобразие, — убежденно сказал Алешкин. — Мало, товарищ майор, штрафуют нашего брата.

Капитан сразу заскучал и уехал на трамвае, а Алешкин заликовал, забулькал, захлебнулся радостью:

— Видал? Видал, как я его? Квалификация...

— Знаешь, Алешкин, — строго сказал Семеныч, — мне тебя жалко.

— Да я сорок лет баранку прокрутил! — заорал Алешкин и показал руками, как он это делал. — Можешь такое понять?

— Ладно, — попросил Семеныч. — Не сердись. Себя мне тоже жалко.

В переулке, где жил дед, он начал беспокоиться. Уже сколько лет боялся он к нему ходить, боялся всякий раз, что тот уже умер: такой был дед старый да дряхлый. Придешь, позвонишь, спросишь деда, а его уже нет. Что тогда делать? Как на жену глядеть? А познакомились они давно, когда дед уже был дедом, а Семеныч, почти молодой, перешивал у него брюки. Дед — знаменитый брючник, учился этому делу в Париже, куда его посылал хозяин. Дед может шить и пиджаки, и сделает это не хуже другого, но он брючник, — он учился на брючника, — и пиджаки не шьет. Теперь он и брюки не шьет, у него руки трясутся. Шить не может, а советовать еще в силе. Вот и несет Семеныч свои парадные брюки: посоветоваться, старика потешить.

Дед жил на первом этаже, дверь во двор, и открыл сразу, будто дожидался. Чистенький, в ситцевой рубашечке, серых брюках в полосочку, в валенках.

— Здравствуй, дед, — обрадованно вздохнул Семеныч.

— Явился? — закричал дед, тряся головой, и быстро его осмотрел, будто обклевал. — Штаны-то у тебя, парень, никуда... Неужто пенсию не платят?

— День добрый, — сказал Алешкин, закрывая дверной проем.
— А ты иди, — дед замаха­ л руками. — Иди, иди... Нету ста­ канов, нету...

— Он со мной, дед. Со мной.

— А ты не с гастронома? — усомнился дед. — Ходят тут всякие, стаканы требуют, воблой в подоконник стучат...

Жена деда подозрительно оглядела Алешкина, подумала, нехотя выдвинула стулья под цветастыми чехлами.

— Садитесь. В ногах правды нет.

— А где она есть? — сказал Алешкин и сел первым.

Они выпили по две рюмочки и стали наливать чаем с провернутой смородиной. Стол под растрескавшейся клеенкой, высокая кровать под покрывалом с подушками, тройное зеркало, швейная машина «Зингер», столетник на подоконнике, телевизор «КВН» с линзой. Дед пил из блюдца, цыплячьи руки ходили ходуном, и ложка не попадала в розетку со смородиной.

— Скажи, дед, — спросил Семеныч, — что самое главное в нашем деле? Только подумай.

— Самое главное? — дед и думать не стал. — Самое главное, чтоб хвалили.

— За что нас теперь хвалить?

— А за прошлое, — дед затряс головой. — За дела...

— За прошлое... — протянул Семеныч. — Похвалили раз — и хватит. Я вот курить бросил. Пятьдесят седьмой день пошел. А охота — легкие чешутся.

— Кури, — разрешил Алешкин. — Теперь всё одно.

— Я примеряюсь, — строго оборвал Семеныч и посмотрел на всех по очереди, прямо в глаза. — Я знаешь сколько времени примеряюсь...

— Ну и дурак, — решил дед. — Оно само получится.

— Получится, как же! Мы себя в старики-то не готовим. В молодые готовим, а в старики — нет. Какое у тебя призвание, Алешкин, в твои старые годы — можешь сказать? Не можешь.

— Да я сорок лет баранку крутил! — заорал Алешкин. — Имею право...

— Чего орешь? — цыкнул дед. — Отдыхай молча.

— Тебе, дед, хорошо говорить, — обиделся Алешкин. — Ты, дед, пожил.

— Я не пожил. Я пережил. Японскую, германскую, польскую, эту... Тьфу, ты! — дед сбился, начал сначала: — японскую, германскую, польскую, финляндскую, опять же германскую... А промежду чего было...

— Теперь, дед, войны не будет, — авторитетно заявил Алешкин. — Вдарим — и кранты!

— Кому кранты? Кому кранты-то? — забеспокоился дед. — Своей смертью помереть не дадут...

— О, Господи, — вздохнула жена деда и подбавила всем смо-
родины. — Там воюют, тут воюют... Послушаешь радио, и комна-
ту подметать неохота.

Обратно ехали на такси. Алешкин выскочил на мостовую,
свистнул, кому-то помахал: остановилась машина. Сделали крюк,
завезли за счет пассажира.

— Ну как, отцы?! — орал шофер, молодой и золотозубый, с
фуражкой на затылке. — Как там на заслуженном отдыхе обеспе-
ченной старости?

— Нормально, — соврал Алешкин. — Скажи ребятам, что у
Алешкина полный ажур. Как всегда.

— Молоток! — одобрил шофер. — А я утром одну гражда-
ночку на вокзал вез. «Поедьте, — говорит, — в Сочи. Очень вы
меня устраиваете...» Мне бы теперь месячишко. В счет пенсии.

— Я бы с вами поменялся, — грустно сказал Семеныч и за-
стеснялся, как стеснялся всегда при встрече с молодыми, сильными,
здоровыми, и отходил в сторону, будто был в чем-то виноват,
будто его старость — это его вина.

Шофер оглянулся, посерьёзnel:

— Вообще-то, отец, ты прав... Посмотришь на вас, и жалость
берет.

— Ты меня не жале! — взорвался Семеныч. — Не жале! Как
бы я тебя не пожалел...

У подъезда дома сидел на скамейке председатель товарищеского
суда и опять читал газету. Сгибы от шапочки делили ее на части.
Алешкин сел рядом, закурил папиросу, будто и не уходил вовсе, а
Семеныч помялся, повертел авоську, тихо спросил:

— Вы для чего в суд ходите?

— Для дела, — отрезал председатель.

— Для дела — это я понимаю. А вам-то что от этого?

— Интересно.

— Неужто интересно? — изумился Алешкин. — В чужом
дерьме ковыряться...

— Вы, товарищ, домой заходили? — строго спросил предсе-
датель.

— А чего я там не видал?

— Ваша дочь двойню родила.

— Врешь!

— Узнайте у жены.

Алешкин сорвался с места, но в дверях остановился, испуганно
спросил:

— Кого родила-то?

— Две девочки.

— От, стерва... — заорал Алешкин и убежал в дом.

Когда затих топот на лестнице, Семеныч искося поглядел на председателя и, ковыряя ногой землю, спросил:

— Интересно, потому что дела интересные?

— Нет, — просто ответил председатель. — Дела неинтересные.

И уткнулся в прочитанную передовицу.

— И вы! — ахнул Семеныч. — И вы...

Он пришел домой, помылся, лег на диван и долго не мог уснуть, а когда, наконец, заснул, приснилась ему жена. Она стояла спиной к нему, и даже сзади было заметно, что она беременна.

— Маша, — попросил он робко. — Обернись, Маша...

Она начала оборачиваться и обернулась было совсем... но тут зазвонил телефон. Его выдирало из сна, как ржавый гвоздь из доски. Он цеплялся, а его выдирало.

— Нефтеснаб? — заорали в самое ухо. — Это Нефтеснаб?

— Нет, это квартира, — с сожалением ответил Семеныч.

— А, чёрт!.. — заругались в трубке, и загудели торопливые гудки.

Он лег обратно, закрыл глаза и усилием воли заставил себя заснуть, чтобы увидеть продолжение сна.

Приснился овраг. Внизу он, наверху жена. Позвал, протянул руки, пополз вверх: ноги вязнут в песке, сапоги пудовые — не выдернуть. Крикнул горлом, оттолкнулся, полетел. Сапоги остались в песке, следили за ним, как два глаза.

— Знаешь, Маша... А я уже научился сам себе ставить горчичники. И на спине тоже.

Под вечер он надел синюю рубашку с меткой от прачечной на воротнике, натянул парадные брюки, повязал галстук, посмотрелся в зеркало, вышел из дома. Пьяненький Алешкин сидел на скамейке и плакал теплыми слезами.

— Слыхал? — огорченно спросил он.

— Слыхал.

— От, стерва...

Они пошли на соседнюю улицу, к роддому, и встали, задрав головы. Все махали, и они махали: Алешкин спьяну, а Семеныч — просто так. Потом Алешкин куда-то пропал, и многие тоже ушли, а Семеныч всё махал и махал, и беззвучно шевелил губами, будто разговаривал с кем-то за оконным стеклом. И женщины в роддоме, прильнувшие к окнам, думали, что он машет одной из них.

Проходила мимо горбатенькая старушка с ридикюлем, встала, поглядела через пенсне, умилилась до слез:

— У вас кто там?

— Двойня, — сразу ответил Семеныч. — Два мальчика. Нет... Мальчик и девочка.

— Счастливый, — позавидовала старушка.

— А вы как думали... — сказал он, примериваясь.

КАНДЕЛЬ Феликс Соломонович (литературный псевдоним — Феликс Камов). Родился в 1933 году. По окончании Московского авиационного института работал инженером. Начал печататься в начале шестидесятых годов. Сотрудничал в «Литературной газете», был старшим редактором сатирического киножурнала «Фитиль». Автор одной из самых популярных мультипликационных серий «Ну, погоди!». Печатался в «Новом мире», выпустил сборник сатирических рассказов. После подачи заявления на выезд в Израиль в 1973 году лишен всех средств к существованию.

ТРИ РАССКАЗА

(Перевод со словацкого)

1

Вставать пора, первое мая, праздник трудящихся. Зарядку можно и не делать, сегодня и так придется двигаться.

Не надо было с Шулеком всю ночь в карты играть, суета сует, а голова как барабан.

Он-то только посмеивался, отставные адвокаты от торжеств, мол, освобождены.

Я проводил его до самой бывшей табачной фабрики, оттуда и домой недалеко. В карты мы играем два раза в неделю: в канасту, в покер, иногда и в бридж.

Шулек абсолютно убежден, что на моей игре сказывается дурная комбинация предметов, которые я преподаю. Математика и история, и это, заметьте, почти тридцать лет. Начал я в местной реальной гимназии, как раз в десятую годовщину Чехословацкой республики. Вся главная улица была увешана трехцветными флагами.

В гимназии я заметил старого Мароти, новые поселенцы только тем его радовали, что модернизировали пивоварню и пиво получило великолепный новый привкус. Он со мной простился, всё-таки я у него учился в седьмом классе, показал на книжные полки, где стояли пыльные тома Вюрцбаха — биографического словаря австрийской империи, и сказал, что за венгерскими учебниками и словарем пришлет школьника Лацковича, пусть перетащит их в холостяцкую квартиру старого учителя.

Еще на прошлой неделе лучший художник моего класса рисовал густой синей краской на оберточной бумаге увеличенную голубку Пикассо. Ветвь мира сияет загадочно ядовитой зеленью. Глупая птица, все крыши загажены. В этом масштабе у голубки вид индюка.

Те, что на трибуне, не обратят внимания. Я из них знаю только одного. Зама по образованию. В шестьдесят первом он принес нам в класс напечатанный на газетной бумаге Моральный кодекс и смертельно серьезно втискивал каждому ученику.

От конгресса мира в Варшаве мало что осталось.

Эйрене*. Вечно молодая богиня с широкими плечами и бляхой на хитоне. Защитница детей.

Трибуна низкая, продолговатая, вся обтянута кроваво-красным

* Богиня мира (греч.) — Прим. пер.

полотнищем, в дождь оно линяет алыми ручейками на мостовую. Только, пожалуй, дождя не будет. Обычно на первое мая жарится. Оденусь в белое, хотя бы коллеги пришли и в темном. Светлая ткань поглощает — или отражает? — солнечные лучи.

Не вспотею. Только хребет заболит, стой да стой.

Нет, хуже всего — это рев скандирующих школьников, не говоря о потерянном времени, да еще сейчас, когда мы начинаем новый материал.

Грязные мордатые торговки тянутся к Версалью до первого большого рва с водой. Шум и крик насмерть перепугали будущего гражданина Людовика Шестнадцатого.

Эпизод для выпускников — кстати, вне программы, но простить себе не могу, то ли это слабость, то ли мелкое самоудовлетворение...

В кабинете у меня спрятан «Уникум»*, мое горькое мистическое яйцо. Думаете, пьяница, нет, я с собой обхожусь строго. Завтракать не буду, только каплю чаю. Грузинский. Вчера вечером соседка мне принесла суп, диетический. В моем возрасте надо следить за желудком.

Школьники, вот кто сегодня облопается сосисками и сахарной ватой.

Острый соус, коренья, лавровый лист — смерть для нашего брата. Ветеринар Штефуца пришел домой с вечеринки и, как настоящий глава семьи, вытащил жену из постели, пусть нам, гулякам, среди ночи сварит перекусить. Соседка — акушерка в больнице. Заботится обо мне, даже когда у них там кто-нибудь умирает. Когда вернусь с демонстрации, разогрею суп.

Присяду на минутку, прежде чем отправляться в школу. По левой стороне Главной улицы, по Фёутча, по Ленинской... По широкому тротуару «корсо» прогуливались императорско-королевские офицеры. Синие мундиры. Черные лосины удлинляли и подчеркивали здоровые ляжки.

Гусиный шаг. Спирохеты его искривляют, но порции ртути героически им противостоят. По другой стороне фланировали служанки с солдатами.

Около статуи Иммакулаты корсо расщепляется на две примерно одинаковые части. С самого утра возле Урбановой башни стоят два подметальщика. Один из них цыган.

Двенадцатилетний Деметер Штефан видел в Горнчарской улице городского полицей-президента. Он гнал перед собой потного цыганского парня. «Бога в душу, Девел а Бенг, подгоню тебя, ворюга растакой!» — он подхлестывал цыгана эбеновой дубинкой с серебряным шаром на конце. Остервенело вбивал ее своей жертве

* Венгерская настойка в низкой яйцеобразной бутылке. — Прим. пер.

между ребрами. Ходят, куда не положено. В ушах настрали их причитания по убитым.

Сегодня и валашские цыгане пойдут со всеми в колоннах. Да здравствует ассимиляция. Цыганский вопрос решен. Марии-Терезе это не удалось. В корчме «У двенадцати апостолов» сидит хилый вожак на источенной червями скамье и хвастает случайным собутыльником, что он заслуженный токарь на заводе, уж невесть с каких пор.

Ученикам я о них рассказываю: цыгане пришли с Малабарского побережья, через Афганистан, их надо уважать хотя бы из-за их брахманских родичей.

Лучше всего повернуть к Хорнадо*. У реки насажены тополя. Одиночество столпников.

Адмирал Миклош Хорти въехал в наш город на белом коне с другой стороны, против движения нынешней демонстрации.

У победителя было болезненное старческое лицо, сжатые, без улыбки губы. Гляньте-ка, спаситель верхневенгерских** земель, обновитель тысячелетней империи Святого Штефана. У доски памяти павшим гонведам*** приостановился — или сивка-бурка спотыкнулась — и рысью к ратуше.

Сейчас, ранним утром, на улице славная тишина. Через два часа громкоговорители грянут марши. Искусственное волнение станет реальностью. Будем надеяться, что впереди нашей школы пойдет театр.

Балерин обычно ждали после спектакля в скверике, у фонтана с золотыми рыбками.

Шулек знал хирурга, который оперировал примабалерине расширенные вены. Самые красивые в городе ноги. Школьников старших классов приводили в тихий экстаз. Я видел ее в «Коппелии».

Или пани Полянска. Солистка. Не выходит среди бела дня на улицу, убеждена, что ее гигантской фигуре предопределено показываться только на сцене, где она обретает нужные пропорции.

Актеры проходят мимо трибуны, и сопрано с разрешения директора отделяется от шеренг. Найти такси страшно трудно. Таксисты тоже вышли на демонстрацию.

За иезуитским собором живет коллега Слезак. Биолог. Приверженец гомеопатии. Козье молоко достает у одного крестьянина из-под Градовой. Охотится за травами. Вороха растений сушит на чертежных столах. Потому я его и не бужу.

Умер генералиссимус. В школьном зале выставили портрет и два фикуса. Слезак, директор Купец и я как самый старший в кол-

* Река, на которой стоит город Кошице. — Прим. пер.

** Верхневенгерскими землями венгерские шовинисты называли Словакию. — Прим. пер.

*** Венгерским солдатам 1848 г. и первой мировой войны. — Прим. пер.

лективе. Святая Троица. Стояли в почетном карауле. День Поминения раньше обычного. Несчастный Шулек. Как только бегу домой, наталкиваюсь на него. Шулек с траурной лентой на рукаве габардинового пальто и с жестким тонюсеньким узелком черного галстука. Лоб в поту, а на лице широкая невинная улыбка. Эта улыбка не оставляла доктора юстиции Шулека на всем его жизненном пути. Она рождалась благодаря выдвинутым резцам, не прикрытым верхней губой. Браток, говорю, беги быстро домой. Залезь в комод, что ли, с твоей ухмылкой сатира, а то еще посадят. Беги домой, сейчас же! Весь город скорбит, а ты хохочешь.

Шулек прикрыл рот ладонью и не прощаясь, сгорбившись, пошел домой.

Надо бы что-нибудь съесть. Спрячу в карман рогалик. Пригодится в летнем саду около станции. Все соберутся к музыкальной эстраде. Мечта вдохновенных масс.

Сегодня на эстраде будет профсоюзный духовой оркестр. Железнодорожники играют без передыху, даже конец света их не оставит.

Трубы и тарелки слышать до самого Мельничного ручья. Тут-то мои школьники разбегутся. Кто там будет гоняться за ними по парку.

Мои коллеги, все как один, после демонстрации пойдут в гостиницу «Люксор» клюкнуть. Мне что-то не хочется.

Под вечер меня ждет садик. Не велик, да свой, как говорится. Кладбище на Розалии. Садик под самой кладбищенской стеной, людям у могил виден как на ладони. Испанская сирень разносит одуряющий запах. С каждым вдохом у меня учащается пульс.

Полседьмого. Пора идти. Ученики ждут.

До школы добрых два километра.

2

Старший официант Хорват опирался рукой о буфет, где в ожидании судомойки были сложены мокрые тарелки, миски, вилки, ножи, и внимательно слушал молодого военного в новехонькой чехословацкой форме.

Они были совсем одни в полумраке старомодного ресторана. Хорват молчал, зная, что его пронзительный венгерский акцент, с широким, как бы болезненным «а», сейчас особенно не к месту. Парень поправлял вывернутый капюшон на плащ-палатке. На лице его блестели дождевые капли, которые он то и дело утирал рукавом.

«Послушайте, пан Хорват, найдите до завтра оркестр, хоть изпод земли!» — Блестящее лицо с пухлыми свежими щеками уставилось на старого официанта, который только кивал головой, вроде бы соглашаясь, но не глядя в глаза адъютанту.

Он всё складывал и складывал белую скатерть и думал: «Жареный бы гусь тебя клюнул, сопляк, где я тебе откопаю музыкантов?»

Адъютант прищурился и заявил командирски: «Не стойте тут, как Святой Непомук, а делайте что-нибудь! Понятно? До свиданья!»

От неожиданности официант даже не проводил адъютанта к выходу, чтобы открыть стеклянные двери, которые отделяли ресторан от холла гостиницы. Впрочем, за шесть лет войны Хорват потерял последнее уважение к носителям погон, а их в городе было навалом.

На фронт его не послали из-за профессионального плоскостопия и больной печени. Он продолжал спокойно и с достоинством обслуживать в местном казино, где был вездесущ и всех подгонял своим пронзительным взглядом. Во время войны появились первые женщины-официантки, что его весьма раздражало.

Казино «Шалькхаз» было обычным неприглядным строением, какие при монархии ставились во всех провинциальных столицах от Бачки до Попрада. В нем соединились ресторан, кафе, гостиница и танцевальный зал.

После ухода военного Хорват остановился возле «синего салона», где накануне обедало два десятка министров во главе с президентом Бенешем. Один, имя которого Хорват знал из газет, пришел к официанту и сделал ему выговор за несъедобный суп. Эта неожиданная и бессмысленная жалоба оскорбила старшего официанта. Хорват знал свои обязанности и себя почитал хорошим гражданином, так что счел этот разговор дурным началом житья под новыми господами.

Провинциальное гнездо уже четвертую неделю было столицей республики*. Невиданная шутка военной стратегии, ничего большего город не переживал со времен визита императора Фердинанда. Торжественные ужины с городским командованием обычно затягивались до утра. Великодушная небрежность русских офицеров обезоруживала Хорвата, и под утро вместе с ночным швейцаром Бартошем он жертвенно помогал им влезть в штабной лимузин.

Старый Хорват был, наверно, единственным человеком во всем измученном и обнищавшем городе, для которого ничего не переменилось. По нему, так у всех офицеров — хортистских, чехословацких или советских — те же самые желания и прихоти, которые он знал наизусть, и нет ничего лучше, как выполнять желания всё большего числа людей прямо-таки с отцовским терпением. Через

* Город Кошице, центр Восточной Словакии, в 1938-45 присоединенный к территории Венгрии, перед концом войны был первой резиденцией правительства освобожденной Чехословакии. — Прим. п е р.

знакомых он отыскивал им квартиры, деньги, продажных девушек и сигареты.

Однако теперь Хорват оказался перед тяжелой задачей.

До войны ничего не стоило найти хороший духовой или любой другой оркестр, способный сыграть всё, от «Боже, царя храни» до «Интернационала». Ежегодные финалы марафонского бега на пригородном футбольном стадионе давали оркестрам богатые возможности пополнять репертуар.

В честь аргентинского крестьянина Забалы, который на кривых жилистых ногах, пытаясь как бык, обошел всех остальных, оркестр кошицких мельниц в самый зной разучил соответствующий государственный гимн.

Хорват начал перебирать в памяти все известные ему оркестры. «Полицейский. Жандармы сбежали месяц назад, самыми первыми. Рабочий дом. Не хватает корнет-а-пистонов, кларнетов и бас-геликона, убиты на Восточном фронте. Оркестр союза еврейских ремесленников отмаршировал как рабочая бригада неведомо куда. Цыгане. Единственная надежда — цыгане. Цимбалы Михала Олаха. Играли на свадьбах, крестинах и выпускных вечерах.»

Он кликнул с кухни поваренка Лойзу и послал его бегом в предместье к капельмейстеру Олаху.

Музыкант прибежал в казино перепуганный, остановился у решетки лифта, мял в руках засаленную фетровую шляпу и покорно ждал, пока Хорват заговорит.

«Сколько вас в оркестре?» — спросил Хорват строго.

Цыган почесал светлую плешь, которая резко контрастировала с его темно-рыжим черепом, надул губы: «Пять мы и с контрабасом», — ответил всё еще испуганно.

«А с нот играть умеете?» — на этот вопрос Олах только вытаращил янтарно-желтые глаза, потому что нот в жизни не видел, и не моргнув глазом кивнул.

«Дела такие, — продолжал официант, явно успокоившись. — Завтра вечером большое торжество, куча начальства, и надо сыграть государственные гимны.»

Хорват оставил цыгана одного и в пустой швейцарской отыскал ноты, которые принес адъютант.

Капельмейстер Олах принял ноты с самодовольной ухмылкой и сказал: «Положитесь на нас, пан старшой».

Торжественный акт передачи ключей от города майором Дворкиным министру Шробару происходил в театре. Государственный театр, гордость всего населения, лебединая песнь одного пештского архитектора. Зеленая жестяная крыша театра была разделена на бесчисленные купола, над которыми возносилась латунная Терпсихора с бронзовым факелом в руке.

Майор Дворкин, комендант города, крепкий коренастый мужчина в цвете лет, выпускник военной академии имени Фрунзе. Его

приятно шекотало сознание того, что в «его» городе сидит всё правительство, и он принимал близко к сердцу все жалобы чиновничьих душ, которых как кадровый военный глубоко презирал.

Майор в галифе, мундире и начищенных сапогах вышел на сцену и направился к трибуне. Под мышкой он нес большую картонную коробку, где лежал ключ от города Кошице. Торжественную речь ему написал капитан Ковалев, в прошлом издательский работник и корреспондент армейской газеты.

Капелла Олаха сидела в оркестровой яме и изо всех сил следила за речью русского офицера, причем музыканты, разумеется, ничего не понимали, они и по-словацки-то еле говорили, тем более по-русски.

Посреди речи майор Дворкин потянулся к графину, чтобы смочить пересохшее горло. Нетерпеливые цыгане сочли это за конец выступления и поехали.

Все присутствующие изумленно оторвались от пурпурных плюшевых сидений, и шум встающей массы военных и штатских на мгновение перекрыл первые звуки чешского гимна «Где мой дом». *Maestoso** чешского гимна у Олаховой капеллы превратилось в *lamentabile**, а словацкий гимн «Над Татрой светает» несчастные цыгане сыграли *con fuoco**, словно на офицерском балу в казино.

Затем последовала передача ключей министру. Музыкальная продукция вывела его из равновесия, и он выронил ключ, на что музыканты заиграли *da capo al fine**.

После представления партизаны-госбезопасники задержали цыган, но уже на следующий день, не заплатив, их выпустили из-под ареста...

3

Хозяин мастерских просил позвать слесаря Стоковского в канцелярию, чтобы распрощаться.

Стоковскому надо было перейти узкий, загроможденный отливками двор и подняться на второй этаж домишки, где был кабинет хозяина и две комнаты бухгалтерии.

На душе у него было легко, вечером он уже пенсионер. Покойница жена, уроженка Золотурна**, с которой он объяснялся по-французски, немецкий ему был неприятен, говаривала: «Когда выйдешь на пенсию, будем много путешествовать. Мы ведь получим скидку на железной дороге...»

Шеф уже стоял перед дверью, морщил лоб и нервно шурился. Стоковский невольно улыбнулся, пожал протянутую руку и, по правде говоря, был рад вниманию хозяина.

* Величественно, жалостливо, с яростью, с начала до конца (итал.) — Прим. п е р.

** Город в северо-западной (немецкой) Швейцарии. — Прим. п е р.

Всю первую половину дня он старался работать как обычно. Коллеги в мастерской непрерывно похлопывали его по плечу. В перерыв ему подарили кошелек из змеиной кожи и бутылку эльзасского. Последней пришла поздравить худенькая бухгалтерша Рената, родом из Тешина*. Стоковский был с ней очень дружен, время от времени она навещала его, и они вместе смотрели телевизор. Все в мастерских твердили, что бухгалтерша спит с шефом. Стоковский этому никогда не верил.

Кроме Ренаты, у Стоковского бывала только женщина, нанятая для уборки.

Она приходила каждую среду, натирала лестницу резко пахнущей пастой, прибиралась в кухне, меняла постельное белье, проветривала, в полотняном чемоданчике приносила выглаженные рубашки и белье.

В обед Стоковский приходил из мастерских, садился с уборщицей к кухонному столу и пил с ней пиво. Уборщица громко и без устали рассказывала о наследстве, которое ей не досталось, и о своем благородном отношении к умирающей тетушке.

Как-то раз Стоковский хотел предложить ей задержаться, твердо взял за плечо, но она сразу высвободилась из этого вялого полубоьятия.

Уходя, она сказала еще, что раньше была не очень-то хорошего мнения о католиках, но с тех пор, как познакомилась с ним, уже так не думает, по крайней мере, не в его присутствии. Замечание о вероисповедании его развеселило, он ведь в костел не ходил, разве что на Рождество.

В бельевом ящике у него были спрятаны истертые стеклянные четки. Они остались от матери. Мать просила только польского ксендза. Пришел ксендз, совсем молодой, в новой камилавке и красивой епитрахили, и после «Отче наш» в конце похорон подал Стоковскому четки, завернутые в носовой платок.

После работы Стоковский спустился в раздевалку, сложил инструменты в карман, опустошил свой ящик, ключ отдал вахтеру и покинул фабрику, на которой проработал двадцать лет. Работу он получил, выйдя из лагеря военнопленных в Герцогенбухзее, где четыре зимы вместе с остальными копал рвы, укладывал трубы, работал дорожным мастером и на пилораме. Пилорама примыкала к зданию станции. Начальник станции, всегда в чистеньком мундире, предостерегал всех пассажиров, независимо от возраста, против приставаний пленных поляков.

«Хуже всего офицеры, целыми днями играют в биллиард и мутят головы не только деревенским, соблазнили фрейлейн учи-

* Пограничный город на севере Чехословакии, с большим процентом польского населения. — Прим. п е р.

тельницу, билетершу в кино и даже фрейлейн Гигахс, которая служит в кантональном банке.»

Стоковский был очень голоден, от волнения ничего с утра не ел. Он купил в магазине самообслуживания рыбные котлеты, хлеб и черешневую настойку. Там же стоя съел два бутерброда. От горячего ужина он отвыл с тех пор, как умерла жена.

Придя домой, он принялся тихонько напевать. Поднял шторы, пошел в ванную, тщательно выбрился. Из комода, на котором стояла фотография Владислава Сикорского и Де Голля вместе с польскими регбистами из Фюмеля*, выигравшими кубок, он вынул воскресную одежду.

Механически он смахнул пыль со спины. Раньше это делала жена. Стояла позади, одетая в один халат из искусственного шелка с большими белесыми розами. Ее теплая рука приятно пахла.

Стоковский еще раз посмотрел на свое отражение в зеркале и удовлетворенно хмыкнул, запер дверь на два оборота ключа и спустился на улицу.

На углу была остановка трамвая, который шел к французской границе. Стоковский вынул из внутреннего кармана новый кошелек, где, кроме мелочи, лежали две стофранковые бумажки. Это был подарок от сына. Деньги пришлось получать на почте, потому что сын жил в Бадене и они виделись только изредка, обычно осенью, когда сын проезжал через Базель в отпуск.

За сто метров до границы конечная. Стоковский вышел из трамвая и пошел к таможне.

В самом центре Сен-Луи** гостиница «Центральная», прямо напротив универсама. В нее и направлялся Стоковский, очень довольный, что о его поездках никто не знает, кроме его уборщицы.

В баре Стоковский заказал пиво у стойки и смерил взглядом соседа, который твердил, что надо открыть двери, иначе задохнешься.

«Наверх идете, на красоток поглядеть?» — спрашивал сосед, толстый грузчик с опухшим лицом, которое придавало ему вид измученный и благодарный.

Стоковский заплатил за пиво и потер руки в приступе внезапного веселья. Он поднялся наверх. Лестница была оклеена моющимися обоями с крикливым узором. Впереди Стоковского поднимались два итальянца. Они оглушительно разговаривали и всю жестикулировали.

«Крикуны», — думал Стоковский, он не любил их взвинченных манер. На работе он старался с ними не общаться. В умывалке мастерских они дрались из-за мыла, ожесточенно кидались

* Металлургический центр во Франции, один из очагов еще довоенной польской эмиграции. — Прим. п е р.

** Пограничный город во Франции, рядом с Базелем. — Прим. п е р.

друг на друга в ежевечерних скандалах. Стоковский сидел на мокрой скамейке вместе с австрийским наладчиком, который ворчал ему как своему: «Эти грязные дурни».

Стоковский вошел в сумрак танцевального зала, освещенного только приглушенно-алыми лампами на столах. Он сел возле эстрады, чтобы никто не помешал ему разглядывать стриптизерок. За его спиной сидела компания, судя по одежде, городских чиновников. Они пили красное вино и вполголоса рассуждали о возможном выигрыше в немецкой лотерее, главное — о том, сколько налога придется с него заплатить. Пиджаки у них висели на стульях, и узлы галстуков были ослаблены.

Их присутствие подтверждало, что в Базеле после обеда была получка.

В голове у него прояснилось, он пошевелился и еще удобнее угнездил свое огромное тело. Руки положил на поручни кресла, голову откинул назад.

Он знал, что сможет наглядеться досыта, так же, как каждый год на 14 июля, когда он стоял на тротуаре, на голову возвышаясь над окружающими, и созерцал колонну, во главе которой шел местный оркестр пожарников, а за ним подсакивали мажоретки в белых пластиковых туфельках. Они маршировали далеко одна от другой и занимали улицу во всю ширину.

Стоковский вдруг понял, что не может найти разницу между девичьими лицами.

«Какая беспомощность, — рассмеялся он. — Просто нахальство. Сколько их? Тридцать? Сорок? Или больше?» — Он принялся считать марширующих женщин.

«Видно, натренировались по четвергам или пятницам в школьном физкультурном зале, всю зиму в тренировочных костюмах. Когда маршируют женщины — это не то что мужики топают. Сколько мы намаршировались...»

Когда музыка ненадолго умолкала, были слышны моторы срывающихся с места автомобилей перед светофором на перекрестке возле гостиницы...

ШИМКО Душан — родился в апреле 1945 г. в Кошице. Изучал геологию и минералогию в Братиславском университете. В 1968 г. эмигрировал в Швейцарию и в 1972 г. закончил образование по той же специальности в Базеле. Работает в Базеле школьным учителем.

СТИХИ

Иосиф Бродский

ЛИТОВСКИЙ ДИВЕРТИСМЕНТ

Томасу Венцлова

1. ВСТУПЛЕНИЕ

Вот скромная, приморская страна.
Свой снег, аэропорт и телефоны,
свои евреи. Бурый особняк
диктатора. И статуя певца,
отечество сравнившего с подругой,

в чем проявился пусть не тонкий вкус,
но знание географии: южане
здесь по субботам ездят к северянам
и, возвращаясь под хмельком пешком,
порой на Запад забредают — тема
для скетча. Расстоянья таковы,
что здесь могли бы жить гермафродиты.

Весенний полдень. Лужи, облака,
бесчисленные ангелы на кровлях
бесчисленных костелов.

Человек
становится здесь жертвой толчеи
или деталью местного барокко.

2. ЛЕИКЛОС

Родиться бы сто лет назад
и, сохнувшей поверх перины,

глазеть в окно и видеть сад,
кресты двуглавой Катарины;
стыдиться матери, икать
от наведенного лорнета,
тележку с рухлядью толкать
по желтым переулкам гетто;
вздыхать, накрывшись с головой,
о польских барышнях, к примеру;
дождаться Первой Мировой
и пасть в Галиции — за Веру,
Царя, Отечество, — а нет,
так пейсы переделать в бачки
и перебраться в Новый Свет,
блуждая в Атлантику от качки.

3. КАФЕ «НЕРИНГА»

Время уходит в Вильнюсе в дверь кафе,
провожаемо дребезгом блюдец, ножей и вилок,
и пространство, прищурившись, под-шефе,
долго смотрит ему в затылок.

Потерявший изнанку пунцовый круг
замирает поверх черепичных кровель,
и кадык заостряется, точно вдруг
от лица остается всего лишь профиль.

И, веления щучьего слыша речь,
подавальщица в кофточке из батиста
перебирает ногами, снятыми с плеч
местного футболиста.

4. ГЕРБ

Драконоборческий Егорий,
копье в горниле аллегорий
утратив, сохранил досель

коня и меч, и повсеместно
в Литве преследует он честно
другим невидимую цель.

Кого он, стиснув меч в ладони,
решил настичь? Предмет погони
скрыт за пределами герба.
Кого? Язычника? Гяура?
Не весь ли мир? Тогда не дура
была у Витовта губа.

5. AMICUM-PHILOSOPHUM DE MELANCHOLIA MANIA ET PLICA POLONICA

Бессонница. Часть женщины. Стекло
полно рептилий, рвущихся наружу.
Безумье дня по мозжечку стекло
в затылок, где образовало лужу.
Чуть шевельнись — и ощутит нутро,
как некто в ледяную эту жижу
обмакивает острое перо
и медленно выводит «ненавижу»
по прописи, где каждая крива
извилинка. Часть женщины в помаде
в слух запускает длинные слова,
как пятерню в завшивленные пряди.
И ты в потемках одинок и наг
на простыне, как Зодиака знак.

6. PALANGEN

Только море способно взглянуть в лицо
небу; и путник, сидящий в дюнах,
опускает глаза и сосет винцо,
как изгнанник-царь без орудий струнных.

Дом разграблен. Стада у него — свели.
Сына прячет пастух в глубине пещеры.
И теперь перед ним — только край земли,
и ступать по водам не хватит веры.

7. DOMINICANAJ

Сверни с проезжей части в полу-
слепой проулок и, войдя
в костел, пустой об эту пору,
сядь на скамью и, погодя,
в ушную раковину Бога,
закрытую для шума дня,
шепни всего четыре слога —
Прости меня.

1971

ИЗ «ВЕНКА СОНЕТОВ»

1

Теперь и мне настало время славить
Тот светлый мир, который не исправить
Ему пенял я — он мне тем же мстил
Он мне простит, как я ему простил

Простил траву, — в ней множество наитий,
Примет любви, невиннейших соитий
Как будто град ночной от гаснущих светил
Лаская воздух, землю посетил

И нет его. Казалось бы ошибка —
Нет ничего, но сладостна улыбка
Цветов небесных — первенцев полей

Их золото еще себя не знает
Но свет его душе напоминает —
«Люби его, люби его полней!»

2

Тот светлый мир, который не исправить,
Достоин быть собранием огней
Чем ярче тьма — тем свет его сильней
И тем трудней навек его оставить

О ослепительность полуденных властей,
Уйми свой блеск, пусть сумеркам приснится
Тобой подаренная белая страница,
Очищенная пламенем страстей

Прости порыв, обитель пустоты
Недолго этот лист тебя хранит
И наслаждается безветрием стопы

За звуком звук пером моих харит
Он пробуждается в пылающий гранит
И ветром праха ищет чистоты

3

Ему пенял я, он мне тем же мстил
Казалось, клеть для зеркала готова
Извне тюрьмы я по тюрьме грустил
В ней будущего строилась основа

Но замер крик на середине слова
И вот я снова в девственную глушь
Свой путь направил. Вереска густого
Мне хвойным запахом пролилась в сердце тушь

И как рисунок каменный иного
Китайского резца оповестил
Мне лес любовь мою и страсть мою. Былого

Движения я в нем не находил
И не искал, но он мне сам открыл
Чудесный образ трепета живого.

Зима 1975

ХВОСТЕНКО Алексей — поэт и художник, родился в 1940 году в Свердловске. Учился в Высшем художественно-промышленном училище им. Мухомой в Ленинграде. Ни как художник, ни как поэт не нашел применения в СССР, хотя его стихи, а особенно песни, написанные совместно с поэтом Анри Волохонским, широко известны в Самиздате. За границей печатался в Милане, Тель-Авиве, в Париже. Сейчас живет в Москве и борется за право уехать на Запад.

РЕЙНСКОЕ ВИНО

Ночной подвал и светлое вино.
Свод тяжко взрезан, словно плеть-двухвостка, —
Сизифов камень, стиснутый известкой:
Паденье, остановленное жестко,
В него угрозой вечной вплетено...
Ночной подвал и светлое вино.

Час смерти, винограда и греха.
Холм узкогрудых, женственных бутылок
Тусклей, чем иммортели на могилах,
И ветхой паутиной сжат затылок,
И в паутине звездная труха
В час смерти, винограда и греха.

И тонкий вкус порока на губах.
След сырости, свинца, любви и фронды,
Потрескавшейся тайны Джиоконды,
Рук, погруженных в теплый мех ротонды,
Надменных слов в готических гербах...
...И тонкий вкус порока на губах.

Глазами цвета рейнского вина
Глядит Игра — вся в рыжих искрах злости.
Бессмертных Пряток временные гости,
Мы тянем одураченные горсти —
И ловим камень. Нет конца и дна
Обманам цвета рейнского вина.

Сентябрь 1976

* * *

К. Г.

От конца к началу — ни вплавь, ни вскачь.
Годы — госпиталь: номера палат.
То же месиво ран и бесстыдный плач,
И блаженный блуд, и фитиль-циркач,
Да неспешный снег, как нездешний плат
Во спасенье стад.

Поглядеть назад — и построить мост
Между «нет» и «да», между «есть» и «нет».
Но опоры — вразнос, берега — врасхлест,
Не прочней земля, чем трескучий холст, —
Мой крапивный трон, карантинный свет
В перекрестье лет.

На заплате заплата: на часе час.
Шаг Биг Бена — и тот лоскутом в подол.
Кто сживит лоскуты? Чтоб смолчал — и спас,
Тишину напел и долги отряс,
Жажду бега и бездны прикрыл стыдом,
Чтоб простил Содом.

Мы бежим из тюрьмы, из любви — из пут
Циферблатных мер, одноглазых цен.
Понт Эвксинский там — или потный шут,
Все нам сводит зрачки. Но свершает суд
Избяная тоска — истечение вен,
Прикровенный плен.

Октябрь 1976

* * *

Пространство белого листа
В гусиной коже нетерпенья —
Призыв, угроза нападения,
Упор незримого перста.

Лист изогнулся под пером:
Он рад исторгнуть из волокон
Строф, строк и рифм угрюмый кокон,
Бесформен, жалостен и хром.

Толкает. Ищет, где кольнуть.
Потоки истин шепелявит.
Елозит...мнется...кляксы ставит,
Грозит — не быть, грозит — заснуть.

И это рабство — до зари.
Рощенье меловых плантаций.
Беленый шепот — не угнаться! —
«Пиши!» Нет, не «пиши» — «умри!»

А разум, беден и речист,
Твердит с улыбкою слащавой,
Что между слабостью и славой
Лежит голодный белый лист.

Ноябрь 1976

* * *

Темнеет. Бально блещут лужи.
Париж, приплюснутый снаружи
К изнанке серого стекла.
Лист, высохший наполовину.
Сквозняк. От двери дует в спину.
Зима дожди поволокла.

Что делать с этой не-зимой:
Не-смертью и не-воплощеньем?
Какой не-страстью и не-зреньем
Ей соответствовать, немой?

Как разучить нам твой урок,
Париж, моление Мандельштама,
Апокрифическая рама
У нас украденных дорог?

Нам за отцовские долги
Сияет ляжкой санкюлотка,
И сумрачно потеет водка
У турдеффелевой ноги.

Что делать нам, Париж пустой,
С твоей традицией безглавой:
Старинной гильотинной славой
И деловитой наготой?

Бренчит дурацким колпаком
Фригийский...

Смятый день вчерашний
В железных переплетах башни
Поймаем и воткнем торчком.
Мир извертелся на корню:
Миллионер обедал «ню»,
Европа примеряла шоры,
Урчал детант, и залп «Авроры»
«Распутин» предлагал в меню...

Ноябрь 1976

* * *

Течение Рейна
Подкожно, комнатно, елейно.
Семейной тайной,
Находкой странной и случайной
Молчит он в травах.
Матросы замерли на трапах,
Как мухи в клее.
Пустеет камень Лорелеи:
В ее спектакле —
Под песни, волосы и капли —
Не ищут смерти.
Рейн незлопамятен, как вертел
Внутри барана.
Течет снотворная нирвана
Судам навстречу;
Рейн позолочен, словно вечер
Перед побегом.
И анемон — зеленый с белым,
Удрав из тени,
Мутнеет в воздухе дебелим,
В дебелии лени.
Полощет рукавом рубаха —
Пророчит праздник...
Рейн равнодушен, словно плаха
В минуту казни.

Ноябрь 1976

Россия и действительность

От редакции: Нижеследующая статья известного публициста русского Зарубежья посвящена актуальнейшей проблеме современности — проблеме национальной. Редакция не разделяет некоторых ее положений, в особенности по еврейскому и польскому вопросу, но, тем не менее, следуя демократическим принципам нашего журнала, мы предоставляем свои страницы и этой точке зрения, надеясь, что она послужит началом плодотворной и конструктивной дискуссии.

Сергей Рафальский

БОЛЕЗНЬ ВЕКА

Статьи на принципиальные темы обычно не нуждаются для своей убедительности в предварительных справках из биографии автора.

Но бывают все же исключения.

Вспоминая происходившую добрый десяток лет назад в «Новом Русском Слове» жаркую дискуссию с г. Петровым-Скитальцем на тему о самоопределении, в разворачивании которой горячий оппонент, великоросс по происхождению, но сторонник отделения Украины, назвал нижеподписавшегося — украинца по рождению, но сторонника единой федерации от Карпат до Тихого океана — «квакающим в болоте национального эгоизма», — автор вынужден, предупреждая возможность подобной аргументации, привести самые общие биографические данные и торжественно заявить, что в жилах его нет ни капли великорусской (т. е. «империалистической») крови.

Его род ведет свое начало от Рафала, правнука

одного из выехавших в 1470 году из Золотой Орды в Литву татар, потомки которых значились сначала на службе империализма польско-литовского (дед Рафала был хорунжим татар Клецких). Потом род беднеет, украинизируется и становится кондовым священническим родом. Мать нижеподписавшегося вносит в этот татарско-украинский конгломерат и польско-литовскую кровь.

Так что — при желании — автор имел бы основания «квакать» в любом на выбор болоте, любого из четырех национализмов.

Но по обстоятельствам, разъяснению в данном случае не подлежащим, он вообще не является националистом (хотя и остается патриотом). И даже еще хуже: по совести не может сказать, что больше навредило и гуще полило кровью наш трагический XX век: коммунизм или национализм? Щедрая, но бесстрастная история расскажет потомкам немало варварских мерзостей того и другого, но чашки весов ее останутся в равновесии...

Наблюдая гомерические социальные и межнациональные столкновения, избиения и побоища, пессимисты предсказывают скорый конец человечества — и даже всей планеты — в третьей мировой, на этот раз атомной, войне, а оптимисты надеются, что происходящее нашествие варваров (внешних и внутренних) разрушит обветшавшие и дегенерировавшие социальные и государственные конструкции и приведет в конце концов к тому объединению планеты, которое предопределено и биологией, и историей, и самой сущностью технической культуры, сокращающей расстояния и передающей и идеи и мысли с одного полушария на другое чуть ли не со скоростью света.

Социологи с романтическим и эстетическим уклоном, которых сейчас (как это и полагается всякому смутному времени) больше чем когда бы то ни было, очень любят уподоблять коллективную («соборную»

— как сказали бы некоторые) национальную личность личности индивидуальной и горой стоят за национальное самоопределение (даже «интернационалисты-прогрессисты»), за национальные культуры и за то, чтоб их в мире было как можно больше: они-де разнообразием обогащают духовную сокровищницу человечества. Идя по этой линии, следовало бы призывать народы и к возвращению к национальным костюмам, которые в свое время имелись у всех и теперь порой всплывают на поверхность в истощившемся воображении домов моды (южноамериканские «пончо» в Париже) или в разного порядка эстетических манифестациях (балет Моисеева). Но уже один тот факт, что парижанки пьют утренний кофе в пестрых кимоно, а модели от Диора гуляют по улицам Токио, — показывает, что универсальная культура вбирает в себя все достойное внимания и делает его всеобщим.

Национальность (точнее — народность) в искусстве в свое время определялась с первого взгляда: кто спутает рисунок на греческой вазе с изображением фараона-победителя на египетской стелле, помпейские фрески с китайской картиной? Но можно прозакладывать голову, что национальность автора абстрактной современной картины, если закрыть подпись, не определит не только рядовой зритель, но и опытный профессионал (не знающий других работ данного мастера).

Единственное, что — если не по содержанию, то по материалу — меньше всего поддается универсализации — это литература. Но язык такое же орудие человека в его борьбе за существование, как и, скажем, одежда. Однако каждое орудие в процессе эволюции стремится стать наиболее эффективным, наиболее экономным. И представляется несомненным, что, в бурном развитии международных общений и встреч, создавшаяся уже в настоящее время весьма сложная и дорого стоящая (в смысле обучения соответственных людей и конструкции специальных машин) систе-

ма перевода с одних языков на другие — неизбежно должна замениться общепланетарным языком, преподаваемым в каждой школе. Пример Израиля доказывает, что — через два-три поколения — уже можно строить культуру на искусственно введенном в жизнь языке. И это никак не значит, что универсальный язык убьет языки «провинциальные»: они будут жить так же, как в современной Франции уцелели и совсем чуждые латинским корням общего языка баскский и бретонский, и своеобразно воспринявший эти корни провансальский, на котором писал поэт Мистраль, и, наконец, разные местные наречия «патуа» — савоярское, пиренейское и т. д. История усвоения Галлией латинского языка (до полного почти выпадения галльских слов) и превращения простонародной латыни в современный французский язык показывает, что если способность к культуре вообще и умение обозначать словами разные сущности и феномены мира внутреннего и внешнего — природное свойство Гомо Сапиенса, то та или иная форма языка, т. е. его национальность, — дело двух-трех поколений, дело наживное. Культура переводится на все языки, а величие народа именно в его культуре, т. е. в том, что при помощи языка создано, а не в языке как таковом.

Все вышеизложенное затрудняло читательское внимание только для того, чтобы еще раз подчеркнуть, что автор ни в каком болоте национального эгоизма не «квакает» и рассматривает национальный вопрос в перспективе — пусть далекого, но неизбежного — всепланетарного объединения человечества.

С этой точки зрения положительным и передовым представляется стремление западных европейцев создать объединяющую их конфедерацию и безусловно устарелой и реакционной — мечта о государственной самостоятельности басков и бретонцев или, хотя бы — канадских французов.

Самое главное (и самое прогрессивное) — это не делиться и отгораживаться, а учиться жить вместе на этой многострадальной и нашими собственными усилиями все более и более обедняемой планете, воспитывать не «самость» каждой нации, а ее соподчиненное с другими стремление к «единому стаду под Единым Пастырем».

Но могут сказать, что при такой установке единый пастырь легко может сойти с неба на землю и стать очередным сверхзавоевателем — Чингиз-ханом, Александром, Наполеоном — с удавшейся, наконец, мечтой о мировой империи. Глядя на те, порой комические «па» (шаг вперед, шаг назад), которые вытанцовывает Европа в поисках объединения, — согласишься, пожалуй, и на сверхпобедителя.

Возможно, что это был бы лучший исход, экономящий столетие бесплодных потуг, междоусобных войн и войнишек, международных кризисов, драм и мелодрам и безоглядного разграбления естественных богатств планеты. Но... нет ни народа-завоевателя, ни его вождя с мировой мечтой. Последний по времени кандидат явно «квакал» в болоте самого кровавого национал-социалистического эгоизма.

Мир еще не созрел для планетарного единства и пока что множество народов и народиков упрямо правит против ветра истории. Тем более оснований приветствовать уже существующие и готовящиеся таковыми стать объединения.

Однако если какая-нибудь из объединенных наций понимает союз односторонне, т. е. — эгоистически, ущербляя жизненные интересы других членов союза (внимание: государственная самостоятельность, сама по себе, как таковая — в нашем веке всеобщей взаимосвязанности народов — жизненным интересом считаться не может), — в таком случае самоопределение вполне оправдываемо и прогрессивно. И вся трудность вопроса в том, что считать «угнетением», нестерпи-

мым нарушением жизненных интересов данной нации.

К сожалению, распухший, как ядовитый гриб на гнилом пне, марксизм внес в считающие себя передовыми общественные круги скверную привычку во всех случаях подменять жизненные сущности их схематическими, созданными по линии определенной предвзятости, моделями. Не «хозяин», который может быть плохим и хорошим, чутким и бесчеловечным, а «капиталист», всегда и во всех случаях неизменно плохой. Не работник, бывающий и «мастером на все руки» и нескладным Иванушкой, работягой и лежебоком, а «пролетарий» — всегда и обязательно страстотерпец в терновом венце «прибавочной стоимости» и отчуждения.

К такого же порядка, всегда и во всех случаях осененных ореолом непогрешимости, феноменам относятся революция и самоопределение, особенно с тех пор, как Европа наблюдает чужие революции с комфортабельного дивана потребительского общества и как от нее ушли, самоопределившись после разного порядка Дьен Бьен Фу, ее собственные колонии.

И нужды нет, что революция «для блага народа» вырезывает, не очень приглядываясь к их вине, десятки миллионов и сажает оставшимся на шею «новый класс», тоже думающий исключительно о благе, но уже только о своем. А самоопределение освободило не умеющие ни читать, ни писать племена только для того, чтоб они стали жить хуже, чем раньше. И вот бывший кашевар Ея Британского Величества стрелкового полка, произведя себя в фельдмаршалы, волосатой рукой антропоида загоняет в новую «нацию» несколько еще вчера друг друга резавших и поедавших племен, получает высокую санкцию ООН как глава независимого государства и по этому поводу устраивает пышный «праздник самостоятельности», во время которого крокодилы родной реки обжираются трупами его личных, семейных, племенных, на-

циональных врагов и вообще на взгляд ему неприятных персон, на трескучем параде демонстрируются лучшие образцы со свалок чехословацкого, китайского и советского оружия времен Второй Мировой, а народные массы изнывают от энтузиазма перед американскими автомобилями и белыми секретаршами черных министров и на самой высокой африканской ноте, под гуд тамтамов, славят блага «народного социализма»...

По существу есть только три случая, в которых самоопределение действительно прогрессивно (в указанном выше смысле) и должно быть поддержано всеми, уважающими свободу, культуру и самого их носителя и осуществителя — человека: если существует правовое — гражданское — неравенство между жителями метрополии и провинций, если «ведущее» племя подавляет духовное развитие или принудительно стирает его разнообразие у входящих в объединение народов (в особенности когда дело идет о подавлении религиозных убеждений и верований) и, наконец, — когда происходит явная экспроприация материальных богатств данной провинции не в пользу всего союза в целом, а для благосостояния его «ведущего» народа.

Никак, однако, не может считаться культурным угнетением тот, весьма часто упоминаемый разного порядка самоопределенцами, факт, что существует один общий для всего союза официальный язык, если при этом никому не воспрещается и не препятствуется говорить, учить, учиться, писать, печатать, издавать что в голову придет на родном — местном — языке. Свобода соревнования языков должна обходиться без каких бы то ни было запретительных, стеснительных или поощрительных мер в пользу одного или другого. Если, например, газета на местном языке из-за отсутствия читателей чахнет — ее не должно удерживать правительственными субсидиями только потому,

что конкурирующее издание на всесоюзном языке как раз процветает.

Что же касается экономической эксплуатации всех прочих «ведущей» народностью, то откровенная и, во всяком случае, легко заметная в колониальных хозяйствах европейских держав в конце XIX-начале XX века — она много труднее вскрывается (если не выдумывается) внутри составленных из разных народностей (или племен) стран. Например, во Франции ряд «заброшенных» провинций действительно как будто совпадает с их «национальным» своеобразием: Бретань, Прованс, Баски, Эльзас-Лотарингия, Корсика... Однако надо быть нарочно недобросовестным, чтобы видеть в этом не временные идиотизмы неплатоновой капиталистической экономики, исходящей из выгоды и невыгоды частновладельческой, а не общегосударственной, — но вот именно «колониализм», проводимый внутри страны господствующей нацией по отношению к иноплеменным окраинам.

Но когда, чтобы открыть «эксплуатацию», приходится основывать специальные институты и искать ее чуть ли не с компьютерами — остается, никак со счастьем народным не увязанное, мегаломанское стремление определенных персон к «суверенности», в наше время теснейшей взаимосвязанности всех экономик и всех культур мира более чем иллюзорной (в особенности для микронаций).

Как показывает опыт истекшего полустолетия — самоопределение, ничем значительным не одарив мировую культуру, привело к ряду непрекращающихся междуплеменных побоищ, к исковерканной жизни целых поколений простых людей и — в частности — к затруднению возможности объединиться — т. е. пожертвовать суверенитетом — тем, для кого это было бы выходом из положения. Так, девять культурнейших стран мира тщетно пытаются стать той единой Европой, которая могла бы в концерте сверхдержав

занять четвертое место и тем сделать его гармоничнее.

Но, скажут, если несмотря на все, данный народ желает самоопределиться — на каких основаниях можно против этого возражать? Единственно на тех, что в современном мире нет больше только от себя зависящих — действительно «самостийных» наций.

Даже такие гиганты, как США, Китай и Советский Союз, — связаны с другими круговой порукой общего всеземного порядка и прогресса. И вот именно «смена самоопределений» весьма повинна в неурядицах современного мира, и на примере Европы все более отчетливо вырисовывается необходимость создания крупных федераций из стран географически-этнографически-исторически-культурно близких.

Однако тот же пример Европы показывает, насколько такое федерирование трудно, когда национальные эгоизмы уже давно самоопределились и заостренели.

Тем более бессмысленно — из-за абстрактного принципа и играющего на фальшивках «сепаратизма» — работать над разрушением имеющего под собой большие исторические, этнографические и экономические основания и уже существующего Единства.

И это — еще раз — тем более, что самоопределение (сепаратизм) вовсе не исключает ни шовинизма, ни империализма, а наоборот — доводит и то, и другое «до низов», делает их более настойчивыми и более мелочными. «Имериалистические» Россия и Германия довольно долго жили в мире и подрались, когда наступил мировой кризис Великого Передела, а между самоопределившимися Польшей и Литвой даже железнодорожные рельсы заросли (до Второй Мировой) чертополохом взаимной ненависти. Когда отношения между Англией и Францией — с одной стороны — и Германией, с другой, подошли к критической точке, — Чемберлен взял свой зонтик и полетел договариваться

в Берлин. С таким же «зонтиком» полетел в Пекин президент Никсон. Страны, насчитывающие сотни лет государственной жизни, много раз видевшие и победы, и поражения, — легче способны поступиться своим самолюбием, чем племена, которые только что стали самостоятельно жить и жаждут «звезд и лавров» на своем государственном гербе. Ни Чемберленов, ни Никсонов у них, как правило, — не бывает.

Оглядываясь на прошлое, думаешь, что основной грех европейских — белых — народов не в том, что у них были колонии, а в том, что — по эгоизму, жадности и высокомерию (т. е. скрытому расизму) они не сумели свои колонии превратить в настоящие империи — с равными гражданскими возможностями, обязанностями и правами для всех, их населяющих, народов, с полезной для всех, а не обирающей нищих для вящего счастья богатых, экономикой, с культурой, которая была бы целью в себе, а не только предпосылкой для более эффективной экономической эксплуатации.

Если бы европейцы оказались — можно сказать — духовно выше, шесть-семь — пусть даже десять мировых держав сговаривались бы между собой легче и вернее, чем та, блокирующая работу международных организаций и даже планетарные пути сообщений, невероятная каша друг против друга ощеренных мелких самостоятельности, в которую сейчас превращен человеческий мир.

И, наконец, самоопределение — это что-то вроде атома: чем больше его делят, тем более назревает потребность в новом делении... Как только самоопределится, скажем, губерния — встает вопрос о самоопределении уезда, против которого губерния выставляет те же самые доводы, которыми только что против ее самоопределения пользовалась область.

В результате самоопределение нигде до конца не проводится, а останавливается не изнутри самого

себя, а соотношением местных или международных сил, случайной удачей (или неудачей), чистой авантюрой или другими, не имеющими принципиального значения, факторами.

Именно по всему вышесказанному, вместо того, чтобы сползать в реакционность отживающих претензий не желающего себя назвать шовинизма, более разумнее (и перед своим народом ответственнее) принять заданную историей всему Миру тему Большой Федерации и посильно работать над ее — для общего блага всех народов — осуществлением.

Если применить все до сих пор сказанное к положению национального вопроса в СССР — нельзя не признать, что сама по себе прогрессивная концепция Союза Свободных Республик искалечена, обращена в свою карикатурную противоположность коммунистической партией, лучше бы сказать — ленинским революционным марксизмом. Как и всякая религия, марксизм (по крайней мере — практически осуществляемый ленинизм) верит в то, что ему открыта абсолютная истина. Эта своеобразная «боговдохновенность» без Бога — заставляет считать всех прочих «инаковерующих» заблудшими овцами, а то и просто волками в овечьей шкуре. Выводы отсюда сделать не трудно, и они, действительно, в 99 случаях из ста делались без зазрения совести. Отсюда гонения на религию такой бесстыдной жестокости и тупости, перед которыми римские арены и средневековые крестовые походы на еретиков (альбигойцев) — почти что забавы бойскаутов. Тем более, что опираются они не на благовестия из мира духовного, которые человеческими средствами проверить невозможно, а на науку, до последнего времени создаваемую часто как раз людьми верующими (или — во всяком случае — людьми с религиозным ощущением: А. Эйнштейн) и, несмотря на все усилия некоторых легкомысленных философов,

до сих пор не давшую безбожию безапелляционных (опытных) доказательств его правоты.

При таких обстоятельствах оказавшиеся более благочестивыми, чем сама «Святая Русь», — литовцы или греко-католики галицкие, например, — имеют все основания к выходу из принципиально безбожного Советского Союза, тем более, что они были оккупированы советскими войсками во время Второй Мировой без всякой помощи со стороны населения (и даже — наоборот: например, Бандера), в то время как встречавшая немцев с хлебом-солью, как избавителей, Советская Украина в свое время стала большевистской исключительно стараниями местных «красных», т. е. ее «хлеб-соль» впоследствии — были исключительно политического (против коммунистов), а не национального (против великороссов) порядка.

Восстания на Украине против гетмана, толкуемые самоопределенцами как антирусские (народ-де протестовал против поддержки Скоропадского «российскими» эмигрантами с большевистского севера. См. «Белый орел — красная звезда» — дискуссия в Славянском Институте в Париже. Изд. 1975 г.), на самом деле были результатом «классовой» политики киевского правительства и пропаганды местных революционных элементов и в смысле самоопределения обладали динамичностью центростремительной (к Москве), а не центробежной (к самостоятельности), что и подтвердилось, как только немцы ушли и увезли с собой гетмана и «головной атаман» Петлюра оказался лицом к лицу со своими же «красными» соотечественниками, — он и его Директория обратились в «летучих голландцев» («В вагоне сидит Директория, под вагоном лежит территория») и непрерывно отступали, а их «казаки» либо сдавались «в плен» и уже вместе с красными освобождали свои волости от «банд Петлюры», либо просто расходились по домам. Единственно стояли на своем до последнего галицкие пол-

ки, отошедшие на территорию бывшей Российской Империи под напором самоопределившихся поляков (которые, как в таких случаях нередко бывает, первым делом занялись искоренением самоопределения у «своих меньшинств») и, затем, перешедшие от Деникина после его неприятностей с Кубанской Радой — кубанские казаки.

Анархическая армия «батьки» Махно тоже не состояла из великороссов.

И похоже, что именно «батько» сильней всего владел сердцами крестьян Украины, потому что за единственным исключением Махно (факт в исторической литературе особо не отмеченный и не подчеркнутый) «хохлы» восставали против всех: против гетмана, немцев, Петлюры, большевиков и поляков. Если у фактов последнего порядка бесспорны глубокие, национальные как раз, корни, то антибольшевистские восстания, к одному из которых имел некоторое отношение автор, — происходили не под лозунгом «самостийной Украины», а «мы за советскую власть, але комунии не хочемо».

Правда, после ликвидации Петлюровщины появлялись то здесь, то там «атаманы» с более или менее украинской (т. е. самостийной) окраской, но это уже следствие народного разочарования в «великом октябре». Оно укладывается в одну линию с Кронштадским, Тамбовским и подобными им, преимущественно окраинными, попытками прекратить превращающийся в кошмар «райский сон» марксистского коммунизма.

Это значит, что эти движения не подходят под вышеуказанные объективные основания для самоопределения и должны быть причислены к категории политических, а не национальных, даже если порой и пытались (неудачно) стать таковыми.

Если вынести за скобки марксизм-ленинизм как поветрие — психическую чуму — порядка мирового, от которого никакое самоопределение, кстати, не спа-

сает, даже наоборот — порой ему помогает (национальные движения в Индокитае), — то, формально говоря, РСФСР не может считаться гонительницей местных культур объединенных в Советский Союз народов. Особенно это заметно в республиках, до революции наименее причастных к культуре общемировой. Там, где не было ничего, кроме конфессиональных школ, — на почти голом месте создано среднее и высшее образование, научные институты, опытные станции, академии, порой даже сама письменность, пресса и печать (если не слишком приглядываться к ее свободе и оригинальности), театр и опера на местном языке. Неудивительно, что некоторые иностранцы, не имевшие ни достаточной проницательности, ни физической возможности заглянуть поглубже в криптопсихологию населения, пришли к заключению, что национальный вопрос в этих республиках благополучно разрешен (Е. Серван-Шрейбер, «СССР». Изд. Плон, Париж, 1967 г.).

И то сказать, он и был бы разрешен в конституциональных рамках Советского Союза, если бы коммунистическая партия была разумно политической, а не фанатической «религиозно»-империалистической силой (если б в своем большинстве она состояла из интеллигентных людей, а не грубых варваров, держиморд и рвачей, вся культура которых началась и кончилась на «Капитале» и его «талмудах» или даже на одной краткой истории ВКП(б)).

Во всяком случае — в неудаче Советского Союза как современной и передовой формы сожительства разных народов повинен не «русский», т. е. великорусский — московский империализм-колониализм, а единственно и целиком примитивный и грубый подход к человеку, народу и его культуре воинствующего марксизма-ленинизма, который, по мере выпадения революционного энтузиазма, порой пытается заменить

традиционную «классовую ненависть» шовинистической злобой.

И порой уже неизвестно, что порождает что: местные национализмы — центральный или наоборот?

Сказанное никак не означает, что среди великороссов нет настоящих империалистов и шовинистов. Было бы противоестественным, если бы этот народ был таких чувств совершенно лишен, в то время как так буйно процветают они даже среди (и в особенности) самоопределенцев всякого порядка.

Вот что свидетельствует, в частности относительно украинцев, явно объективный (потому что не великорусский) католический священник о. Владислав Буквинский («Культура», № 11/350, 1976 — «Воспоминания для друзей»). Констатируя, что единства украинского народа пока что не существует (вспомним, что А. Амальрик высказался за четыре республики в пределах Украины), — он делит украинцев на две группы: старых советских граждан, жителей так называемой «Великой Украины», и «западников» — и среди последних различает волынцев (летописное племя «волынчан») и жителей Закарпатья. И вот что он по поводу их всех пишет: «Хохол — такое же прозвище украинца, как кацап великоросса. Последний обижается, если назвать его кацапом, и сознающий себя украинцем обижается за «хохла». Но в то же время хохол сам о себе говорит, что он — хохол и никак не называет себя украинцем. Кто же этот таинственный хохол? Это украинец, но вполне русифицированный. Он хорошо говорит по-украински, часто немилосердно калечит язык русский (общерусский. — С. Р.), но не хочет считать себя украинцем». (Из сказанного ясно, что дело идет не столько о русификации: «хорошо говорит по-украински и немилосердно калечит язык русский» — сколько о нежелании отделяться, выходить из общего отечества, отказываться от созданной совместно культуры.)

«Таких хохлов, — продолжает о. Владислав, — миллионы, и будущее народа украинского зависит от того, что перевесит: украинизация хохлов или хохлизация украинцев».

Если представить себе, как то или другое может произойти в действительности, — получим такую формулу: либо «хохлы», следуя исторической культурной инерции и естественной склонности двух русских народов жить вместе, останутся в Федеративном Союзе, либо империалистический напор родивших, при помощи двух акушеров — польской и австрийской — антирусское украинство, галичан преодолет и колонизует и «хохлов» и заодно (см. ниже) донских казаков (потому что самоопределение «для других» — культивируется только в эмиграции или только при обстоятельствах, для удовлетворения державных appetitов не благоприятных).

Хотя самостийники и признают — и в печати, и в частных беседах (Плющ), что если сейчас произвести плебисцит на Украине, то большинство будет несомненно за сохранение федерации, но — увы — народное волеизъявление этих псевдосвободолюбцев из ленинских выучеников ни к чему не обязывает. И вообще каждый национализм, поскольку ему не скрутили шею, не может не быть империализмом — «Галичане, — пишет о. Владислав, — опьяняются видением великодержавной Украины уже не от Буга и Сана, но от Люблина и Кракова до Кавказа... Среди них немало больных национальной мегаломанией...»

Что, скажем от себя, под луной совсем не ново: не так давно один перегретый национализм перешел в нацизм и мегаломанию и кончил мировой бойней. У галичан, конечно, масштабы меньше, но кое-какая резня на Дону и его притоках и для них предвидится. «Независимая Казакия» только сейчас кажется анекдотом, но при известных обстоятельствах (а главное при заинтересованной помощи со стороны) и она может

грудью стать за свою «самобытность» (которую, кстати сказать, найти трудно: ни отличного от русского — хотя бы диалектально — языка, ни отличающейся, хотя бы обрядово, религии, ни своеобразной культуры — даже шаровары с красными лампасами давно изодрались в революцию).

Возвращаясь к галичанам, приходится сказать, что — если они имеют полное право делать со своей страной и ее людьми все, что им вздумается, то огромной ошибкой «отца народов» было их включение в Советскую Украину. Если бы в свое время это сделал подавлявший неизвестно для чего венгерское восстание Николай I, — за столетие успели бы притереться шероховатости двух разных по корням культур: одна, как говорит о. Владислав, — с исходной точкой в Византии, другая — все-таки в Риме. И это тем более, что при австрийцах в Галиции существовало весьма активное «Русское Общество», отстаивающее принцип единства Руси и ее трех народов-племен. После объявления Первой Мировой члены этого общества — не без участия мазепинцев — заполнили первый в истории современной Европы настоящий концентрационный лагерь (Талергоф).

В нашем веке кровь и происхождение имеют значение только для оставивших после себя надолго кровавый след «избранных» народов. Остальных объединяет, формирует, «оличивает» история и культура.

И та и другая у советских «хохлов» и галичан разные и чем скорее галицкому народу предоставится возможность самоопределения — тем лучше для народа украинского.

И в конце концов: почему имеют право на самоопределение мазепинцы и не имеют его «хохлы»?

(Если в данном очерке, посвященном вообще национальности в мире и в СССР, отводится несоразмерно много места Украине, то не из-за того даже,

что она является самой большой и, пожалуй, по возможностям (если не считать Сибири) самой богатой республикой в Союзе, а исключительно потому, что большинству, а пользуясь статистикой «Сучасністи», — можно даже сказать, значительному большинству, ее населения (за исключением Галиции) угрожает не проходящая в порядке естественных культурных осмоса и диффузии русификация, а принудительная и — судя по некоторым «поетам» в галицкой Америке — беспощадная и злая террористическая «украинизация».

Пора наконец к жертвам коммунистических идеалов присчитывать и жертвы идеалов националистических и подумывать о том, чтобы освободиться от тех и от других.)

Самое удивительное в этом споре о несуществующем (как единое сознание) украинском народе — это то, можно сказать, страстное участие в его судьбе, та исступленная забота о его самоопределении, его самостоятельности, которую проявляют его ближайшие западные соседи, а с некоторых пор и новоиспеченные граждане весьма отдаленной и совсем в другой мир включенной страны.

Интерес к Украине поляков понятен и легко объясним их героическим, романтическим, но безусловно империалистическим, прошлым и не успевшими еще увянуть шовинистическими его остатками. Картины блистательных лет долго живут где-то в мозговых извилинах человека, и стирает их разве в глубокой старости одно безжалостное время. А польский народ еще полон сил, талантов и веры в себя, и его уланы не так давно собирались поить усталых от погони за «красными» коней в Днепре (или даже в Черном море).

Кроме того — огромная Евразия действительно нависает над Польшей с угрюмой загадочностью. И если одним снится ветер степей, свистящий на мерном галопе породистых коней в перьях крылатых гусар, то

другие слышат топот копыт неудержимо несущейся на Запад чубатой казачьей лавы...

Все это можно понять, а понявши — простить. И все-таки, и тем не менее: настойчивое, можно даже сказать — наянливое, отдающее одержимостью желание создать на западных границах Советского Союза новую «Малую Антанту» с обязательным участием самоопределившейся Украины — порой раздражает, порой — смешит...

Если маршал Пилсудский и некоторые круги современной польской эмиграции в свое время (во время их «Drang nach Osten») столь самоотверженно думали о свободе Украины и даже заключили союз с разбитым уже на голову Петлюрой, — что помешало им после рижского мира отдать «союзнику» отошедшие к ним украинские и белорусские земли, отдать если не для полной их самостоятельности, то хотя бы для широкой автономии?

А вместо этого они навалили на «Кресы восточные» такой гнет полицейщины и почти с компьютерами рассчитанной полонизации, перед которым и старые русификаторы (в Польше) кажутся убогими кустарями. (Что пишущий эти строки «имел удовольствие» лично наблюдать.)

И что самое главное — если русское самодержавие все-таки было верно самому себе, то польские колонизаторы «Кресов восточных» вошли в резкое противоречие и с теми принципами, которые позволили им воскресить их Речь Посполитую, и с конституцией этой последней (что, кстати, и происходит сейчас в СССР).

Конечно, эмигрантские инспираторы украинской независимости польского происхождения надеются (как и высказал печатно один из них), что «незалежна Украина» вместо русского естественно перейдет под «более симпатичное» польское культурное влияние. Но спокойные показания о. Владислава Буквинского

о резко враждебном отношении к полякам галичан, их очень давних «соседей», — разбивают и эти иллюзии остаточной великодержавности: в случае чего и на этом фронте без междоусобиц не обойтись.

Между прочим — вопреки о. Владиславу — вот именно у великорусской интеллигенции, не состоявшей ни в Союзе Русского Народа, ни в Союзе Михаила Архангела, — не было вражды к полякам. Нижеподписавшийся в свое время, в студенческом вагоне скорого поезда из Вильно в Петроград, как природный волынянин с враждебным изумлением слушал высказывания студента-великоросса, который жалел, что на московский трон не сел королевич Владислав: тогда-де открылось бы «окно на Запад» и без дикарской жестокости Петра I. У нас на Волыни никто так не сказал бы.

Но это все в прошлом. У Свободного Советского Союза не будет никаких притязаний к Польше, кроме желания сохранять добрососедские отношения. И было бы хорошо, если бы и поляки сколачивали свою «Малую Антанту», не стараясь самоопределять состоящие в Советском Союзе народы.

Совсем другого удельного веса вторая категория «самоопределителей со стороны». Они родились и выросли в Советском Союзе, почти все окончили его высшие учебные заведения, почти все занимали хорошие (хоть может быть, и не столь ответственные, как их отцы) места и теперь, став настоящими, или бывшими, или несбывшимися на половине пути, израильскими гражданами, клянут русский (великорусский) национализм, сионизм, империализм и то и дело предлагают «русским» весьма действенные для очищения от прошлых грехов рецепты разделения Советского Союза на ряд самостоятельных государств.

Все это в духе начала XX-го века — очень «прогрессивно», но спрашивается — на каком основании эти

люди вмешиваются в уже чужие для них дела. В каком смысле советский («русский») «империализм» задевает интересы Израиля?

Широко прокламируемая ими любовь к России уже зачеркнута либо взята на подозрение их израильским (настоящим, прошедшим или несбывшимся) паспортом и остается в живых одна неприязнь ко всем тем, кто их так или иначе задел, или обидел, или — если не притеснял — то оттеснял, ненависть, которая порой, незаметно для самого оратора, переносится на весь народ.

Но спрашивается — о чем же думали их отцы и деды, которые по собственным словам их собственных потомков, неоднократно и настойчиво публиковавшихся в израильской прессе на русском языке, совершили, мощно поддерживали и укрепили октябрьскую революцию, утвердили новую власть и стали ее элитой, ее правящим слоем? Почему не поддерживали Троцкого против Сталина, не создали вместо нынешней «тюрьмы народов» подлинно демократически-федеральной, свободной и правовой страны? Как допустили, чтобы вместо братского общения, без различия вер и наций, в этой стране дошли до зоологического антисемитизма? Кто виноват — варварский народ или та новая элита, которая решила, что раз черта оседлости уничтожена, ей остается только стричь купоны с широко открывшихся возможностей?

Настоящую любовь не меняют, как перчатки. И тем, кто все-таки «сменил», — остается вместо украинского заняться с тем же жаром и пылом куда более зловещим (не только для Израиля, но и для мира) арабским вопросом и вместо того, чтобы днем с огнем искать и не находить «русского неимпериалиста» («Сучасність». И. Клейнер: «Континент і національне питання», 11(191), 1976), постараться найти, собрать, организовать тех евреев, которые, наконец, поймут, что если в веке деколонизации, наперекор

общей тенденции эпохи, их колонизация Палестины произошла и удалась, то все же нельзя бесконечно отстреливаться (хотя бы самым совершенным американским оружием) от со всех сторон напирających арабских миллионов, и — поскольку их нельзя и истребить и остатки загнать в «резервации», как индейцев, — надо с ними разговаривать, сговариваться, договариваться, учить и учиться жить вместе.

А что касается первой псевдородины, то все же лучше из элементарного приличия подождать ее смерти, прежде чем писать стихи о «почетном карауле» у ее гроба...

Но все это, хоть и неприятные, но неопасные для развития внутрисоветских национальных отношений факты. Гораздо опаснее тот «русский неонационализм», который некоторые диссиденты культивируют в Советском Союзе и вместе с «третьей эмиграцией» перебрасывают на Запад.

Уже в самом понятии такого национализма таится скверная двусмысленность: если это национализм русский в старом — дореволюционном понимании, то, не говоря уже о том, что элита предреволюционного общества, будучи патриотической (поведение Прогрессивного Блока во время Первой Мировой), националистской не была, — это «возвращение к истокам» вызывает в памяти самые отрицательные явления последнего царствования с травлей инородцев, еврейскими погромами и пр., собственно говоря и приведшими к финальной катастрофе и, одновременно, являющимися самым кричащим противоречием («единая и неделимая») федералистскому принципу.

Если же этот национализм — просто ответ на национализмы меньшинственные, трудно было бы придумать что-нибудь менее способное их успокоить. Этого порядка национализм действует как повышающий трансформатор электрического тока: если на пер-

вичной (великорусской) обмотке ток в два вольта национального напряжения, то на вторичной — скажем, украинской — их уже будет четыре (или восемь, или шестнадцать, или все сто шестьдесят).

Этого порядка националисты совершенно забывают о людях, воспринявших русскую культуру как уже сверхнациональную (многонациональную): великоросс Толстой, белорус Достоевский, украинец Гоголь и т. п. И переселяться с ней «на дачу» на Северо-Восток — это уже эгоистическая и незаконная аннексия общего достояния в свою пользу.

До появления этого порядка национализма нижеподписавшийся считал себя русским (российским) человеком. Сейчас он предпочитает, никак не будучи самостийником, называть себя украинцем... Но если великороссы, аннексируя общерусскую культуру, будут настаивать на своем будто бы защищающем обиженное народное достоинство (это у 113-миллионного народа) национализме, то, вспоминая об о. Владиславе, придется считать, что вопрос «кто кого» очень быстро разрешится превращением миллионов «хохлов» в украинцев.

И, наконец, последнее: русский национализм («нео» — похоже — ни к чему) слишком легко перекликается с тем демагогическим национализмом, который из своих соображений с некоторых пор лукаво поощряет компартия.

Этого одного, казалось бы, достаточно, чтобы одуматься и понять, что не в обострении национализмов и не в распаде Советской «империи» (хотя бы психологическом) с африканизацией всей великой Евразийской равнины — а в совместной борьбе всех людей доброй воли за сознательное, свободное, демократическое сожительство разных наций в Свободном Советском Союзе и лежит путь в лучшее будущее всех советских народов (в том числе великорусского и украинского).

РАФАЛЬСКИЙ Сергей Милич — родился в 1896 г. в семье священника на Волыни. В 1914 г. окончил гимназию в г. Остроге. К началу революции прошел три курса (в Санкт-Петербургском университете) юридического факультета (окончил в Праге). Летом 1915 года вступил в партию Народной Свободы. После Рижского мира, проживая в отошедшей к Польше местности, состоял в «Союзе Защиты Родины и Свободы» Б. Савинкова. В 1922 году уехал в Прагу. Был одним из основателей «Скита поэтов», печатал стихи в «Сполохах», «Перезвонах», «Своими путями», «Воле России». Работал в «Институте изучения России». В 1929 г. переехал во Францию, в Париж. Писал в журнале «Борьба» (под псевдонимами Рафаил, Сергей Раганов). После войны поместил несколько статей в «Посеве» и несколько поэм в «Гранях», а в 1956 г. — в «Возрождении» (59 тетрадь). С 1958 г. постоянный сотрудник «Нового Русского Слова» и с 1967-го — «Русской Мысли».

Восточноевропейский диалог

Игорь Качуровский

К СОТОЙ ГОДОВЩИНЕ ЭМСКОГО УКАЗА

Из сорока семи лет своей жизни Тарас Шевченко двадцать пять был крепостным, десять — ссыльным солдатом и только двенадцать — свободным человеком. Таково же соотношение темных и светлых периодов в истории украинской литературы со дня Эмского указа.

В 1863 г. министр внутренних дел Российской Империи Петр Валуев вопреки позиции министра просвещения Головина выпустил секретный циркуляр, запрещающий издание научных и научно-популярных книг на украинском языке; в том же циркуляре и сам язык украинский был объявлен «наречием русского».

Логическим завершением циркуляра стал изданный тринадцать лет спустя так называемый Эмский указ, подписанный 18 мая 1876 г. русским царем Александром Вторым в немецком городе Эмсе.

«Государь Император в 18/30 день минувшего мая Высочайше повелеть соизволил:

1) не допускать ввоза в пределы Империи без особого на то разрешения Главного Управления по делам печати каких бы то ни было книг и брошюр, издаваемых за границею на малороссийском наречии;

2) печатание и издание в Империи оригинальных произведений и переводов на том же наречии воспретить, за исключением лишь: а) историче-

ских документов и памятников и б) произведений изящной словесности, но с тем, чтобы при печатании исторических памятников безусловно удерживалось правописание подлинников; в произведениях же изящной словесности не было допускаемо никаких отступлений от общепринятого русского правописания, и чтобы разрешение на печатание произведений изящной словесности давалось не иначе, как по рассмотрении рукописей в Главном Управлении по делам печати;

3) воспретить также различные сценические представления и чтения на малорусском наречии, а равно и печатание на таковом же текстов к музыкальным нотам».

На основании этого указа в течение тридцати лет цензура могла не допустить к печатанию какое угодно произведение на украинском языке под предлогом, что оно не соответствует «общепринятому написанию». Крупный западноукраинский ученый Иван Пулюй послал в Российскую Академию наук важную научную работу о переменных звездах. Академия работу отклонила — как не соответствующую «общепринятому правописанию». Отказ, выдержанный в стиле начальников районной милиции, хранится у сына ученого.

Сама тема о переменных звездах показалась подозрительной, и за ученым, который жил в Праге, установили слежку. В течение многих лет топтуны из Третьего отделения — украинцы тогда их называли «нышпорками» — неотвязно следили за ним.

За сто лет своего развития после Эмского указа украинская литература знала только три более или менее светлых периода, когда существовала относительная свобода творчества и печати.

Первый такой период длился с конца 1905 г. до начала первой мировой войны. Это годы, когда жили и творили такие классики украинской литературы, как

Леся Украинка, Иван Франко, Володимир Винниченко, а также выдающиеся прозаики-импрессионисты (Кочубинский, Стефаник) и некоторые — впрочем, довольно умеренные — сторонники новых течений в поэзии (Олесь, Вороний и др.). В эту эпоху центр украинской культурной жизни возвращается из захолустного Львова в древний Киев; многие писатели получают возможность печатать свои произведения «дома» — без необходимости посылать их за границу; украинская книга быстрее и легче находит читателя, становится возможным свободнее затрагивать в художественном произведении социальные, а отчасти и национальные проблемы; возрастает количество книжных изданий; появляется литературный журнал («Українська хата», 1909-1914 гг.); выходит несколько антологий украинской поэзии («Досвітні вогні» Бориса Гринченко, «Українська муза» Олексы Коваленко); достигает, если можно так сказать, «среднеевропейского» уровня литературная критика (М. Евшан, М. Сриблянский-Шаповал).

Однако были и тени. Ощущалась нехватка широких читательских кругов с развитым художественным вкусом; литературные традиции, выработавшиеся вследствие ограничений (особенно в драматургии), воспринимались как якобы «национальные черты украинской литературы»; заметна была провинциальная зависимость некоторых литераторов от русской литературы; разрыв между литературными нормами языка Украины, входившей в состав Российской империи, с одной стороны, и Галиции — с другой, грозил созданием двух языков...

Еще раз напомню, что это было время классиков украинской литературы. Полагаю, что о литературе этого периода читатели, вероятно, имеют некоторое — пусть неполное и искаженное, но все же общее представление.

Значительно более искажен и хуже освещен второй

светлый период в истории украинской литературы. Я имею в виду двадцатые годы, известные под названием «Расстрелянного Возрождения». Этому периоду я, главным образом, и посвящаю свою статью.

Революция на Украине была не только социальной, но, прежде всего, национальной. Борьба окончилась поражением войск Украинской Народной Республики, но оставила глубокий след в национальном самосознании, и хотя Коцюбинский, Леся Украинка и Франко умерли, а Винниченко и Олесь эмигрировали, но именно к этому периоду относится небывалый расцвет украинской культуры — расцвет, который при иных условиях мог бы вылиться в нечто подобное литературе елизаветинской эпохи в Англии.

В культурный процесс включились представители всех классов и идеологий: явно враждебные существующему строю эстеты, уходящие от страшной действительности в мир античной поэзии; попутчики; крестьянские писатели; пролетарские или выдающие себя за таковых литераторы; национал-коммунисты и ортодоксальные партработники. Как при запоздалой весне черемуха и сирень цветут одновременно, так в эти годы развиваются всевозможные литературные школы и направления, при нормальном развитии приходящие друг другу на смену в некоторой последовательности: романтики и реалисты, символисты и импрессионисты, неоклассики и футуристы.

Если в недавние годы Потапенко и Короленко, Кириенко-Волошин, Анна Ахматова (Горенко) и Владимир Нарбут уходили в русскую литературу (и это было в порядке вещей), то в двадцатые годы в украинскую литературу включаются немцы, евреи, русские... Зинаида Тулуб и Павло Филипович возвращаются из русской литературы в украинскую.

Развиваются всевозможные жанры: роман, повесть, рассказ и новелла, драма, художественный очерк, юмор и пародия. Но выше, сильнее и ярче всего был

взлет лирической поэзии. Украинская поэзия не творчеством отдельных своих представителей (как это случалось перед тем), а как целостное явление поднялась до уровня западноевропейской. Здесь прежде всего надо назвать киевскую группу неоклассиков, куда входили: Микола Зеров, Максим Рыльский, Павло Филипович, Михайло Драй-Хмара и Освальд Бургхардт, впоследствии писавший под псевдонимом «Юрий Клен». Все это были люди высокой культуры, широчайшей эрудиции, владевшие многими языками.

Приведу два случая. В тридцатых годах вышла книга Бласко Ибаньеса «Под апельсинами» в украинском переводе Микола Иванова (кстати, ходили слухи, что после войны Иванов был выкраден агентами НКВД из Западной Германии, дальнейшая его судьба неизвестна). Один из студентов ИЛО (Институт лингвистического образования), знавший испанский язык, сказал Зерову: «А хороший, однако, перевод!» — А чего мне это стоило! — ответил Зеров. «Профессор, вы знаете испанский?» Вместо ответа Зеров прочел наизусть первую страницу «Дон-Кихота».

И второй случай. В разговоре со мной Юрий Клен привел цитату по-итальянски. Теперь я немного знаю итальянский язык, а тогда не знал вовсе и сказал об этом Клену. «Как, вы не знаете итальянского?» — изумился поэт...

Хотя украинский неоклассицизм был продолжением традиций французских парнасцев, главным образом Жозе-Мари Эредиа и Шарля Леконт де Лиля, но он впитал и многие элементы русской поэзии Серебряного Века.

Одновременно с неоклассиками достигли большого мастерства импрессионисты Евгений Плужник и Павло Тычина; тяготевшие к неоклассицизму символист Володимир Свидзинский и романтик Дмитро Фалькивский, а также Микола Бажан — представитель того ответвления нео-барокко, которое тяготеет к негативно-эстетическому материалу (к уродству и грязи) и которое называют турпизмом.

Но и этот период — как, впрочем, и во всем Советском Союзе — был омрачен всё усиливающейся

партийной цензурой, искусственным расчленением литературы на «классовые группы» с соответствующими привилегиями для так называемых «пролетарских писателей», катастрофическим снижением средне-писательского культурного уровня и неразборчивой в средствах борьбой литературных группировок, среди которых «левые» ценой доноса на своих коллег пытались доказать свою преданность партии...

Если в РСФСР физическое наступление партии на искусство широко развернулось только во время ежовщины, а до этого «теснимый и гонимый» писатель в большинстве случаев мог отмалчиваться или стать переводчиком, то в УССР это наступление началось еще в 1929 году и было тотальным.

Весной тридцатого года в Харькове был разыгран процесс так называемой «Сэ-вз-у» (мифическая Спилка Вызvolения Украины, одно название которой показывает, в какой кухне его состряпали: изобретшие «Спилку» чекисты не знали, что буква с называется «эс», а не «сэ»...). По этому делу, среди многих других, были арестованы Максим Рыльский и Михайло Зеров, младший брат Миколы. Правда, обоих после непродолжительного заключения освободили. Но сорок пять человек, во главе с академиком Сергеем Ефремовым, были осуждены в Харькове на открытом процессе, а кроме того, по этому же делу по всей Украине тысячи людей были расстреляны, сосланы, административно высланы за пределы республики. (В моем родном селе, например, было расстреляно пять крестьян за участие в этой же мифической «Спилке»...)

Вторым ударом по украинской литературе был декабрьский расстрел 1934 г. По приговору выездной сессии Военной Коллегии Верховного суда СССР под председательством В. Ульриха 16 декабря 1934 г. в Киеве было расстреляно двадцать восемь человек — в большинстве видных культурных деятелей — на основании нелепого обвинения, что они «террористы-бе-

логвардейцы». Среди расстрелянных — поэт Дмитро Фальківський (в прошлом — чекист), глухонемой комсомольский поэт Олекса Влизько, прозаик-импрессионист Косынка, пародист Кость Буревий. Некоторые пошли на смерть под литературными псевдонимами: суд даже не потрудился узнать их настоящие имена. (Из девяти подсудимых, чьи дела были «направлены на доследование», пережил лагерь и дождался реабилитации поэт Мысик.) После этого начались массовые аресты, однако никаких сообщений в прессе ни о судах, ни о расстрелах уже не появлялось.

За закрытыми дверями проходил и процесс неоклассиков. Кабинетный ученый Микола Зеров, никогда не державший в руках огнестрельного оружия, фигурировал на этом процессе как глава некоего «террористического центра».

Микола Зеров был человеком с абсолютной памятью, подобно одному из персонажей повести Марка Твена «Жизнь на Миссисипи». К тому же, он отличался остроумием и ораторским даром. Немудрено, что среди студентов — Зеров был профессором Киевских ИНО и ИЛО (институтов Народного и Лингвистического образования) — возник культ Зерова: говорили, что вся украинская культура стоит «под знаком Зерова».

Вокруг Зерова и образовалась группа киевских неоклассиков. В середине двадцатых годов Зеров поддерживал украинского национал-коммуниста Хвылевого, провозгласившего лозунг: «Даешь Европу!», а сам Зеров звал «ad fontes!» — к истокам европейской культуры. Ему принадлежат переводы Катулла, Горация, Лукреция Кара, Вергилия, Петрарки, Ростана, многих славянских поэтов. Ему же принадлежит и разработка теории перевода. Зеров довел украинский сонет до совершенства: одна из его книг так и называется «Сонетариум». Для поэта характерна так называемая поэзия «второй степени», то есть поэзия, построенная

не на непосредственных впечатлениях — как у импрессионистов, — а на мотивах и образах произведений искусства, прежде всего — прочитанных книг.

В начале тридцатых годов поэт был лишен возможности работать в Киеве и уехал в Москву. Там он перевел на русский язык «Послание к Пизонам» Горация и работал над антологией «Поздние римляне», которая должна была выйти в издательстве «Academia» (некоторые из этих переводов вошли в хрестоматию Кондратьева «Римская литература» — но без имени переводчика...).

Зеров был арестован в 1935 году. Потрясенный смертью единственного сына (мальчик умер от скарлатины), поэт подписывал протоколы обвинения, не читая... До осени тридцать седьмого года он находился в Соловецком лагере и, по всей вероятности, 3 ноября того же года был расстрелян. Оконченный уже в лагере перевод «Энеиды» погиб во время войны: партизаны забрали его на курево. А перевод «Бориса Годунова» вышел под чужим именем...

К группе неоклассиков принадлежал и Михайло Драй-Хмара, поэт, литературовед и переводчик. Переводил он Лермонтова, белорусского поэта Максима Богдановича, французских и чешских поэтов. Незаконченный перевод «Божественной комедии» конфискован при аресте.

Драй-Хмара — исключительный знаток украинского языка, он находил забытые слова и возвращал им полнозвучную силу.

Чистотою и яркостью красок его стих напоминает мне картины Дюрера. Мужественный и сильный человек, крестьянский сын, достигший высот культуры, Драй-Хмара чувствовал себя пленным леопардом в клетке тогдашней жизни. После долгих гонений и арестов он был осужден по делу «террористического центра профессора Зерова», однако выдержал все пытки — тогда особенно изощренные — и виновным себя

не признал, так что дело его выделили и приговорили его только к пяти годам. Но послали Драй-Хмару не на «идиллические» упорядоченные Соловки, а на страшную Колыму, где его без конца переводили из лагеря в лагерь и за невыполнение нормы подвешивали на морозе. Вскоре семья получила извещение о его смерти...

Третий член группы неоклассиков, Павло Филипович, литературную деятельность начал рано — как русский поэт, под псевдонимом Павел Зорев. Общее пробуждение национального самосознания привело Филиповича в лоно родной украинской литературы, где он, как и его друзья-неоклассики, выступает как поэт, литературовед и переводчик. Осужденный по делу Зерова, он был расстрелян третьего ноября тридцать седьмого года в Соловецком концлагере. После ареста мужа жена Филиповича сошла с ума, но ее тем не менее арестовали, и она погибла в лагерях.

Стихи Филиповича — образец философской пантеистической лирики.

...Земля ковром раскрылась под тобою,
Моею песней родники звенят.
Дорогою простлался голубою
Обильных дней необозримый ряд.

Лети ж, лети! На солнце золотятся
Воскресшие виденья прежних лет.
И лишь домой не надо возвращаться:
Теперь я всюду, где любовь и свет.

К совершенно иной категории поэтов принадлежал Евгений Плужник. Он не был ни ученым-эрудитом, ни теоретиком-литературоведом, ни переводчиком римских и французских поэтов. Но он создал свою собственную манеру стиха со свежей самозапоминающейся рифмой и неуловимо-тонкими оттенками чувства. В противовес культивируемой неоклассиками

поэзии «второй степени», Плужник дает непосредственную фиксацию конкретных жизненных фактов, поражающую глубиной проникновения в их сущность. Плужника можно назвать самым ярким представителем импрессионизма в украинской поэзии. Принадлежал он к группе «Ланка» — «Марс», считавшейся «попутчицкой» и полностью уничтоженной.

Косынка и Фальківський розстріляні в Києві шестнадцатого декабра тридцять четвертого года. Підмогильний, крупнейший український прозаїк, погіб в концлагері. Борис Тенета покінчив с собою в тюрмі. Борис Антоненко-Давидович был приговорен к расстрелу, замененному заключением в лагерь (возвратился во времена Хрущева, теперь снова подвергается гонениям). Иван Багряний бежал из лагеря, умер в эмиграции.

Сам Плужник был арестован в 1935 году и приговорен к расстрелу, но так как у него была открытая форма туберкулеза, расстрел ему заменили десятью годами, зная, что он долго не протянет. Поэт умер через год в больнице Соловецкого Кремля, было ему тогда тридцать семь лет. Скончался он на руках у товарища по заключению, и тот оставил трогательное описание его смерти:

Момент приближения смерти Евген Плужник ощутил точно и безошибочно. Однажды зимой, в начале 1936 г., он совершенно спокойно, тенью голоса, слабо шевеля своими тонкими губами, сказал мне: «Микола, принеси мне холодненькой воды; я умоюсь, вспомню Днепр и умру».

*(Тайга. Як умер на Соловках поет Є. Плужник.
«Україна і світ», 1950, тетрадь 2).*

Так и случилось: он смочил себе лоб пальцами правой руки, утерся поданным ему полотенцем... А

когда товарищ выплеснул воду из тазика и возвратился, он застал поэта уже бездыханным...

Одним словом, тридцатые годы были для украинской литературы пострашней Эмского указа. По подсчетам украинского исследователя Богдана Кравцева, во время так называемого «культа личности» было расстреляно и погибло в лагерях восемьдесят девять украинских писателей, двадцать два вышли живыми из заключения да еще около тридцати эмигрировало. Сталинская мясорубка перемалывала всех: престарелый академик Крымский и начинающий поэт Гаврош Сирый, кумир студенчества Зеров и признанный только после смерти Свидзинский, плодовитый Олекса Слисаренко и автор крошечного сборника стихов Антон Дикий, представительница старой украинской интеллигенции Людмила Старицкая-Черняховская и комсомольский поэт Влызько — всем им выпала та же судьба. 16 декабря 1934 года в одной партии пошли на расстрел и недавний чекист Фалькивский, и один из руководителей эсеровского восстания на Волге Кость Буревий...

Из пятерых неоклассиков уцелело двое: Максим Рыльский, прошедший полугодичную идеологическую перековку в Киевской тюрьме и вышедший послушным исполнителем воли партии, и Освальд Бургхардт, воспользовавшийся немецким происхождением своего деда и уехавший за границу.

Бургхардт имел уже достаточный опыт, чтобы опасаться самого худшего. С началом первой мировой войны его, молодого ученого, депортировали — как немецкого подданного — в Архангельскую губернию, откуда он возвратился в родной Киев только спустя четыре года. В годы разрухи Освальд Бургхардт и Микола Зеров преподавали в социально-экономическом техникуме большого, «еще не раскулаченного», по словам Бургхардта, села Барышевки. Весной двадцать первого года на Барышевку нагрянул отряд милиции,

и при этом была арестована чуть не вся местная интеллигенция. Зеров избежал общей участи только потому, что его в этот день не было дома, а Бургхардта вместе с другими арестованными перевезли в Полтаву, где почти все они были расстреляны. Бургхардт вышел на свободу благодаря ходатайству Владимира Короленко: тогда чекисты еще могли почитаться с выдающимися людьми... В тридцатых годах они не считались уже ни с кем.

Свою литературную деятельность Освальд Бургхардт начал как литературовед («О новых путях стилистического исследования», на русском языке, Киев, 1915), в начале двадцатых годов он интенсивно работает как переводчик: переводы немецких сонетов, Шекспира, Байрона, Шелли, французских символистов... Впоследствии, уже в Германии, он возвращается к литературоведению: ему принадлежит монография о Леониде Андрееве (на немецком языке).

За границей Освальд Бургхардт выступает под псевдонимом Юрий Клен, сближается с пражской группой украинских поэтов-эмигрантов, там же, в Праге, вышли книги его стихов. Во время войны Юрий Клен побывал как переводчик на оккупированной Украине и это дало ему материал для мистической эпопеи «Пепел империй», явившейся плодом трагического столкновения украинской души поэта с его немецкой кровью. Побеждает душа: поэт становится всецело на сторону Украины и ее народа, он вкладывает в уста пражского падика — одного из персонажей эпопеи — чудовищное проклятие по адресу Германии. Вряд ли во всей мировой поэзии найдется равное по силе проклятие — даже «Цветы польские» Юлиана Тувима, с их воззванием к варшавским собакам, бледнеют перед «Пеплом империй».

После войны Юрий Клен с женой и двумя детьми очутился в Тироле. Хотя большинство беженцев по окончании войны либо подверглось насильственной

репатриации, либо в страхе перед репатриацией добровольно возвращалось на родину, всё же в Германии и Австрии уцелело свыше двухсот тысяч украинцев... Жили мы в лагерях.

И вот Юрий Клен, с рюкзаком, полным книг и рукописей — как Сковорода из его же собственного сонета, — переходя «на шварц», как тогда говорилось, границу между Австрией и Баварией и обратно, ездит из лагеря в лагерь, всюду с неизменным успехом выступая со стихами из неоконченной эпопеи «Пепел империй». Лихорадочной работы над эпопеей он так и не довел до конца: тридцатого сентября сорок седьмого года Юрий Клен умер в Аугсбурге — по официальной версии, «от простуды и истощения». Никто из нас этой версии не поверил: еще накануне смерти у поэта было тридцать семь и три, и еще совсем недавно полный энергии и ничуть не похожий на доходягу поэт переходил ночью через границу из Зальцбурга в Берхтесгаден...

«Младшим неоклассиком» называли в эмиграции младшего брата Миколы Зерова, Михаила, писавшего под псевдонимом «Михайло Орест». Если могучий напор слитых воедино ритма и образа в стихах Юрия Клена открывал перед ним сердца слушателей, то Михайло Орест никогда не выступал публично с чтением своих стихов и оставался поэтом для избранных. Однако мистическое направление творчества роднит его — среди всех неоклассиков — именно с Кленом, а его склонность к эскапизму (бегству от действительности) — с Максимом Рыльским.

Стихи Ореста — это своего рода ступень, за которой находится высшая сфера духовной жизни человека. Для адекватного восприятия они требуют от читателя развитого художественного вкуса, культуры и знаний — прежде всего в области индийской философии.

Свою литературную деятельность Михайло Орест

начал еще в двадцатые годы как переводчик стихов Рильке, считавшихся в то время контрреволюционными... Ему удалось напечатать только два перевода, а своих стихов он даже и не пробовал печатать. Количество читателей этих стихов, по словам поэта, никогда не превышало числа пальцев на одной руке. Быть может, это и спасло Михайла Ореста: его дважды арестовывали, пытали, в общей сложности он пробыл в тюрьме и лагерях около четырех лет, но «органы» либо вообще не знали о его творчестве, либо не видели в нем большого поэта, не считали опасным и поэтому не уничтожили. Во время войны, когда Оресту было сорок два года, вышел первый сборник его стихов. После этого поэт был выведен партизанами на расстрел, но пуля скользнула по черепу, и поэт прожил еще девятнадцать лет... После войны Михайло Орест жил в Аугсбурге. Стихи этого периода полны безысходного пессимизма, построены на мотивах приближающейся смерти.

Камерным характером своего творчества, не предназначенного для массового потребителя литературы, несколько напоминает Ореста другой мастер стиха — Володимир Свидзинский, который, не принадлежа к группе неоклассиков (они вряд ли и знали о его существовании), был, однако, близок им и своею лексикой, и любовью к классическим формам стиха, и переводческой деятельностью (он переводил Гесиода и Аристофана).

Судьба Свидзинского среди всех жертв сталинской эпохи была, пожалуй, самой трагической. Работал он в какой-то редакции — чуть ли не корректором. Жена поэта умерла, оставив его с маленькой дочерью. Подобно Гельдерлину, Тютчеву или Норвиду, он не пользовался при жизни настоящей известностью. Хотя первое стихотворение Свидзинского было напечатано еще до революции, а в двадцатые годы вышло два сборника его стихотворений, поэт долгое время оста-

вался в тени — ни громкая слава, ни волна репрессий не коснулись его. «Труд, одиночество, молчанье» — магический треугольник Свидзинского, в котором он находил отраду в последние годы жизни. О Свидзинском вспомнили только после присоединения Западной Украины: надо было показать живого, не тронутого репрессиями поэта. Тогда был издан сборник его избранных стихотворений.

Но вот началась война, немцы подступили к Харькову, где жил Свидзинский. Поэта взяли на квартире и погнали на восток. Колхозники гнали коров и лошадей, энкаведисты — украинскую интеллигенцию. Недалеко от Харькова группу эвакуированных — человек полтора — заперли на ночь в овин. И — то ли страшно стало, что немцы перережут дорогу, то ли просто лень было возиться с «людишками», только ночью энкаведисты подожгли овин с эвакуированными. Поэт Александр Сорока вырвался из огня и успел пробежать несколько километров, прежде чем его догнал энкаведист на мотоцикле и застрелил. Всё же два или три человека спаслось. Но Свидзинского среди них не было... Случилось это десятого октября сорок первого года.

К счастью для украинской литературы, сборник неизданных стихов Свидзинского не погиб вместе с ним в огне. Эти стихи вывез на Запад поэт Веретенченко, но только в прошлом году они вышли отдельной книгой.

В начале статьи я упомянул, что украинская литература за последние сто лет знала только три более или менее светлых периода. Самое мрачное время, когда Сталин

Такой завел порядок —
Хоть покати шаром —

длилось четверть столетия.

Правда, существовала литература вне пределов досягаемости Эмских указов и сталинских порядков — на Западной Украине и в эмиграции. Здесь прежде всего надо упомянуть журнал «Вісник» («Вестник») и пражскую группу поэтов, к которой причисляют Олега Ольжича, Олену Телигу, Юрия Клена (после его выезда за границу), Маланюка, Стефановича... Двое первых погибли во время войны: Телига (едва ли не единственная в европейской поэзии представительница женской героической лирики) была расстреляна киевским Гестапо, Ольжич — погиб от пыток в концлагере Заксенхаузен...

Да еще к послевоенному времени относится кратковременная вспышка украинской духовной жизни в эмиграции, когда встретились уцелевшие литераторы и культурные деятели со всех областей Украины, когда вышло на литературную арену около двух десятков молодых писателей и когда книжный голод военных лет, сливаясь со свежим, впервые испытанным чувство ностальгии, пробудил у среднего украинского интеллигента литературные интересы. Однако «светлым» периодом эту вспышку не назовешь — слишком уж была она омрачена тоской по родным и по родине, бездомностью, неопределенностью, страхом репатриации, полуголодным существованием... Да и длилась она всего два-три года, пока массовый читатель, позабыв о литературе, не потянулся в заокеанские страны.

Самое яркое в поэзии тех лет — творчество Клена и Ореста, в прозе — романы Ивана Багряного.

А в Советском Союзе в этот период не только ждановщина и соцреализм мешали литературе нормально развиваться: болезненно ощущалось отсутствие с м е н ы. В советской прессе мелькнула цифра — 3%: столько юношей, скажем так, солженицынского поколения возвратилось с войны... А остальные — кто погиб на фронте, кто в немецком плену, а кого поглотили северные лагеря...

Возрождение украинской литературы во время хрущевской оттепели началось с некоторым опозданием по сравнению с русской. Переломным был 1957 г., когда вышли повесть Олександра (Александра) Дов-

женко «Очарованная Десна» и первый сборник Лины Костенко «Лучи земли».

Три черты возвратила украинской поэзии Лина Костенко:

— право поэта на печаль:

А я гляжу и думаю о песне.
Когда ей грустно, — пусть грустит она.
Пусть никогда фальшиво не смеется —
Чтобы чистый сердцем не закрыл окна...

— перенесение внимания с общественного на личное:

У меня так много друзей...
Мама моя, не плачь!

— возрождение — в течение многих лет запрещенной
— символики образов (стихотворения «Папоротник»,
«Чайка на льдине»).

С возвращением «недоуничтоженных» писателей, публикацией творческого наследства погибших, появлением нового поколения литераторов связан любопытный психологический феномен, а именно — оживление или, правильнее сказать, обновление творчества некоторых писателей старшей и средней генерации, таких, как Леонид Первомайский, Григорий Тютюнник, Микола Руденко.

Поэт без систематического образования, выходец из бедной еврейской семьи (настоящее имя Илья Гуревич), Леонид Первомайский уже одним своим псевдонимом старался показать верноподданнические чувства (помните Чекистова в есенинской «Стране негодяев»?). Ранние стихи Первомайского были своего рода шедеврами «тракторной поэзии», принадлежал он к самой ортодоксальной писательской организации — ВУСПП (украинская параллель к авербаховскому РАППу). Однако с тридцатых годов начина-

ется медленное, но неуклонное развитие поэтического дарования Первомайского.

Находясь в Соловецком заключении, Микола Зеров мечтал составить антологию баллады в мировой поэзии. Такую антологию составил двадцать лет спустя Леонид Первомайский, став, таким образом, преемником лучших художественных традиций украинской поэзии.

Леонид Первомайский совершил путь от литературного ничтожества до высокого мастерства, от наивной веры в темные идеалы — до благородного гражданского мужества. Написанное незадолго до смерти стихотворение «Гамлет» он посвятил Миколу Бажану, в память позорных бажановских стихов «Смерть Гамлета», оправдывавших и приветствовавших уничтожение национальной интеллигенции. Подтекст стихотворения «Гамлет» особую вескость приобретает именно теперь, когда «все знают всё» и, однако, молчат, когда «Словарь рифм» С. Караванского становится уликой против целой группы писателей и пугает власть имущих ничуть не менее, чем страшили их в двадцатые годы переводы из Данте и Рильке, чем переменные звезды — во время оно...

* *

Наконец, новое украинское Возрождение, хотя и не расстрелянное, но загнанное в лагеря и тюрьмы, видим мы в наши дни. Мы знаем не только имена этих сегодняшних поэтов — Михайла Осадчего, Евгена Сверстюка, Игоря Калынца, Василя Стуса и других, — но и их стихи. Творчество нового поколения украинской поэзии требует отдельного разговора, не вмещающегося в рамки этой статьи.

КАЧУРОВСКИЙ Игорь — украинский поэт, прозаик, литературовед и переводчик. Выпустил две книги рассказов, три сборника стихотворений и одну поэму. Отдельные стихотворения переведены на английский (в канадской антологии мировой поэзии), немецкий, испанский, русский, польский языки. Главная работа по стиховедению — монография «Строфика». Защитил докторскую диссертацию «Древние славянские верования и их связь с индоиранскими религиями». Преподавал в Университете Спасителя в Буэнос-Айресе, преподает в Украинском Свободном Университете в Мюнхене. Переводит славянских и испаноязычных поэтов на украинский, а украинских — на русский. Важнейший перевод — «Канцоньере» Петрарки.

**Единственная ежедневная русская газета
за рубежом**

НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО

выходит в Нью-Йорке, США. 67-ой год издания

Главный редактор АНДРЕЙ СЕДЫХ

Новое Русское Слово регулярно печатает произведения лучших эмигрантских писателей, публицистику, поэзию, документы Самиздата, протесты из СССР и пр.

Свыше 300 сотрудников во всех странах мира

Подписная цена 45 долларов в год; подписка на 6 мес.
— 25 долл.

Воскресное издание только: 20 долларов в год

**Возможна отправка газеты авиапочтой за особую
приплату.**

Подписку с платой направлять по адресу:

Novoye Russkoye Slovo

243 West 56 Street, New York, N. Y. 10019, USA

МОГУ ЛИШЬ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ БОЛЬ...

Культура для Литвы — как хлеб насущный, который она редко ела досыта в годы различных исторических притеснений. Культура для литовцев имеет еще и другое значение, нежели для великих народов, не испытывавших так остро на себе зависимости, оккупации и комплекса своей малости. Для нас это — поддержание самой жизни народа и сопротивляемости духа притеснению. Это вопрос языка, печатного слова и национального самосознания. Поэтому столь упорными были всегда усилия литовских художников и просветителей работать и творить и при тяжких и враждебных условиях (богорезы, создатели песен, книгоноши, безымянные авторы и т. д.). Наш маленький и самобытный край еще и теперь мало известен в мире. И если приезжающие сюда из-за границы люди поражаются, словно открыв неизвестный остров с уникальной историей, языком и культурой, — то это результат тех самых святых миссионерских усилий и исторической устойчивости. Нашему маленькому краю легко слиться, раствориться, попав в тиски большой империи, и эта постоянная угроза по-своему возбуждает активность сознания. Духовная нива народная потенциально предрасположена к серьезному творчеству, и сильная потребность в этом творчестве, которая ежедневно подавляется «сверху», превращается в застарелый голод, готовый отведать любую — частую и нечистую — крошку. Тем более подлинная ценность подобна здесь глотку чистого воздуха. Из своего собственного опыта знаю, с каким пиететом и уважением принимается наша классика (В. Кревес, Вайжгантас, В. Миколайтис-Путинас и др.), истори-

ческие произведения, какой горячей реакции удостоивается каждая новая отмеченная признаком таланта авторская книга, если только от нее не разит душком продажности. Как радуются литовцы расширению горизонтов своей графики, скульптуры и живописи.

Так же и работа моего мужа, Ионаса Юрашаса, в Каунасском драматическом театре стала предметом всеобщей заинтересованности (это был новый этап в истории нашего театра). На его спектакли люди со всей Литвы съезжались, как на храмовой праздник, и надолго после этого хватало пищи для разговоров о смысле и ценности его спектаклей. И теперь, припоминая то время, я с болью думаю, что ему уже никогда больше не будет дано испытать такого дыхания зала в едином общем ритме, такого живого резонанса, который мыслим только на нашей родной измученной земле и который был для него самой большой и доброй отплатой за тяжкие усилия и борьбу, какую приходилось вести за постановку хорошего, самобытного спектакля.

Когда художник почувствует такую благодарность публики за слово правды, за проблески подлинного искусства, за утешение и надежду, — он еще яснее понимает, что не имеет права лгать, лицемерить и питать изголодавшиеся души суррогатами, которых от него требуют власти. Это тяжкая, раздирающая совесть и сердце проблема, которая в большей или меньшей степени мучает каждого художника в зависимости от Советов Литве.

И. Юрашасу с лихвой досталось этой двойной муки: знать, что ты особенно необходим в разреженном пространстве культуры, и вместе с тем осознавать, что тебе не позволено быть таким, каким ты нужен своим людям — с правдивыми, недеформированными цензурой спектаклями, с беспокойными своими идеями и пониманием трагичности человеческой ситуации. Под наскоками и давлением демагогии вер-

хоглядов и конъюнктурщиков, сегодня все труднее и труднее художнику оставаться честным и несломленным. Он должен или начать обманывать тех, кто ему доверял, или выйти и покинуть ту маленькую, осажденную врагами твердыню театра (или иного вида искусства), которую он создал из немонолитных, неустойчивых и подчас предающих его самого защитников.

Мы покинули свои маленькие, воздвигнутые (возможно, в силу иллюзий) из песка крепости, чтобы больше не поступаться своей совестью и обрести, наконец, свободу, пусть формально и вычеркнутыми за это из среды живых. Иначе мы не могли. И теперь оказались как бы на «полях страницы» той культуры, которую мы — насколько позволяли силы — помогали творить. И уже издали, с тех белых «полей страницы», мы взираем на невидимые извне баталии и время «ломания копий», продолжающееся и по сегодня там, на нашей маленькой земле. Теперь мы еще яснее можем оценить усилия тех немногочисленных честных художников, которые творят, не стремясь к признанию и осыпанию милостями со стороны властей, балансируя при этом на грани опасных «неприятностей», которая нами уже пройдена. И помимо нашей воли в памяти всплывают циничные лица тех, кто облечен властью уродовать и душить наше искусство.

Кто они, те благодетели-начальники от культуры, которым со страхом и навязанной благодарностью кланяются многие наши художники за право хотя бы частично исполнить свою культурную миссию? Допустим, что они тоже наши братья, но обращаются они с нами, как с потенциальными преступниками. Даже обещая пряник за заслуги, они в другой руке держат кнут. Они наказывают, а иногда и помилуют, но никогда не прощают нам наши «грехи». Они учат нас отдавать Богово кесарю, и в их компетенцию входит магическое «так надо», которое укрощает жи-

вую, противоречащую мысль и прививает соглашательство. Они провозглашают официальную культурную кампанию, снимая с себя ответственность за потерянные души. Всё, что пахнет инквизицией, приписывается верховной власти Москвы, а они умывают руки — вините самих себя, провинившиеся, мы вам добра желали. И мы сами склонны поверить в своих «хороших начальников», ибо они вышли из нашей среды, они свои, литовцы, и им ведомо, как не прогнать Москву.

А после них могут быть и похуже...

Мы постепенно свыкаемся с притеснением, как собака привыкает к цепи. Инстинкт жизни заставляет приспособливаться. Мы начинаем контролировать один другого согласно теории «трезвого разума». И говорим себе: не будем самоубийцами. Не будем уничтожать свою столь трудно создаваемую культуру. Лучше меньше, чем ничего. Лучше говорить вполрта, чем вообще онеметь. И мы уже знаем, чем нужно оплачивать пульсирующую в висках идею, живое произведение, — иными, соответственно окрашенными, запроданными плодами. Мы приучаемся торговать своим творчеством. Напишешь несколько «идейных» стихотворений — издашь свой сборник. Получишь и как следует выполнишь официальный заказ — вылепишь скульптуру и по своему желанию и, может, даже попадешь на выставку. Поставишь спектакль к случаю — в конце концов позволят выбрать пьесу, которую ты уж так долго ждешь, что забыл даже первый импульс и замысел. Иногда у нас прямо говорят: нужно научиться вести счет своей совести на двух листах: белом и черном, «для публики» и для себя. (И отсюда — возможно и подсознательно — произошли Белый и Черный летописцы в драматической пьесе Ю. Марцинкявичуса «Миндаугас».) Это от преподанных нам уроков долгого лицемерия, которые изменили и деформировали природу не одного художника.

Я двенадцать лет работала на редакторской работе, редактировала литовскую поэзию и прозу, имея дело и с молодыми, и с уже признанными, премированными авторами. Я знаю, какую сложную и своеобразную психологическую школу проходит писатель, пока научится (или так и не научится) лавировать, пока не наловчится свой вольнодумный дух, как некоего фантастического джина, запихивать в бутылку, лишь изредка позволяя ему осторожно просовывать голову сквозь сеть путаных метафор. Как он ежедневно борется со своими нереальными замыслами, со своей совестью и одновременно с горячим желанием выпустить в свет детище своего сердца — более или менее изуродованное. Ибо неопубликованное творение — как нерожденное дитя. Разумеется, это не касается всех пишущих, ибо призванием иных как раз и является бить в барабаны, оглушающие слух, петь оды и псевдомодернистские пассажи о величии и красоте человека социализма или писать широкие эпические полотна о всяческих бедах прошлого, подпольных боях и бытовых перипетиях сегодняшнего дня. Но в сущности, чем более талантлив человек, тем труднее внутренние борения — обуздывать силу своей фантазии, чтобы она не вырвалась за рамки возможного, чтобы мысль не забирала глубже, чем это позволено. Впрочем остановить перо, обуздать образные структуры, чтобы они не выдали самую суть, и оставить в подтексте подлинную муку, боль, сомнения и протест. Вот так, даже и в творчестве — этом святом и интимном акте — соблюсти обязательные, неписанные правила игры. Чтобы ненароком чересчур остро не поцарапать гладко лакированную поверхность социалистической модели, чтобы, забывшись, не засомневаться в неприкосновенных идеях марксизма и в навязанной со стороны воле.

Как удастся писателю или другому служителю искусства уже в самом процессе работы ограничивать

свою творческую мысль? Ни руки цензоров, ни начальников не могут непосредственно копаться в твоей душе. У них иные функции: наляпать купюр, запретить, предать молчанию, ликвидировать. Но здесь, в этой интимной области, кроется тайна, понятная только советскому человеку. Это твой Внутренний Цензор, твое второе «я», с которым ты научился жить каждый день: творя, думая, общаясь с людьми. Он хорошо выдрессирован, чувствителен ко времени, к конъюнктурным колебаниям. Это понятие достойно быть увековеченным, ибо это неизбежный результат тотальной системы и порожденного ею патологического страха. Это уже новая форма качественной двойственности социалистического человека и не вполне осознанная, катастрофическая его драма. Иногда этот внутренний цензор носит и другие имена. «Крепче затянем свои духовные корсеты», — публично призывал своих коллег один известный и одаренный наш поэт, когда в последние годы стала хуже идеологическая ситуация. И «духовный корсет» действительно постоянно формирует души художников. Внутренний цензор бдит денно и нощно. И каждый день незаметно, исподволь деморализует человека, подтачивает стойкость, учит рабской приспособляемости и приводит в упадок само творчество.

Поэтому неудивительно, что при многоэтажной человеческой зависимости — от себя самого и до вершин системы — мы подчас начинаем верить в благие намерения литовских властей полить засыхающее древо нашей культуры. И часто забываем, какой ценой это делается и какой мутной известковой водой отравляются корни этого древа. Гигантскими тиражами выходят книги, забивающие мозги макулатурой, и ты радуешься, выловив из этого потока одну-другую страничку подлинной литературы. Постоянно устраиваются тематические выставки, где ты разгребашь вчерашнюю остывшую золу и радуешься, отобрав

несколько угольков свежего и живого творческого самовыражения. Ты привыкаешь сидеть на бездушных спектаклях к случаю и постоянных юбилейных торжествах, ибо знаешь, что «так надо», и иначе сегодня нельзя.

Но существует и обратная сторона этой проблемы: народ, который питается плодами этого лицемерия. Подавленными, усталыми и равнодушными стали люди, у которых уже не хватает сил, времени и необходимого навыка читать между строчками, долго разгребать золу, пока найдешь в ней алмаз. Они поглощают всё без разбора, подставленным и открытым ртом — от массовых праздников песен и кастрированных фильмов до очередного поэтического сборника, последней журнальной страницы, — и постепенно теряют вкус к настоящему искусству, цвет правды, запах вольного неба. Какова будет заслуга нашей массовой культуры, если разум людей отвыкнет от свободной мысли, одухотворенного творчества — как от чистого ржаного хлеба — и будет в состоянии переваривать один лишь физиологический раствор? Что скажут наши будущие поколения, если они чудом унаследуют еще нашу многовековую стойкость? Прочтут ли они, не пережившие время этих двойственных усилий, наш подтекст, наши зашифрованные мысли и сжимаемую в горсти боль?

Мы беспрерывно верим в лучшие времена, в иллюзию новых «оттепелей», которая ныне всё более призрачна. И смиренно несем свой крест, следуем, понурив головы, за своим «хорошим начальником», не осмеливаясь посомневаться, воспротивиться, остановиться, — дабы любой ценой сохранить жизнь своего народа, движение культуры. Но если железная рука тотальной системы совершенно пригнет наши головы к земле, окажется ли оправданной эта всеобщая покорность?

Мой маленький народ тяжело кружится в этом за-

колдованном круге двойственных проблем, не находя выхода. И нет дверей, которые вывели бы его из этого состояния кафкианского кошмара. И в моих силах лишь засвидетельствовать боль моих собратьев и поднять проблемы творчества, которые их мучают. Из своего бесправного эмигрантского положения, с тех белых «полей страницы», где теперь нахожусь, я хочу только напомнить человеку о его естественном человеческом праве выбрать — зависимость или внутреннюю свободу, соглашательство или пусть хоть тихий, гордый протест, который иногда необходим, чтобы человек не потерял своего единственного, не вырываемого и силой дара — духовной стойкости.

ЮРАШАС Аушра-Мария — литературный критик, писательница. Родилась в 1936 г. в Каунасе (Литва). Училась в Вильнюсском государственном университете. Работала редактором в Издательстве художественной литературы, заведующей литературной частью в театре. Опубликовала множество статей по вопросам литературы и искусства. В 1963 году выпустила книгу «Критические штрихи».

С 1976 года живет в Нью-Йорке (США).

Запад — Восток

Николас Б е т е л л

КАТЫНЬ 1940

«Если человек сопротивлялся, палач, по-видимому, набрасывал ему на голову пальто и обвязывал веревкой шею — получалось вроде капюшона, — и волок его на край котлована; многие трупы найдены в таком виде, а пальто оказывалось простреленным в том месте, где оно покрывало череп. Те же, кто шли на смерть не сопротивляясь, видели, вероятно, самое чудовищное. Их товарищи лежали по краям обширного котлована, голова к ногам, словно сардины в банке, а в середине могилы более беспорядочно. Там и сям исполнители уминали трупы, тащили, топтались в крови, словно мясники на бойне. Когда всё было кончено, когда раздался последний выстрел и пробили голову последнему поляку, мясники (которых, может быть, обучали в юности сельскому хозяйству) предались невиннейшему из занятий — они стали разравнивать землю и сажать хвойные деревца поверх учиненной бойни».

Похоже на роман ужасов. В действительности это датированный 24 мая 1943 г. дипломатический отчет Оуэна О'Мэлли, тогдашнего британского посла при польском правительстве в изгнании, попытка реконструировать знаменитое побоище в Катыни и других местах на западе Советского Союза, где в 1940 г. было уничтожено 14500 польских офицеров. Более 30 лет слово «Катынь» символизирует зло, причиненное Польше советским правительством. Конечно, во вре-

мена Сталина совершались самые страшные преступления. Но и сегодня, возмущаясь тем, что советское кормило по-прежнему правит его страной, поляк чаще всего произносит слово «Катынь». Спустя десятилетия Катынь остается открытой раной в сердце поляка, преступлением, которое нельзя простить, — ведь виновники не признались в нем.

Эта история началась 17 сентября 1939 года, когда, согласно секретному соглашению с нацистской Германией и вопреки советско-польскому договору о ненападении, Красная Армия вторглась в Польшу. Страна была разгромлена за несколько дней, а значительная часть польской армии оказалась в советском плену. Во время военных действий польские офицеры подвергались дикой расправе, вплоть до уничтожения сдающихся в плен. Весь сентябрь советская авиация разбрасывала листовки, призывающие польских солдат восставать против своих офицеров и убивать их. Неудивительно, что пленных офицеров поместили в отдельные лагеря под особо строгую охрану.

Впрочем, в течение нескольких месяцев их не трогали, и они жили, вероятно, обычной жизнью военнопленных. Семьи, регулярно переписывавшиеся с ними, воспряли духом. Весной 1940 г. письма приходят перестали. Родственники офицеров забеспокоились, но не очень, поскольку советская почта никогда не отличалась надежностью, тем более, если речь идет о переписке заключенных с внешним миром.

Польша находилась под оккупацией, и для пленных вряд ли можно было что-нибудь сделать до лета 1941 г., когда Гитлер вторгся в Советский Союз. Сталин немедленно превратил поляков из врагов в союзников и предложил им сформировать армию на советской территории. Генерала Владислава Андерса привезли из тюремной камеры в роскошную московскую квартиру, обильно снабжаемую водкой и икрой, и объявили, что ему предстоит командовать этой новой

армией. Естественно, ему понадобились офицеры, его коллеги, от которых его отделили двумя годами раньше. «Где они?» — спрашивал он.

В течение нескольких месяцев из полярных и сибирских лагерей были освобождены сотни тысяч поляков — как бывших военнопленных, так и гражданских лиц, осужденных за «пособничество буржуазии», за то, что они являются «социально-вредными элементами» или просто за «попытку перехода границы» (советско-немецкой демаркационной линии). Но из 15 тысяч офицеров нашлось лишь несколько сот, переведенных из трех больших лагерей военнопленных (Козельск*, Старобельск, Осташков) в тюрьмы, концлагеря и в маленький лагерь в Грязовце не позднее марта-апреля 1940 г. Родственники и друзья неоднократно обращались с запросами. С августа по октябрь Польский Красный Крест направил советскому правительству 500 индивидуальных запросов о судьбах офицеров. Розысками занималось и польское посольство в Куйбышеве. Непоследовательность в ответах советских властей вызывала подозрение. В одном утверждалось, что все офицеры освобождены, в другом — что все они «уже в Германии», в третьем — что сведений не имеется. Однажды было сказано даже, что польские офицеры все бежали через границу... в Монголию. В октябре 1941 г. Молотов заявил польскому послу, что существует полный список офицеров и что все они будут доставлены польским властям «живыми или мертвыми».

Родственники начали опасаться худшего, однако точных данных не поступало до апреля 1943 г., когда нацисты объявили, что они обнаружили тысячи трупов польских офицеров в массовой могиле, совсем

* В Катынском лесу уничтожены офицеры из Козельского лагеря. Места гибели военнопленных из Старобельска и Осташкова пока неизвестны.

недавно засаженной молодыми хвойными деревьями, в 36 километрах от Смоленска, в Катынском лесу. Нацисты утверждали, что это дело рук НКВД. Советские власти заявили, что в преступлении виновно гестапо, и не скрывали своего возмущения, когда важные лица с польской стороны начали высказывать противоположные предположения, а премьер-министр Сикорский потребовал от Красного Креста провести расследование.

Незадолго до этого Сикорский завтракал с Черчиллем и сказал ему, что он располагает вескими свидетельствами, доказывающими ответственность Советского Союза. Главным стремлением Черчилля, однако, было сохранение единства союзников перед лицом нацистской Германии. Красная Армия только что одержала крупнейшую победу под Сталинградом. Британская 8-я армия совсем недавно разбила генерала Роммеля в Эль Аламейне, в Северной Африке. Черчилль заявил, что эти победы — «конец начала» войны, что теперь придется обороняться Германии. Ему казалось безумием рисковать столь великим делом из-за одного ужасного случая. «Если они мертвы, — сказал он Сикорскому, — то ничто не сможет вернуть их к жизни». Он употребил все свое влияние, пытаясь убедить Сикорского отказаться от расследования. Польский премьер-министр понимал, какой ущерб мог бы нанести открытый разрыв с Советским Союзом, но он испытывал огромное давление со стороны своих коллег. Многие члены его правительства потеряли родственников в Катынской бойне.

Расследование нанесло тяжелый удар лондонским полякам. Во-первых, был налицо факт массового убийства, то есть потеря 14 500 офицеров, значительной части руководящего слоя довоенной Польши. Во-вторых, стало очевидным, что это дело рук не врага, нацистской Германии, а их официального союзника. В-третьих — и многие сочли это самым страшным —

их британские покровители хотели, чтобы поляки молчали и не препятствовали лжи фигурировать в документах. А когда некоторые из них, будучи не в состоянии сдерживать себя, открыто говорили о своих подозрениях, то их обвиняли в нелояльности и даже в сотрудничестве с врагом. Так условия военного времени превращали невинных жертв в преступников.

Английский министр иностранных дел Антони Иден сообщил 19 апреля членам Кабинета, что он «сделал все возможное, чтобы убедить поляков рассматривать все это как затею немецкой пропаганды с целью посеять вражду между союзниками». 4 мая, отвечая на вопрос в Палате Общин, он говорил о «цинизме, позволяющем нацистским убийцам сотен тысяч невинных поляков и русских пользоваться сообщениями о массовых убийствах, чтобы пытаться вредить единству союзников». Когда от него потребовали ответа на вопрос об ответственности за убийства, он пошел еще дальше и сказал, что английское правительство «не хочет никого осуждать за эти события, кроме общего врага». Он не прямо сказал, что убивали нацисты, однако дал ясно понять, что дело обстоит именно так и что Англия его обсуждать не желает. «Чем меньше слов, тем скорее залечится рана», — прибавил он, едва ли понимая, что споры о Катыни переживут десятилетия и с новой силой вспыхнут в Лондоне через тридцать с лишним лет.

Вскоре в Англии начались нападки на поляков за то, что они осмелились обвинить советского союзника в подобном преступлении. «Я не встречал офицера, который не сожалел бы о том, что поляки заглотали немецкую приманку вместе с крючком, леской и грузилом», — писал Идену один консерватор, член парламента. А уж английские коммунисты, конечно, были во всеоружии, мобилизуя профсоюзы на проведение резолюций против польского правительства. «Мы не собираемся предоставлять убежище и поддержку тем,

кто способствует гитлеровской пропаганде против Советского Союза», — говорилось в одной из них, принятой тремя тысячами рабочих авиационного завода в Бирмингеме. На другой фабрике цеховые старосты потребовали отобрать у поляков их долю газетной бумаги и передать ее коммунистической газете «Дейли Уоркер». На заседании Кабинета 27 апреля Черчилль сказал: «Ни одно правительство, пользующееся нашим гостеприимством, не имело права публиковать такие статьи, которые противоречат генеральной политике Объединенных Наций и создают трудности для нашего правительства». 20 апреля «Правда» напечатала о Катыни статью под названием «Польские пособники Гитлера».

На той же неделе советский посол Майский говорил Черчиллю: «Поляки — народ смелый, но глупый, они никогда не умели устраивать свои дела. Их беспомощное правительство не могло понять, что безумно двадцатимиллионному народу провоцировать другой, численностью почти в 200 миллионов... В настоящее время некоторые министры Сикорского стремятся помочь немцам. Терпение России не неисчислимо». Черчилль ответил, что история «действительно зловещая». Ничего не сказав по поводу антипольских высказываний Майского, он повторил, что офицеры мертвы и что во внимании нуждаются живые поляки.

Удар, которого ждали, был нанесен в конце апреля. Сталин разорвал отношения с польским правительством в Лондоне. 8 мая он сказал английскому послу Кларку Керру, что Сикорский дал увлечь себя прогитлеровски настроенным людям, что он слишком слаб и не может им противиться. Польское правительство нуждается в «преобразовании», продолжал он. «Его теперешние члены не хотят жить в мире с нашей страной. Всю ненависть к царскому правительству они перенесли на советское правительство. Они не поняли, какие перемены произошли. Они упрямо на-

страивали одного союзника против другого... Они считали, что это разумно, но Бог не дал им ума».

Возмущение в официальных лондонских кругах усиливалось по мере появления новых и новых свидетельств о том, что офицеры действительно были истреблены весной 1940 г., больше чем за год до занятия этого района немецкими частями. Оуэн О'Мэлли собрал некоторые из этих свидетельств и включил их в свой отчет. Он отмечал, в частности, что письма неожиданно прекратились около мая 1940 года: «немцы продвинулись за Смоленск в июле 1941 г., и поэтому трудно ответить, почему, если хотя бы один из 10 000 поляков был жив с конца мая 1940 г. по июль 1941 г., никому не удалось переслать своим семьям ни строчки».

О'Мэлли отметил также противоречивость ответов советской стороны на запросы Польши в течение 1941 г. Если офицеры были освобождены, как утверждалось в одном из них, то почему никому из их числа не удалось установить контакт с польскими властями? Если убивали все-таки немцы, то в их руки должна была попасть вся масса офицеров, причем так, чтобы ни один не бежал. Могла ли состояться такая передача во время неразберихи июня-июля 1941 г., когда немецкие армии на всех парах продвигались по России? И почему все даты на бумагах и письмах, найденных при убитых, относятся к весне 1940 года? Единственное объяснение, соответствующее этим фактам, состоит в том, отмечает О'Мэлли, что офицеры истреблены в 1940 г., когда Катынь находилась в руках советских властей.

О'Мэлли также считал, что массовое уничтожение — не «трагическая ошибка», как, по некоторым сведениям, высказался один советский офицер в Москве, в пьяном виде беседуя с польским послом. Массовые убийства вряд ли могли произойти случайно. Сотни лет боролись Россия и Польша, последний раз они воевали совсем недавно, в 1920 г. Во время своих доре-

волюционных разъездов Сталин побывал в Польше и почувствовал нелюбовь поляков к России — к империи, в состав которой они входили. Еще важнее то, что в 30-х годах Польша стала убежищем для многих коммунистов-антисталинцев. По мнению Сталина, польская компартия превратилась в троцкистское гнездо, и в 1938 г. он распустил ее.

Сталин не мог не видеть в польском офицерском корпусе одну из главных сил довоенной Польши и потенциальную угрозу Советскому Союзу после войны. Если бы такие люди продолжали руководить страной, мог думать Сталин, то ему никогда не осуществить своей цели — создать «Польшу, дружественную к Советскому Союзу», проще говоря — Польшу под советским контролем. Поляки в Лондоне и О'Мэлли считали, что резня была не ошибкой, а продуманной акцией Сталина с целью обезглавить нацию и подготовить ее к той новой роли, которую он ей предназначил.

О'Мэлли был согласен с тем, что в чрезвычайных обстоятельствах войны правительство Черчилля имело единственный выход — принять советскую версию; однако он чувствовал себя обязанным подчеркнуть ту нравственную опасность, которая вытекает из заведомо обманного, хотя и неизбежного образа действий: «Что касается гласности в Катынском деле, то мы здесь сталкиваемся с ограничениями, продиктованными насущной потребностью хороших отношений с советским правительством; мы оказались в таком положении, когда нам пришлось оценивать улики с большей нерешительностью и снисходительностью, чем если бы мы судили с позиции здравого смысла о событиях мирного времени или нашей частной жизни; нам пришлось, выступая перед общественностью, исказить нормальное и здоровое проявление наших рациональных и нравственных суждений; нам пришлось выпячивать бестактность или возбуждимость поля-

ков, удерживая их от ясной обрисовки дела перед общественностью, препятствовать любым попыткам общественности и печати до конца расследовать безобразную историю. В общем, мы оказались вынужденными отвлекать внимание от всего, что при нормальном течении дел настоятельно требовало бы объяснения, и скрывать полную меру озабоченности, которую в иных обстоятельствах мы проявили бы в отношении известных нам лиц, оказавшихся в том положении, в каком теперь очутилось большое число поляков. Волей-неволей мы использовали доброе имя Англии, точно так же, как убийцы использовали деревца, чтобы прикрыть учиненную ими бойню».

Избрав этот курс, продолжает О'Мэлли, Британия рискует попасть в число тех, осужденных Св.Павлом, кто видит жестокость и «не возгорается». Но что делать, если допустить, что у Англии не было другого пути и что решение скрыть правду из-за чрезвычайного положения было политически правильным? Он ограничивается одним-единственным предложением: «Быть может, в настоящее время ответ таков: что-то должно совершиться в наших сердцах и умах, где мы хозяева. По меньшей мере здесь мы можем в какой-то мере компенсировать содеянное, подтвердив нашу преданность истине, справедливости и состраданию».

Из документов видно, что даже в 1943 г. большинство британских официальных лиц соглашалось с точкой зрения О'Мэлли, хотя публично, разумеется, они должны были поддерживать советскую версию. Молодые чиновники, а позднее английские послы Денис Аллен и Фрэнк Робертс писали, что следует принять «презумпцию виновности» советского правительства. Александр Кадогэн, глава Министерства иностранных дел, писал: «Очень тревожно. Признаюсь, я малодушно отворачиваюсь от Катыни, страшаюсь того, что я мог бы там найти... Это событие зловеще и по своим

отдаленным политическим последствиям. Если вину русских считать установленной, то можем ли мы ожидать, что новые поколения поляков будут жить в дружбе с русскими? Боюсь, что ответа на этот вопрос нет». Кадогэна также тревожила мысль, что по окончании войны союзники, в том числе Советский Союз, арестуют и казнят нацистских военных преступников. Смогут ли они пойти на это, забыв о катынских зверствах? «Признаюсь, проглотить такое чрезвычайно трудно», — писал Кадогэн. Он, разумеется, проглотил, и Нюрнбергский процесс состоялся, как он и предсказывал.

Сразу после окончания войны лондонские поляки начали оказывать давление на англичан, чтобы те пересмотрели свое отношение к Катыни. Война выиграна, необходимость в чрезмерно вежливых отношениях с советским правительством отпала, однако теперь появился новый фактор, удерживающий Англию от раскрытия всей правды: необходимость сохранять добрые отношения с Советским Союзом. Именно этим доводом отныне пресекали непрекращавшиеся требования поляков. Официальные лица считают, что, «копаясь в прошлом», ничего не достигнешь. Они по-прежнему руководствуются поговоркой: чем меньше слов, тем скорее залечится рана.

В 1952 г. комитет Мэддена при Конгрессе США заявил, что бойня произошла в 1940 г. и, следовательно, НКВД несет за нее ответственность. Однако сменявшиеся правительства Великобритании отказывались изменить позицию, выработанную в 1943 г. В 1971 г. один английский министр сказал в конце дебатов о Катыни, что его правительство не имеет «абсолютно никакого права поднимать этот вопрос». Он прибавил, что коммунистическое правительство Польши объявило дело закрытым, и это мнение, безусловно, следует уважать.

Очень немногие поляки согласились бы с минист-

ром, что взгляды нынешнего польского правительства на Катынское дело заслуживают какого бы то ни было уважения или имеют хоть какое-то значение. Они и не могут представить себе, что советское правительство когда-либо позволит сказать о нем правду (несмотря на слухи о том, что Никита Хрущев собирался взять такой курс в ходе десталинизации, да только Владислав Гомулка его отговорил), и ожидают от Англии подтверждения того факта, который они всегда считали неоспоримым: Катынское побоище устроено НКВД.

В самом деле, по замечанию О'Мэлли, Великобритания прикрыла массовые убийства своим добрым именем. Если бы не ее позиция в 1943 г., никто не поверил бы в советскую версию ни на минуту. Поэтому, по мнению поляков, Англия — как раз та страна, которая лучше других способна правильно осветить исторические факты. Из-за особых отношений с польским правительством в Лондоне в 1943 г. ее архивные материалы по этому делу обширны и, надо думать, исчерпывающи.

В сентябре 1976 г. английская политика умолчания о Катыни прошла свое самое суровое испытание. В течение нескольких лет поляки, живущие на Западе, собирали деньги на памятник жертвам побоища. После многих трудностей было получено место на кладбище в Лондоне, находящемся в ведении муниципалитета Кенсингтон. Церемонию назначили на 18 сентября. Предстояло впервые публично почтить память погибших; летом был сооружен обелиск с выразительной надписью: КАТЫНЬ 1940.

Советские власти знали о намерении поляков и в течение нескольких лет пытались предотвратить его осуществление. Джулиан Эмери вспоминает, что летом 1972 г., когда он был одним из статс-секретарей Министерства иностранных дел, советское посольство просило тогдашнее консервативное правительство упо-

требить всё свое влияние и расстроить планы поляков. «Нам это преподнесли как чрезвычайно важное требование», — говорит Эмери. Он извлек все документы Министерства на этот счет, причем многие из них всё еще классифицировались тогда как совершенно секретные. «Стало совершенно ясно, — говорит он, — что Советский Союз ответственен за бойню». Эмери сообщил советскому посольству, что не может вмешиваться в решения местных властей, предоставивших место на кладбище.

В начале 1976 г. давление возобновилось. Советское и польское посольства вручили не меньше десяти протестов и представлений. Польский посол Артур Старевич лично протестовал в письме на имя мэра Кенсингтона. Угрожающее письмо направил советник посольства СССР в Лондоне Владимир Семенов. В письме, в частности, говорится: «Ваш ответ вызывает крайнее сожаление, поскольку вы хорошо осведомлены о провокационной цели организаторов «мемориального проекта», пытающихся воскресить злобную ложь геббельсовской пропаганды, состряпанную для прикрытия преступлений нацистов. Надпись на «мемориале», одобренная, по вашим словам, Советом, полностью клеветническая, поскольку она повторяет зады геббельсовской лжи по адресу союзника Англии во Второй Мировой войне, чтобы возложить вину за катынские жертвы на Советский Союз. Располагая всеми фактами, Совет таким образом принимает на себя ответственность за эту провокацию, которая вызывает возмущение народа нашей страны. Нам хотелось бы думать, что, поскольку «проект» еще не реализован, Совет найдет способ этому воспрепятствовать».

Грубое письмо г-на Семенова не повлияло на местные власти, а советский и польский послы не смогли убедить правительство вмешаться. Возможно, они не понимали как пределов центральной власти в демокра-

тической стране, так и того, что правительству было бы трудно предотвратить церемонию, даже если бы оно этого желало. Запугивающие письма лишь усилили решимость строителей мемориала и еще раз привлекли внимание общественности.

Однако письма произвели некоторое впечатление в Министерстве иностранных дел. Советский посол дал ясно понять, что это дело огромной важности и что англо-советские отношения пострадают, если церемония состоится. Положение Министерства усложняла и его позиция в прошлом: оно извратило правду в 1943 г. и ничего не предпринимало для восстановления истины в течение 33 лет. Чувствуя свою слабость, оно решилось на компромисс. Ничего не сделав для предотвращения сентябрьской церемонии, Министерство не допустило официального английского представительства на него.

Итак, летом 1976 г. стало ясно, что на открытии мемориала в честь 14 500 офицеров союзнической страны не будет ни одного английского министра, ни одного представителя гражданских властей, ни одного офицера высокого ранга от вооруженных сил. Английский военный оркестр, который обещал участвовать в церемонии, принудили взять назад свое обещание. Офицерам действительной службы объявили, что им нельзя присутствовать на ней в форме даже в индивидуальном порядке.

Министр обороны Рой Мэсон пояснил, что надпись КАТЫНЬ 1940 является обвинением, которое советское правительство отвергает, и что «было бы ошибкой нашего правительства подтверждать одно из существующих по этому вопросу мнений, посылая своих представителей на торжественное открытие». Присутствие старшего английского офицера означало бы «вовлечение вооруженных сил в политически спорное дело». Позднее представитель Министерства иностранных дел сделал поразительное заявление: «Прави-

тельству Ее Величества никогда не были предоставлены удовлетворительные доказательства того, кто несет ответственность (за побоище). Мы не располагаем бесспорными данными, которые мы могли бы предъявить в случае надобности, чтобы доказать ответственность русских».

Это заявление вызвало тревогу во многих английских кругах. Оно противоречило откровенным высказываниям Джулиана Эмери о том, что хранится в архивах МИДа, ясно выраженным убеждениям всех чиновников Министерства, касавшихся этого дела в 1943 г., единодушному приговору компетентных западных историков и даже многочисленным высказываниям в частных беседах нынешних руководителей ПНР, у которых нет никаких сомнений в виновности НКВД, даже если они публично утверждают обратное.

Под заголовком «Клеймо Катыни» «Таймс» писала в передовой статье: «В течение 30 лет после войны опубликовано достаточно материалов, чтобы убедить всякого — если только он не убежденный апологет Советского Союза, — что уничтожение произошло в 1940 году, то есть тогда, когда Катынь была не под немецким, а под советским контролем». На церемонии открытия один из организаторов проекта сказал, что надпись КАТЫНЬ 1940 «запечатлела на камне ту часть правды, которую пытаются отрицать только виновные, невежественные и подлецы».

Итак, на кладбище в западной части Лондона стоит обелиск, памятник и обвинение вместе, стоит словно перст, указующий не только на советское правительство — организатора убийств, не признающего своей вины, не раскаивающегося и поэтому не заслуживающего прощения, — но и на сменявшие друг друга правительства Англии, 33 года повторявшие ложь и использовавшие авторитет страны для прикрытия

массового убийства подобно тому, как «убийцы использовали хвойные деревья».

В 1970 г., когда германский канцлер Вилли Брандт посетил Варшаву, он попросил особого разрешения возложить венок в память жертв Варшавского гетто. После церемонии канцлер опустился на колени, склонил голову и две минуты хранил молчание — в память евреев, убитых нацистским правительством. Этот жест вызвал глубокие чувства в Польше и немало способствовал тому, чтобы поляки смогли простить Германии преступления, совершенные при Гитлере.

Если бы Леонид Брежнев преклонил колени в память офицеров, убитых НКВД в 1940 году, то польский народ, быть может, нашел бы в своей душе прощение этому страшному преступлению. Однако пока этого не случится, пока советское правительство не сможет посмотреть правде в глаза и просить о прощении, рана остается открытой и поляки продолжают лелеять ненависть.

ПРИРОДА СОВРЕМЕННОГО ТЕРРОРА

В развитых странах Запада, в Южной Америке и на Ближнем Востоке политический терроризм стал обыденным явлением. Однако тезис о том, что террористическая война — один из специфических видов войны, упорно опровергается, — прежде всего представителями левых и либеральных сил. В особенности левые тотчас же пытаются приписать государственной власти намерение воспользоваться этим тезисом для того, чтобы лишить граждан записанных в законе основных прав.

Прежде всего уясним главные понятия. Террористическая война есть ни что иное, как война гражданская. Тем не менее лишь термин «гражданская война» является привычным и употребительным.

Чтобы ввести читателя в сложно переплетающуюся ткань международного терроризма, охватывающие едва ли не весь мир связи и взаимодействие террористов я попытаюсь осветить на примере двух конкретных личностей. Одна из них — южноамериканский террорист Карлос Рамирес, бесследно скрывшийся после нападения на штаб-квартиру ОПЕК и похищения одиннадцати министров стран-экспортеров нефти, которые в этот момент находились в Вене на конференции этой организации; вторая — боец японской террористической «Красной армии» Юн Нишикава, участвовавший в драматическом захвате заложников в Гааге 13 — 19 сентября 1974 года. Трое японцев захватили тогда в голландской столице французского посла и одиннадцать сотрудников посольства, чтобы в обмен на их жизни добиться освобождения арестованного во Франции японского террориста Йошиаки Ямада. Их террористическая акция увенчалась успе-

хом; готовил ее уже известный нам венесуэлец Карлос Рамирес.

В той точке, где пересекаются жизненные пути и боевые акции террористов, пластично выступают их международные связи, с подобным кинематографическому эффектом проходят перед глазами отдельные детали мировой анархической мозаики. Чтобы вникнуть в эти детали, необходимо терпения не меньше, чем в анатомическом театре.

Индивидуальные террористические «перегибы» известны в истории с незапамятных времен, в том числе и местный анархистский терроризм снизу против репрессивного террора несоразмерно авторитарной государственной власти сверху. Имей мы, однако, и сегодня дело с явлениями подобного рода, говорить о мировом терроризме было бы по меньшей мере неуместно.

Уяснив коллективное, выходящее за рамки индивидуальных мотивов предрасположение к терроризму, можно приступить затем к обрисовке этого феномена и его специфических закономерностей. При этом особо обращают на себя внимание следующие моменты:

- своими истоками современный терроризм уходит к западному анархистскому студенческому движению, начало которого датируется 1965 годом;
- в проводимых террористами акциях видную, возможно даже стимулирующую, а по линии поведения во всяком случае безоговорочно эмансипированную роль играют женщины;
- состоятельный средний класс западных стран представляет собой основной слой, из которого рекрутируются кадры террористов;
- политическая мотивация терроризма порождает необыкновенно широкие и «квалифицированные» круги

сочувствующих — преимущественно в интеллектуальной среде;

- и, наконец, варварской беспощадностью своих действий, а вместе с тем их изощренностью и остроумной утонченностью, террористическое подполье бросает непривычно дерзкий вызов силам безопасности любой страны.

По сравнению с мерами борьбы против уголовных банд или преступников-одиночек, подавление современного терроризма требует совершенно иных средств. Террористическая война ведется, так сказать, на высоком интеллектуальном уровне.

Основные понятия

Термин «террористическая война» не столь употребителен и привычен, как «гражданская война» или «террор». Этот термин — искусственное словообразование, которое лишь еще более выразительно подчеркивает, что государственные границы уже не являются единственной и исключительной линией разграничения для военных действий того или иного рода.

В войне между государствами достижение поставленных военных целей включает в себя задачу пересечения границы. Это война, в которой воюющими сторонами являются государства.

В противоположность этому, гражданская война означает внутренний распад государственного организма, раскол по меньшей мере на два вступающих в ожесточенную борьбу лагеря. Гражданская война — это процесс умирания нации, который, однако, не обязательно завершается ее смертью. Раскол может быть преодолен — в один прекрасный день даже в Германии, что прежде всего зависит от моральной силы немецкого народа.

Исходя из сказанного, всеобщая террористи-

ческая война есть расширение гражданской войны до глобальных масштабов.

Сформулировать определение террора намного легче, чем террористической войны. Это слово очень старое, происходящее от латинского «terror», что примерно означает «мучительный, парализующий ужас». По определению Фридриха Гаккера, компетентно высказавшегося в одном из своих трудов по этому вопросу, под террором с незапамятных времен подразумевалось применение господствующей верхушкой насильственных мер подавления и устрашения, тогда как терроризм представляет собой подражание и практическое применение террористических методов со стороны (по меньшей мере временно) бесправных, презираемых и отчаявшихся, пришедших к убеждению, что никаким другим образом, кроме применения силы — и при этом вне всяких рамок и правил, — они не могут добиться удовлетворения своих притязаний.

Но в связи с поставленной нами темой нас интересует не столько «террор сверху», сколько «терроризм снизу».

Возникновение третьего основного понятия — «герилья» (именно этот термин получил распространение в западноевропейских языках для обозначения современного террористического подполья) — однозначно связано с одним конкретным моментом европейской истории. Когда испанцы (еще до того, как Пруссия вступила в героическую борьбу за освобождение Германии) в 1808 году восстали против французской оккупации, они изобрели свою, иберийскую форму «малой войны»: предвосхищая сформулированный в наши дни Мао Цзэ-дуном лозунг «плавать в народе, как рыба в воде», вооруженные отряды испанских партизан («герильерос») атаковали французов и сразу же после схватки быстро отходили с места боя. При этом отход завершался полным роспуском вооруженных групп, которые буквально растворялись в родном

окружении, чтобы затем — по первому сигналу — сбросив защитную оболочку, вновь сформироваться для концентрированных ударных действий.

Этот основной методический принцип партизанской войны остался неизменным до наших дней. Изменилось другое: мысленный знак перед герильей как формой борьбы. Современная партизанская война ведется не во имя нации, а во имя идеологии! И именно это диктует цель освободительной борьбы. Рамки «малой войны» — в отличие от войны «большой», территориальной — сохранились в двоякой форме: сельской и городской герильи или, как мы будем называть их по-русски, сельских и городских партизан.

Источником вдохновения для сельских и городских партизан мировой гражданской войны служит Латинская Америка, сложившиеся на этом континенте образцы и условия. Правда, на протяжении какого-то времени представлялось вероятным, что в Европе и Соединенных Штатах, т. е. в питательной среде современных развитых стран Запада, сформируется партизанское движение по образцу Восточной Азии.

Но воспроизведение азиатского образца потерпело неудачу по двум причинам: во Вьетнаме, с 1964 года притягивавшем к себе все помыслы левых сил в Европе, активно действовало сельское партизанское движение, построенное по успешному китайскому образцу. В «городской» Европе для этого недоставало предпосылок.

И второе: заложив основу для внешнеполитического компромисса с маоистским Китаем, администрации Никсона-Киссинджера удался решительный выпад, лишивший западных прокоммунистических левых воспетого кумира: их идол Мао Цзэ-дун утерял свою святость. В XX веке непростительное предательство...

По моему убеждению, именно это глубокое разочарование своей буквально мировой масштабностью оживило террористическую сцену в Европе.

Европейский терроризм начинает искать и находит устраивающие его методы в Латинской Америке. Но глубокую инспирацию, которая особенно в Германии всегда была нужна как стимул для беспощадных и подлых деяний, террористическое подполье черпает из воспринимаемого с экзистенциалистских позиций нигилизма разочарования.

Результат этого процесса — террористическая война «отчаявшихся теоретиков» (Г. Бёлль) в Западной Европе. Разочарование порождает распад надуманной действительности.

Интернациональное братство террористов

27 июня 1975 года, вскоре после наступления темноты, трое сотрудников французской службы безопасности — старший комиссар Эрран и агенты контрразведки Ду и Донатини — вошли в один из жилых домов на рю Туйе в Париже. Вместе с ними был подследственный — ливанец Мукарбель, 9 июня задержанный полицией и вновь выпущенный на свободу в Бейруте, 21 июня арестованный в Лондоне, высланный затем во Францию и здесь вновь взятый под стражу.

В багаже Мукарбеля было обнаружено 10 килограммов хлористого поташа и металлический предмет, внешне похожий на шариковую ручку, а на самом деле предназначенный в качестве взрывателя. Как известно, хлористый поташ может быть использован при изготовлении зажигательных и взрывчатых смесей для начинки бомб.

Еще 25 июня в квартире, где хранился багаж Мукарбеля, французская полиция задержала одного западногерманского гражданина, имевшего при себе два удостоверения личности — на имя Вильфрида Бёзе и Акселя Клаудиуса. Задержанный оказался человеком, разыскиваемым в Федеративной Республике Германии

в связи с незаконным хранением оружия. На допросе Бёзе-Клаудиус показал, что удостоверения личности он получил во Франкфурте-на-Майне от некого Карлоса.

Когда Мукарбеля ознакомили с показаниями Бёзе и пообещали, что если он «пойдет навстречу» следствию, то и следствие, в свою очередь, позаботится о его безнаказанности, Мукарбель изъявил готовность отвести полицию в квартиру, где, вероятно, можно получить информацию о местопребывании Карлоса.

Никто из трех агентов полиции, вступивших в тот вечер в квартиру, снятую на имя венесуэлки Нэнси Санчос Фалькон, не имел при себе оружия.

В квартире в это время находились два венесуэльских студента, одна студентка и человек, который, собственно, и был нужен полиции — Санчос Ильич Рамирес, по кличке Карлос. Едва Мукарбель опознал Карлоса, как тот тотчас же открыл огонь: Мукарбель, Ду и Донатини были на месте убиты, старший комиссар Эрран — тяжело ранен, но все же сумел уйти. В бегство обратился и сам Карлос, который до сих пор находится на свободе.

После того как Карлос скрылся, полиция установила наблюдение за квартирой на рю Туйе. В этой квартире были замечены: гражданка ФРГ Ульрика Шанц, подозреваемая в оказании активной помощи палестинским террористам; француз Жан-Мари Лелё, связанный близкой дружбой с Сертанией Менезес, будто бы поддерживавшей связь с революционной «Национально-освободительной армией», действующей в Аргентине; венесуэлец Луис Гонсалес Дук, который уже с 1964 года участвовал в подпольных акциях левозкстремистской венесуэльской организации МИР.

Уже на первых допросах Гонсалес сообщил следствию, что к числу его друзей относились некоторые работники посольства Кубы в Париже. Десять дней спустя из Франции были высланы три кубинских дипло-

мата, оказавшихся агентами «Дирексион Женераль де Интелихенсиа». Эта «Дирекция» тесно связана с советским КГБ; выдворенные из Парижа кубинцы регулярно поддерживали связь с Карлосом; двое из них входили в число друзей Гонсалеса.

Первую информацию о личности Карлоса французская полиция получила от одного англичанина и его испанской подруги, которые по помещенному в газете описанию опознали в неизвестном некоего Карлоса Мартинеса, венесуэльского «коммерсанта», побывавшего у них в гостях в мае 1975 года. В чемодане, который он оставил на хранение в квартире мистера Берри Вудхемса, полиция обнаружила оружие и взрывчатку.

Кроме того, в чемодане оказались документы, на основании которых полиция, наконец, смогла установить его личность. Спасшийся бегством террорист оказался Ильичом Рамиресом Санчесом, сыном состоятельного венесуэльского адвоката, открыто признающего себя приверженцем коммунистической идеологии и до февраля 1975 года проживавшего в Лондоне, в респектабельном районе Кенсингтоун (трем своим сыновьям адвокат дал имена «Владимир», «Ильич», и «Ленин»).

В 21 год «Ильич» стал студентом университета имени Патриса Лумумбы, основанного в Москве полтора десятилетия назад и широко известного в качестве центра по подготовке молодых революционных кадров для стран третьего мира. Руководство этим университетом осуществляется непосредственно ЦК КПСС.

В 1969 году Карлос — якобы за антисоветскую деятельность — был выдворен из Союза. Однако истинные причины его высылки неизвестны. От случая к случаю советские органы безопасности прибегают к этому тактическому приему по отношению к людям, которые впоследствии за рубежом работают на КГБ.

Частично это люди, подписавшие соответствующие обязательства еще в России; частично — те, которых по тем или иным причинам приходится призывать к порядку шантажом.

Так или иначе, но уже с 1972 года Карлос участвует в террористических акциях. Непосредственно на его счет полиция относит покушение на видного представителя английского еврейства и владельца крупной сети магазинов Джозефа Сифа в декабре 1973 года, попытку убийства югославского дипломата в Лионе, взрыв бомбы, заложенной в одном драгсторе в Париже, и участие в захвате заложников во французском посольстве в Гааге, в результате которого трое японских террористов добились освобождения бойца японской «Красной армии», отбывавшего заключение во Франции.

Через десять дней после выстрелов на рю Туйе становятся известны новые детали, касающиеся Карлоса, а вместе с ним и Мукарбеля. Представитель «Народного фронта освобождения Палестины» (НФОП) заявил в Бейруте, что Карлос — старый член этой организации, а Мукарбель был ее «казначеем» (однако, в действительности, скорее всего — шефом центра этой организации в Париже).

По словам представителя НФОП, Карлосу было дано задание под руководством Мукарбеля и по указаниям «Фронта» готовить террористические акты во Франции, Англии и других европейских странах. 9 июня 1975 года, перед отлетом в Париж, Мукарбель был якобы арестован в Бейруте и подвергнут пыткам в присутствии агентов французской и американской службы безопасности. После этого будто бы было решено позволить Мукарбелю вылететь во Францию. Здесь систематически прослушивались все его телефонные разговоры с Бейрутом, во время которых речь зачастую шла о некоем Карлосе. По версии НФОП, Мукарбель намеренно привел французских контрразведчи-

ков к прошедшему отличную выучку убийце в квартиру на рю Туйе, чтобы тем самым облегчить бегство Карлоса.

Тем временем на найденной в вещах Мукарбея и принадлежавшей ему чековой книжке французская полиция обнаружила запись с адресом одной колумбийки по фамилии Маснеле и американки по фамилии Армстронг. В снимаемой обеими девушками квартире на рю Амели был найден чемодан с рядом очень важных документов, еще более раскрывавших характер личностей Карлоса и Мукарбея. Но самое главное: в чемодане оказалась хранившаяся в тщательном порядке финансовая отчетность террористической группы. Из найденных счетов, авиационных билетов, счетов бюро путешествий и автопрокатных фирм однозначно вытекает, что во время подготовки и проведения террористических налетов, о которых мы говорили выше, Карлос находился в Париже, Амстердаме, Гааге, Лионе, Лондоне и Цюрихе.

Вместе с тем на рю Амели было сделано немало других интересных находок.

Так, полиция обнаружила здесь американскую ручную гранату типа М 26 и пакет со взрывчаткой, на котором типографским способом была выполнена надпись «US felex X». Как выяснилось впоследствии, и то и другое было украдено немецким террористом Баадером с американского военного склада в Мезау в Нижней Саксонии.

Точно такие же гранаты были использованы террористами при захвате заложников в Гааге 13 сентября 1974 года и налете на драгстор в парижском квартале Сен-Жермен два дня спустя, во время которого погибло два человека; обе акции проходили при участии Карлоса.

Американские ручные гранаты типа М 26 попали в руки парижской полиции и при обыске автомашины,

принадлежавшей одному японцу, личность которого так и не удалось идентифицировать.

В одном из чемоданов на рю Амели было найдено специальное реле, предназначенное для взрывателя замедленного действия. Такие же реле были конфискованы при аресте группы палестинцев 20 и 21 декабря 1973 года в Вилье-сюр-Марн. Полиции тогда удалось арестовать двух палестинцев, десять турок и трех алжирцев, один из которых служил в Париже живым «почтовым ящиком» НФОП. В вещах арестованных полиция нашла 20 килограммов пластиковой взрывчатки, 31 взрыватель, 18 ручных гранат, 18 реле замедленного действия и учебные инструкции по организации засад.

Письменные материалы в вещах Мукарбея содержали упоминания о ряде других террористических актов, временно отложенных или не реализованных вообще по техническим или тактическим причинам:

- на август-сентябрь 1974 года планировалась акция (похищение или убийство) против посла Объединенных арабских эмиратов в Лондоне Михди эль-Джабера;
- в 1973 году некий Михаэл Архамидес Докси, грек, получавший указания из Парижа, должен был подложить бомбу в израильском международном аэропорту Лод в Тель-Авиве. Докси отказался выполнить задание и в 1975 году попросил политического убежища в Швеции;
- без указания дальнейших подробностей в записях упоминалась «Акция Израиль», на выполнение которой из группы Мукарбея выехало 8 человек (возможно, имеется в виду налет террористов на гостиницу «Савой» в Тель-Авиве 5 марта 1975 года, когда погибло 18 человек);
- записи о наблюдении за израильским посольством

в Париже с 23 ноября 1974-го до конца января 1975 года. В одном из найденных списков перечисляются все здания, в которых расположено посольство, а также номера автомашины самого посла (CD 159) и других сотрудников. Не исключено, что это наблюдение велось в связи с планом убийства или похищения израильского посла во Франции Бен-Натана. Соответствующие записи, указывающие на существование такого плана, были уже найдены в записной книжке Мукарбея, конфискованной в Бейруте. Кроме того, в подробности этого плана Карлос посвятил Сильву Ампаро, которая на допросе показала, что операция должна была состояться в январе или феврале 1975 года. На посла, совершенно явно, предполагалось напасть прямо в его машине. Чрезмерные технические трудности заставили террористов отказаться от этого плана.

Что касается самого Карлоса, то столь «урожайная» в смысле открытий и находок квартира на рю Амели обогатила следствие списком лиц, которые по-видимому, должны были стать будущими жертвами подготавливаемых им покушений. В их числе оказались: Энтони В. Бэн, член британского кабинета и представитель крайне левого крыла правящей лейбористской партии, писатель Джон Осборн, жена египетского президента Джехан Садат, певица Вера Линн и известный своими умеренными взглядами министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии шейх Яммани (когда этот последний оказался в руках террористов, совершивших налет на штаб-квартиру ОПЕК, Карлос действительно угрожал ему смертью). Кроме того, записи содержали некоторые указания, свидетельствовавшие о подготовке диверсионного акта в Суэцком канале: бомбой замедленного действия террористы предполагали взорвать какое-нибудь судно,

когда оно будет находиться в самом узком месте этого водного пути.

Анджела Армстронг, любовница Луиса Гонсалеса Дука, сообщила на допросе, что на следующий день после того, как Карлос застрелил трех человек на рю Туйе, она в 10.45 утра «случайно» встретила его на городском аэровокзале на площади Инвалидов (А. Армстронг провожала свою маленькую дочь, улетавшую без матери в Лондон). Карлос был будто бы крайне растерян, но тем не менее подробно рассказал ей о случившемся накануне. По его собственным словам, он «убил двух полицейских и того, кто его предал (Мукарбея), и теперь вылетает на Ближний Восток, чтобы раздобыть новые документы для дальнейшего пребывания в Париже».

Однако вопреки всем этим сведениям и находкам на рю Амели, выследить Карлоса оказалось невозможно.

Проведенное органами безопасности широкое следствие позволяет прийти к следующим выводам.

Францию, и прежде всего Париж, следует считать европейской штаб-квартирой оперирующего в широких мировых рамках политического терроризма. Именно здесь сходятся нити, связывающие латиноамериканских, арабских, западногерманских, баскских и итальянских экстремистов.

Основным ядром и движущей силой, вдохновляющей и спланирующей террористов, представляется «Народный фронт освобождения Палестины», возглавляемый бывшим детским врачом Жоржем Хабашем. Стратегическая ставка этого движения находится в Багдаде; в Бейруте — как вытекает из материалов, обнаруженных в вещах Карлоса и Мукарбея, — расположена политическая штаб-квартира, а оперативным центром является Париж.

Анализ акции по захвату заложников в Гааге (13 — 19 сентября 1974 года) однозначно указывает на

тесное сотрудничество между палестинским «Народным фронтом», включая его оперативную базу в Париже, и японской «Красной армией». Взаимодействие этих двух составляющих, образующих в сумме взрывчатую смесь совершенно незаурядной силы, четко прослеживается почти во всех террористических актах, начиная с 1973 года. В их числе мы находим:

- так наз. инцидент в Граве, когда 4 марта 1973 года при попытке контрабандой ввезти во Францию оружие и взрывчатку были арестованы три иорданца и один англичанин;
- угон одним японцем, двумя арабами, двумя европейцами и двумя латиноамериканцами в июле 1973 года самолета «Боинг-747» японской авиакомпании «Джапан Эрлайн»;
- захват смешанной террористической группой 5 сентября 1973 года здания посольства Саудовской Аравии в Париже;
- раскрытие в июле и сентябре 1974 года конспиративной арабской «Красной армии», состоящей из японцев, французов и бразильцев. По ходу этой операции в руках полиции оказались планы подготовки покушений на ряд японских фирм и их представителей в гор. Дюссельдорфе (ФРГ);
- проведенные 3–4 августа 1974 года многонациональной по своему составу группой террористов акты бомбового террора против французских газет «Орор», «Минют» и «Л'Арш»;
- и, наконец, совместные нападения немецких и арабских террористов на самолеты израильской авиакомпании «Эль-Аль» в парижском аэропорту Орли (обстрел израильских самолетов из безоткаточных орудий типа «базука» 13 и 19 января 1975 года).

Анализ изложенных выше деталей облегчит ответ на вопрос о том, действительно ли наступила эра террористической войны.

Если на происходящее смотреть со стороны, то многое говорит в пользу этого.

Террористическая активность носит всеобъемлющий характер, проходит на наступательных и оборонительных рубежах, пересекающих континенты; средства связи и системы снабжения и обучения террористов образуют подобие сети, раскинувшейся между отдельными опорными пунктами, и они совершенствуются на базе широкого многонационального опыта. В фокусе взятых нами примеров находится деятельность так наз. «Народного фронта освобождения Палестины» (НФОП). Но наряду с ним, существуют и другие центры подобного рода — правда, действующие не со столь выразительным международным эффектом.

Однако решающим для определения понятия мировой гражданской войны является сочетание внешних проявлений и внутренних мотивов.

Мотивом, стимулирующим действия радикальных палестинцев, является их стремление уничтожить Израиль и создать палестинское государство. Таким образом, речь в данном случае идет не об анархизме, а о классической освободительной борьбе. Терроризм здесь — не самоцель и не служение утопии, но средство для достижения национальной цели. Другими словами, радикальные палестинцы не ставят перед собой задач мировой гражданской войны, но исключительно свои «национальные» задачи.

Однако, чтобы добиться широкого мирового воздействия, освободительный фронт должен прибегнуть к другим мотивам, в изобилии предлагаемым ныне международным революционным подпольем. Два вида мотивации представляются в этом плане особо «заразительными»: порожденный благосостоянием

анархизм в Европе, пытающийся найти себе оправдание в гуманно-утопических представлениях, и нигилистический анархизм в Японии — чистейший культ насилия.

Анархизм, пустивший, кстати, метастазы и в Соединенных Штатах, избрал своим девизом мировую революционную войну. Конечные представления и цели его апостолов не выходят за рамки разрушения существующей государственной, общественной и моральной структуры. Вооруженные в своем большинстве крайне смутной марксистской критикой капитализма, революционеры отмежевываются от любых традиционных представлений об общественном порядке.

Основной слой, из которого рекрутируется пополнение анархистов, — это европейская, северо- и южноамериканская буржуазия, находящаяся ныне под угрозой морального и духовного разложения. Кризис протекает в интеллигентной среде. В Южной Америке еще наблюдается ренегатство в самом серьезном смысле этого слова: социальный конфликт представляет достаточно импозантный мотив. В районах земного шара, где отсутствуют разительные социальные противоречия, отправным пунктом служит не истинно пережитое, но подражание на основе сознательного акта.

Взлет борьбы за мировую революцию есть исходное условие для анархизма в обществе благоденствия.

Или, — говоря наоборот, — борьба за мировую революцию вынуждена базироваться на политических полномочиях, олицетворяемых борьбой за национальное освобождение и социальную справедливость. Именно они, эти политические полномочия, вливают свежую кровь в ее худосочные артерии.

Каждый отдельный бой, каждая отдельная стычка идеологически обобщаются как часть освободительной борьбы мирового пролетариата. Красное знамя реет надо всем и вся. Все силы — Вьетнаму, Палести-

не, Чили, Анголе. Баски и ирландцы — сподвижники и братья, Анджела Дэвис, Че Гевара, Кастро, Хо Ши Мин — мадонны и святые. Или, перефразируя Ницше, вместо любви к ближнему, «любовь к дальнему».

Невротическая непреложность, с которой прошлое и настоящее общества ощущаются как нечто априори несправедливое, а стало быть и неприемлемое, порождает надломленное отношение к истории и действительности. А это, в свою очередь, неременная предпосылка для любого, последовательно претворяемого в жизнь анархизма. В противном случае преграда, отделяющая анархизм словесный от анархизма действия, непреодолима. В качестве посредника тут выступает идеолог.

Остатками исторического бюргерства, которое, по оценке немецкого историка Эрнста Нольте, некогда олицетворяло мир общественного и идейного синтеза, тип так наз. интеллектуала был освобожден от ответственности за свое экономическое существование. Пребывая ныне в положении общественного иждивенца, он отправляет свою жреческую власть и с привилегированных позиций в сфере коммуникативных средств, педагогики и теологии, «исправляет» историю.

Поскольку в европейском анархизме культ социального начала и культ насилия играют почти равнозначную роль, в этом месте я вынужден просить читателя вернуться к философии немецкого идеализма, а вместе с тем и к психологическим последствиям проигранной войны и ее неосуществленных задач, нацеленных на достижение политической гегемонии в Европе. Эти последствия заключаются, в частности, в кризисе реального сознания.

Динамика порожденных войной духовных побуждений сходит на нет лишь спустя несколько поколений. Отсюда и акции террористов представляют собой, кроме прочего, подражание военным действиям. Так как немцам больше не позволено открыто вести войны,

а моральный надлом при этом продолжает действовать — и в виде гротескной политики разделения страны, и даже больше того — лицом к лицу со стеной, посередине пересекающей немецкую столицу, — мечты находят свое воплощение в «сверхнемецком узаконении» утопических человеческих целей.

Культы социального начала и насилия, уходящие своими корнями к таким образцам и идеалам, как Маркс и Ницше, предлагают оправдания более глубокого порядка, получившие уже в свое время уничтожительную оценку из уст Эрнста Нольте:

«Марксизм не есть стихийное самосознание пролетариата, но в первую голову учение, посредством которого могущественный, выросший на классической немецкой философии дух хотел поставить на службу своих чрезмерных надежд на реинтеграцию человека новейший продукт буржуазного общества. Ницшеанское мышление, в свою очередь, не является буржуазной идеологией, но с одной стороны, выражает робкий протест артистического духа против развития мира в целом, а с другой — острейшую реакцию феодальных элементов в буржуазном обществе на нависшую над ними угрозу».

Тем самым мы уже затронули самую суть мировой революционной войны.

Как всегда, когда дело идет о явлениях с историческими последствиями, мы находим дух, а не материю, волю, а не интересы, находим гнусное побуждение к действию. Не нужда, но в большей степени — депрессия, порожденная отсутствием значительной роли. Не благородный порыв, но недостаток разума. Такова, в немногих словах, суть европейского варианта анархизма. Мотивы других вариантов, — японского, например, — отклоняются от него и покоятся на другой культуре.

Именно этот экскурс в сущность мотивов делает возможным увидеть феномен террористической вой-

ны в свете двоякой системы соотносительности понятий.

Во-первых: во взаимозависимости между конкретной, лимитированной поставленными целями национальной и социальной освободительной борьбой в различных районах мира, с одной стороны, и амбициями в плане мировой революции, с другой, которые для своей постоянной, эмфатической готовности к действию ищут вещную, обладающую общаестью и придающую ей юридическую силу причину.

И, во-вторых: в связи между различными «поколениями» революционной борьбы. Между прежними и современными формами партизанской войны и терроризмом, в виде которого она конкретно проявляется ныне, существует определенная связь. Для темы, которую мы рассматриваем, крайне важно проследить, как изменялись технические предпосылки и внешние условия, методика, политические рамки и политические цели. Из тех различий, на которых мы остановимся под конец, можно будет увидеть, в какой степени действительность наполнила реальным содержанием понятие террористической войны.

Испанская герилья против наполеоновских оккупантов в 1808-1814 годах была ограничена одной Испанией. Однако, подобно освободительной борьбе в Тироле под руководством Андреаса Хофера, партизанское движение в Испании уже содержит элемент народно-революционной войны, который в движение народов Европы за достижение национальной государственности внесла Французская революция.

В курсе лекций, в 1810-11 гг. зачитанных в Военной академии в Берлине, Карл Клаузевиц сформулировал теоретические основы герильи. Партизанская война, по его словам, — это «война в войне». Или, говоря иначе, Клаузевиц признает за ней только узкую дополнительную функцию. Будучи ведомой нетрадиционными средствами (партизаны), герилья в

конечном счете выливалась в народное восстание против господства чужеземных поработителей, прибегая при этом к поддержке покровительствующей державы, которая субсидировала борьбу.

В плане тактики и методики партизанская война была нацелена на изматывание противника путем налетов на его отдельные позиции. Поскольку это была борьба слабого против сильного, массированные операции, проводимые крупными силами, не могли входить в ее намерения. Партизаны наносили удары по заранее выбранным вражеским целям: небольшим воинским частям, военным складам, путям подвоза, техническим сооружениям. Именно так действовал против турок полковник Лоуренс в первую мировую войну.

Новую главу в историю партизанского движения вписывает Мао Цзэ-дун. Его военное учение, выкристаллизовавшееся в ходе практической проверки в 1927-47 гг., послужило образцом для войн в Индокитае, Алжире, Кубе, Вьетнаме, на Филиппинах, в Малайе и Бразилии. В основу этого учения заложен контраст между городом и деревней в условиях тяжело поддающейся контролю неосвоенной страны.

Мао Цзэ-дун различает три стадии борьбы:

1. стратегическое отступление — партизанские силы формируются по ходу отступления в глубь страны, консолидируются и, сконцентрировав в отдельных пунктах свои силы, наносят подобные налетам удары по врагу;
2. равновесие сил — как только противник начинает выказывать признаки истощения, партизаны переходят к маневренному бою;
3. ведение войны регулярными вооруженными силами с целью уничтожения врага.

Коренное отличие от прежних партизанских войн

закljučается в увязке военных действий с классовой борьбой. Освобождение народа, о котором говорил Клаузевиц, происходит ныне в ходе гражданской войны, ведущей к освобождению угнетенного класса и установлению его гегемонии.

Во время возглавляемого Мао Цзэ-дуном «Великого похода» партизанская армия революционным путем осуществляет социальные преобразования. Партизаны освобождают крестьян и привлекают, тем самым, на свою сторону народ. Так города попадают в «окружение» сельских районов и соответственно лишаются (сельскохозяйственной) производственной базы; политическое руководство в городах оказывается отрезанным от ресурсов. Правда, процесс истощения может продолжаться достаточно долго.

В Китае в качестве национального стимулятора присовокупляется борьба против японцев. В конечном итоге судьбу войны решают действия двух регулярных армий.

Подобно Мао Цзэ-дуну, оперировали во второй мировой войне советские партизанские соединения против немецкого вермахта, его аэродромов и баз снабжения.

Маоистская концепция партизанской войны нашла образцовое применение в Алжире и дважды в Индокитае: в бой против колоссальной военной и административной машины здесь каждый раз вступала сначала безнадежно уступавшая ей по силе горсточка партизан.

Беспощадный террор партизан против населения и чужой власти принуждал Францию и США направлять в эти районы все больше и больше войск. Партизаны предпринимали сенсационные акции, провоцировали острейшие контрмеры, стремились к широкому международному «паблисити». В Алжире и Индокитае в качестве «воюющих сторон» впервые участвовала пресса, а во Вьетнаме — и телевидение.

Партизанская стратегия, взявшая на вооружение революционной войны коммуникативные средства, привела к невероятному, едва ли не варварскому ожесточению военных действий, а затем, как следствие этого, — к тяжелым конфликтам в западном лагере, к мобилизации общественного мнения и, наконец, к расколу ведущих войну наций.

С другой стороны, партизаны сумели поднять народ на восстание против иностранного владычества, опираясь при этом на страны с коммунистическим режимом как на классическую «покровительствующую» им силу.

В Алжире и затем во время наступления «тэт» во Вьетнаме на сцене впервые появляются городские партизаны-подпольщики.

Наряду с этим, партизаны оперируют с опорных баз в соседних странах.

Опыт поражений позволяет достаточно глубоко проанализировать ошибки, допущенные Францией и Соединенными Штатами.

Поставленная иностранной властью или ее местными ставленниками администрация была несовременной, частично поражена коррупцией, чужда народу, оборачивалась для него бременем; ее представители стремились только к карьере, а вся администрация в целом не выказывала заинтересованности в реформах и преобразованиях. В отличие от узурпации при социализме, эта администрация правила «по горизонтали», а не «вертикально».

Как центры политической власти, Париж и Вашингтон проявили недостаток державной воли и моральное малодушие. Помимо необходимости в какой-то мере напрячь силы, население оказалось невозможно убедить в смысле борьбы за удержание власти на территориях, лежащих за пределами собственных границ.

Пораженческой пропаганде средств массовой ин-

формации, публикуемым военным корреспондентам и репортажам правительства не смогли противопоставить ничего, что было бы не менее действенно. Инстинкт гегемонии больше «не срабатывал» во всю ширь разлагающегося буржуазного общества.

Контрудары с самого начала наносились с недостаточной решимостью. Аргумент либеральных реформ был выдвинут слишком поздно и обернулся лишь тормозом для собственных военных операций. Массивная отправка войск в районы военных действий, правда, оживляла «сцену», но не вносила порядка. В общем и целом, просто-напросто отсутствовала стратегическая концепция.

Так наз. эскалация оказалась плохим эрзацем, лишь стимулировавшим активность противника. Бомбардировка пригородов Ханоя не парализовала его воли к борьбе. Ни Франция, ни США не отважились отрезать восставших от опорных баз за рубежом, оккупировав соседние страны. Городские партизаны в Алжире и во Вьетнаме (во время наступления «тэт») были разгромлены, однако к этому моменту конфликт и тут, и там уже был слишком «интернационализирован».

Четвертая республика во Франции прекратила существование, французская армия развалилась, президент Джонсон сдал позиции. Конец был неотвратим. Франция преодолела его последствия лучше, чем Соединенные Штаты.

Террористическая война

Перейдем ныне к современному «поколению» партизанской войны, к которому я, однако, отношу отнюдь не все партизанские движения, действующие в настоящий момент. В какой-то степени это напоминает семьи, в которых разные поколения живут в одно

и то же время, но вовсе не всегда имеют между собой что-то общее.

Так, например, в Африке в настоящее время оперируют революционные и антиреволюционные группы, действующие по образцу кубинских партизан (действия в условиях гражданской войны), наподобие отрядов «Мау-Мау», в свое время созданных Кениатой, типа палестинских террористов и, наконец, типа латиноамериканских городских партизан. При этом основной центр тяжести на этом континенте приходится на три первых метода, которые в принципе базируются на маоистской концепции ведения партизанской войны в сельских местностях.

В противоположность сказанному, основу движения в промышленно развитых странах образуют подпольщики или, как их теперь называют, городские партизаны. Именно они — новейшее и наиболее опасное звено в ряду «поколений» партизанской войны, база и активное ядро мировой гражданской войны.

Изложенную выше духовную подоплеку партизанских действий в промышленных странах необходимо отличать от реальных факторов. По мнению Макса Вебера, исторический эффект возникает лишь при условии, когда реальные и идеальные факторы совпадают во времени. Ленин не мог бы добиться успеха в ситуации освободительной войны 1813-15 гг. И, наоборот, боевые методы и приемы классических крестьянских восстаний оказались бы несостоятельными в условиях современного индустриального общества. Даже самый одаренный лидер не мог бы с успехом воспользоваться ими в наши дни.

Итак, в свете существования современной герильи попробуем задаться вопросом: наблюдается на нынешнем этапе ситуация, чреватая мировой гражданской войной, или же в историческом плане идея партизанского движения на службе мировой революции лишена почвы, «повисает в воздухе»?

В пользу ситуации, чреватой мировой гражданской войной, говорят три следующих фактора:

1. Мировые державы настолько остро заинтересованы в предотвращении атомных войн, что они заблаговременно принимают меры, исключая опасность военного столкновения между ними, вызванного «стараниями» других. Ни США, ни СССР не позволяют вовлекать себя в конфликты, либо оперируя на рубежах проходящих под их строжайшим контролем войн, которые за великие державы ведут другие (Советский Союз несколько раз вооружал и воодушевлял арабские государства на военные авантюры против Израиля), либо пытаясь добиваться успеха путем дипломатического посредничества в деле заключения мира (миссии Киссинджера).

Отсюда и войны, которые поныне ведутся в зонах еще нерешенных конфликтов, не приносят удовлетворительных результатов ни одной из участвующих сторон. Едва ситуация начинает складываться так, что одна из них могла бы одержать верх, как великие державы тотчас же политическими средствами прекращают эту опасную игру. Решающее изменение их влияния в мире тут же обратилось бы угрозой для равновесия сил обеих великих держав, а соответственно и для исходной предпосылки состояния не-войны между ними. Так возникает пат*. Малые страны не могут добиться своих прав, — как утверждает прежний премьер-министр Швеции Улаф Пальме.

Каким же образом, не ведя войн, могут достичь осуществления своих военных целей не столь могущественные государства? Лишь прибегая к такой форме войны, которая лежит за пределами контроля великих держав. Партизанская война заменяет собой

* Пат (фр. pat) — в шахматной игре — положение, при котором игрок не может сделать очередного хода, не подставив под удар своего короля, и при котором партия считается ничейной.

«горячую» войну. С 1898-го по 1947 год в мире было зарегистрировано 55 открытых межгосударственных и гражданских войн, а с 1947-го по 1967-й — 80 одних лишь гражданских. В будущем террористическая война может стать формой революционной войны.

2. Конфликт между промышленно развитыми странами и государствами третьего мира таит в себе конкретные причины для возникновения войн. С особой четкостью это проявилось в ходе недавнего нефтяного кризиса.

Деколонизация отрезала промышленные страны от источников сырья и энергии. Торговые отношения не могут вознаградить утери гегемонии с позиции силы. Торговля подчинена политическому примату. Сырьевой бойкот открывает возможности шантажа небывалых прежде, мировых масштабов.

В вопросе о новой организации политико-экономических отношений развивающиеся страны отстаивают позиции, реализация которых была бы возможна только в ущерб индустриальным государствам.

На Чрезвычайной сессии ООН в сентябре 1975 года страны третьего мира, к сожалению, не удалось убедить в преимуществах международного сотрудничества. Неустойчивость внутренней обстановки в этой части земного шара заставляет ожидать новых вспышек радикализма, нацеленного на слом существующей системы.

Мировое неравновесие благосостояния является неиссякаемым источником ненависти — ненависти к Западу.

3. Ситуации, чреватой гражданской войной в мировом масштабе, способствует социальное неравенство в различных странах мира.

Это состояние не ведет к восстанию масс, но к отщеплению радикальных групп и группок от остатков буржуазии и от интеллигенции. Исполненное решимости меньшинство формирует концепцию то-

тальной гражданской войны против привилегированных. Именно такого рода стимулы породили боевую форму городских партизан в Южной Америке. Партизанское движение современного образца ищет международной поддержки для своей борьбы в стране и вместе с тем стремится интернационально развернуть ее в глобальных масштабах. Его лозунги: «Зажгите пламя трех, четырех Вьетнамов! Уничтожьте острова благосостояния!»

Успехи в подавлении партизанского движения достигаются не экономической помощью развивающимся странам, но, — как показывает пример Латинской Америки, — контр-восстаниями!

4. И, наконец, созданию ситуации, подобной мировой гражданской войне, способствовало то обстоятельство, что мировой коммунизм распался и не обладает больше притягательной силой примера, показывающего возможное решение проблем.

Воспринимая его как высокомерный и заносчивый, страны третьего мира все чаще отвергают советский ревизионистский экономический бюрократизм. Повсюду возникают автохтонные, аутентичные варианты социализма. Вместо строгого порядка, возникают хаотические, оторванные от реальности, лево-уклонистские политические центры. Именно они и есть живительная почва терроризма.

Приемы террористической войны

Терроризм индустриальной эпохи и расцвета средств массовой информации во многом отличен от классических форм гериллы, но тем не менее между ними продолжает оставаться немало общего.

Новой является глобальная коммуникативность. Мировая торговля и мировой туризм открыли границы между государствами, благоприятствуют мобильности людей, повышают скорость переездов и

привели к созданию небывало плотной сети средств связи. Неограниченный радиус действия — главная предпосылка для подпольной борьбы за мировую революцию.

Урбанизация приводит к естественному подразделению подпольных сил на рейдовых и городских партизан.

Рейдовая группа ведет разведку и подбирает специалистов. Городские подпольщики, в свою очередь, предоставляют опорную базу, средства транспорта, свои знания о выбранном объекте и местности. Из обоих компонентов формируется совместное ядро для проведения намеченной операции.

Похищению весной 1975 года Петера Лоренца, председателя организации ХДС в Западном Берлине, предпринятому террористами для того, чтобы добиться освобождения из тюрьмы их пятерых сподвижников, предшествовали все названные компоненты.

Тезис Клаузевица о том, что партизанское движение есть «война в войне», соответствует ныне действительности только от случая к случаю.

Похищения самолетов в основном связаны с ближневосточным конфликтом и нацелены на подрыв авторитета государственной власти в ее слабом месте. Волна угонов началась в 1958 году одним-единственным случаем и почти целиком сошла на нет в 1975-м, когда было похищено всего пять самолетов. Между начальной и конечной точками этой волны были зафиксированы кульминационные пункты: в 1969 году террористы угнали 13, в 70-м — уже 24, а в 72-м — 51 самолет!

Акции современных партизан диктуются их собственной военной политикой и теми целями, которые она ставит перед собой.

Эта политика либо служит «освобождению товарищей» (как в случае нападения на посольство ФРГ в Стокгольме весной 1975 года), либо попыткам посред-

ством террора парализовать систему городской цивилизации западных индустриальных государств. К этим последним нужно отнести и попытки террористов вывести из строя важные коммуникации, внести перебои в снабжение, уничтожить материальные ресурсы, деморализовать население.

Городские партизаны уже не могут опираться на тезис Мао Цзэ-дуна, согласно которому село должно одержать победу над городом. В отличие от положения в Китае в 1927-48 гг., урбанизация промышленно развитых стран с сопутствующей ей концентрацией в городских центрах управленческого аппарата и всей сферы услуг привела к господству города над сельской местностью. Окруженным теперь уже оказывается не город, а, напротив, деревня. Сельские местности четко трассированы. Пусть еще и не со всей резкостью, но на нынешнем этапе уже можно говорить о «джунглях городов».

Поскольку партизаны ведут бой на внутренних рубежах, город скорее предоставляет им защиту, чем служит источником опасности. Благодаря сложнейшей плохо просматривающейся топографии городов и охраняемой законом неприкосновенности всей сферы личной жизни гражданина, «внешние рубежи» сил безопасности, ведущих борьбу против терроризма, превращаются во фронтовую линию необозримой протяженности.

В результате городские партизаны наших дней особо восприимчивы к заветам «первой ступени» партизанской тактики маоизма. Во всех ситуациях, обусловленных борьбой слабых против сильных на этом этапе, Мао Цзэ-дун приказывает ставить ограниченные боевые задачи, строго воспрещая вступать в бой с соединениями регулярной армии противника. Нарушив по указанию Фиделя Кастро этот запрет, Че Гевара за «наступление» на Долвиен поплатился жизнью.

Отсюда главное место в действиях городских пар-

тизан занимают налеты (чтобы раздобыть деньги или просто «дать знать о своем существовании»), похищения людей с целью ничем не прикрытого шантажа или ликвидация видных противников или предателей. Похищение политических противников почти полностью заменило ныне угон самолетов и является неоспоримым признаком прогрессирующего развития террористической войны.

Очень важны для современной герильи средства массовой информации.

Правда, даже вопреки тому, что в большинстве западных стран они превратились в цитадель элементов, симпатизирующих террористам, целиком поставить их на службу подполья оказывается не так уж просто. До сих пор это имело место лишь в тех отдельных случаях, когда государственная власть была вынуждена идти на уступки вымогателям, и обе стороны настоятельно нуждались в достаточно надежном средстве для взаимного контроля за заранее согласованными действиями.

Образцовым примером в этом отношении может снова служить похищение Петера Лоренца в Западном Берлине в 1975 году. Вся связь между федеральным правительством, руководящим центром по преодолению кризиса, террористами (во власти которых находился Петер Лоренц) и подлежащими освобождению заключенными осуществлялась при посредстве независимого, публично-правового по своей юридической форме телевидения. Временами вообще казалось, что режиссура полностью перешла в руки похитителей.

Однако не в последнюю очередь террористы смогли достичь этого успеха благодаря тому, что западный телезритель, — на эти несколько часов вовлеченный в роль непосредственного свидетеля и очевидца событий, — ничего не обожает больше, чем то, что можно было бы назвать «игрой в решение». Футбол и детективные фильмы ощутимо нейтрализовали в

сознании телезрителя прежние ценности, и теперь уже совсем неважно, что разворачивается на экране: телевизионный спектакль или же реальная драма захвата заложников. И то и другое зритель воспринимает и судит с одинаковым увлечением и строгостью.

А уж новый Робин Гуд найдется всегда!

И, наконец, подобно предшествующим историческим этапам, современная герилья тоже находит силы и государства, готовые оказать ей всемерное покровительство. Восточный блок, а наряду с ним и арабские страны — такие, как Ливия, Южный Йемен, от случая к случаю и Сирия — охотно предоставляют террористам помощь, защиту, убежище, вооружение и деньги.

Иллюстрацией этого является уже упомянутый пример похищения Петера Лоренца: вырвавшиеся на свободу в результате террора и шантажа уголовные преступники в сопровождении известного евангелического пастора вылетели в Аден. В течение ряда месяцев о них ничего не было слышно. Но в декабре 75-го — январе 76-го годов по меньшей мере трое из них внезапно вновь объявились где-то в странах немецкого языка. Террористическая война приобрела международные масштабы.

КРЕМП Герберт — родился в 1928 году в Мюнхене. Изучал философию, социологию и историю в Мюнхенском университете. Защитив докторскую диссертацию о Тойнби, Шпенглере и Максе Вебере, получил звание доктора философии. Затем закончил второй факультет — национальной экономики — в университете Франкфурта-на-Майне.

Журналистская деятельность Герберта Кремпа началась с сотрудничества во «Frankfurter Neuen Presse» в качестве внештатного корреспондента. Затем он стал политическим редактором «Reinischen Post» в Дюссельдорфе. С 1959 по 1961 г. Г. Кремп был руководителем политического отдела берлинской «Tag». Вслед за этим в течение двух лет он был корреспондентом в Бонне. Начиная с января 1969 г., занимает пост главного редактора «Welt» в Гамбурге.

РУССКИЕ КНИГИ

- КЛАССИКИ
- САМИЗДАТ
- ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ
- РЕДКИЕ ПЕРЕИЗДАНИЯ
- СЛАВИСТИКА

Свыше 1500 титулов на складе.
Требуйте каталоги

Представительство журнала

«КОНТИНЕНТ»

Subscription inquiries
should be addressed to



A. Neimanis • Buchvertrieb

8 München 40 Bauerstr. 28 • Germany

Факты и свидетельства

Гюзель А м а л ь р и к

СВИДАНИЕ В ЛАГЕРЕ

Летом 1971 года я получила письмо из лагеря, муж писал, что наше свидание назначено зимой и что нам дали целых три дня! И так я с взволнованными чувствами начала сразу собираться по русской поговорке «готовь сани летом, а телегу зимой». Сейчас для меня предоставился удобный случай выполнить этот завет, потому что в России никогда нельзя достать сразу что нужно.

Вот уже зима, после двенадцатичасового полета я в Магадане, в маленьком грязном аэропорту, вот уже совсем рядом от меня томится мой Андрей — поселок Талая, где расположен лагерь, лежит в 250 км к северу. Магадан мне показался каким-то серым, унылым, туманным, только горы, окружающие город, казались величественными и прекрасными, Охотское море было замерзшим, дул сильный порывистый ветер.

На другой день единственным автобусом я поехала на Талую. Передо мной сидел высокий плотный человек в темном пальто с прокурорскими знаками на обшлагах, он переглядывался с молодой парой и часто поворачивался в мою сторону, выразительно на меня глядел, а потом спросил, не к мужу ли на свидание я еду. Так с прокурором мы доехали к вечеру до Талой.

Муж в письме дал мне адрес девушки, у которой я смогу остановиться. Я шла наугад, с огромными узлами в руках и с рюкзаком на спине, пока не увидела

какую-то сморщенную старуху — до нее я встречала только военных, у которых не решалась спрашивать дорогу, — и старуха повела меня вверх в гору, обходя улочку с маленькими домиками и безликими бетонными трехэтажными зданиями. Мне было невыносимо трудно тащить свой груз, а старуха неслась с удивительной прытью вперед, — и наконец мы добрались до общежития, стоявшего на горе, — это было узкое и длинное строение белого цвета, оттуда все время входили и выходили люди рабочего вида, внутри шел длинный коридор с дверьми жилых комнат по обе стороны.

Лена приняла меня дружески. В комнате стояли только две кровати железные, маленький столик и в углу узкий шкаф для одежд, еще с трудом помещалось два стула. На кровати сидела девочка лет восьми и мусолила и без того замусоленную книжку. Она оказалась младшей сестрой Лены, мать их умерла, Лене было 26 лет и она была не замужем, хотя показалась мне хорошенькой блондинкой. В этой комнате жила еще одна незамужняя молодая женщина, Маша, со своей дочерью тех же лет; спали они вчетвером на этих двух узких кроватках.

Через час зашел пьяный мужчина, друг Маши, и на глазах у всех стал с ней заигрывать; маленькие девочки, не по возрасту серьезные, понимая, что происходит, отодвигались в угол кровати и делали вид, что ничего не замечают, играя в куклы, и то и дело исподтишка наблюдали за ними и шептались. Потом пришел друг Лены, на этот раз трезвый. В десятиметровой комнате было невыносимо тесно, и больно смотреть на несчастных девочек и обездоленных женщин.

На другой день я была в лагере и узнала, что свидание дадут только вечером. Я решила посмотреть поселок и знаменитый курорт «Талая», который находился в двух километрах от лагеря. Трудно было по-

верить в такую совместимость, но здесь был источник минеральной воды, решили строить северный курорт — и начали с лагеря, чтобы заключенные строили этот курорт. Теперь на курорте работали многие жены лагерного начальства, и две девушки, у которых я остановилась, работали там же официантками и подкармливали своих детей, принося домой остатки супа и мяса, они еще ухитрялись таскать сахар и печенье, в шкафу под одеждами у них лежали груды унесенного с курорта сахара.

Меня поразил контраст между строениями курорта, похожими на помпезные дворцы с колоннами, фонтанами, большим бассейном, — и жалкими домами поселка, ужасными разбитыми дорогами, усыпанными камнями местных пород.

Из окна общежития с горы я увидела участок, огороженный высоким забором и колючей проволокой, — это был деревообрабатывающий комбинат, где работали заключенные. Туда шла длинная колонна из лагеря, спереди и сзади по два солдата с собаками, заключенные шли понуро в серых ватниках и кирзовых сапогах, мороз был 20°С, вообще там морозы доходят и до 60°С. В волнении я выбежала из дома и стала махать длинным шарфом заключенным, некоторые меня увидели, последний ответил взмахом руки, минуту я думала, что это Андрей, хотя я знала, что на такую тяжелую работу он не должен идти, потому что стал в тюрьме инвалидом после менингита. Тут солдат-конвоир стал подгонять заключенного, пиная в спину дулом винтовки, собаки громко залаяли. Позднее я узнала, что это, конечно, был не Андрей. Но заключенным, я думаю, было приятно, что какая-то женщина махала им вслед сверху; многие знали, что Андрей ждет жену на свидание, и описали ему меня, так он узнал о моем приезде.

Наступают сумерки, я собираюсь в великом волнении, для меня это ожидаемое свидание казалось

похожим на первое свидание в юности, ведь мы были в разлуке почти полтора года, как-то он меня встретит, не будет ли между нами отчужденности, ведь когда живешь вместе, развитие характера не так заметно, как в разлуке, и вот с такими опасениями я оказалась возле лагерной стены.

Меня сначала впустили в комнату дежурного офицера, взяли паспорт и проверили, есть ли в нем отметка о нашем браке, затем проверили все содержимое моих рюкзаков и саквояжа, даже шоколад разрезали на куски, нет ли там в середине какой-нибудь политической прокламации или писем от друзей, а также смотрели, не везу ли я магнитофона или фотоаппарата, вдруг увидят на воле фотографию моего мужа, который потерял уже двадцать килограммов, одна кожа да кости, потом они увидели маленькую бутылочку коньяка и отложили в сторону со словами: «Не положено!» А я так хотела, чтобы мы отметили приход Нового года этой символической долей коньяка.

Затем меня провели коридором, через дверь, которая открылась и закрылась автоматически, и еще через коридорчик — в узенькую комнату с двумя аккуратно застеленными железными кроватями, столом и двумя стульями, она походила на комнату моих девушек в общежитии или на номер в какой-нибудь сельской гостинице, с той только разницей, что маленькое окошко было зарешечено здесь; за эту комнату я и платила, как в гостинице.

Мужа в комнате не было, зато меня ожидала довольно старая женщина, вся высохшая, со злобным выражением на лице. Сопровождавшие меня офицеры удалились, и она стремительно, как пантера, накинулась на меня и начала «шмонать» — это лагерное выражение, значит обыскивать, — требуя раздеться добровольно, мол, время не ждет, я сама заинтересо-

вана скорее увидеть мужа. Я отказалась это сделать, тогда она просто ощупала меня, все швы на одеждах; взяв бесцеремонно мой гребень, она порывисто провела им, думая, что и в волосах скрыто что-то неположенное. Я была как во сне, я как сомнамбула слабо сопротивлялась, она еще раз провела гребнем и убедилась, что ничего интересного для нее в волосах нет. Я говорила ей, что буду жаловаться, и она в ответ огрызалась, говоря, что она никого не боится, она здесь уже тридцать лет, знает все порядки и подчиняется всем правилам, хотела отобрать у меня ручку и даже карандаш косметический — но я упорно не отдавала ей.

Наконец она вышла, и я, раздраженная, вся в слезах и волнуясь, что вот-вот явится Андрей, стала надевать красивый пеньюар французский, зажгла свечу, постелила привезенную из дома любимую нашу, хотя и ветхую уже красную скатерть — и вот открывается дверь и появляется тонкая фигурка моего мужа, вернее тень его, настолько он был худ, в каком-то немыслимом белом колпаке, как у Петрушки, и в сером комбинезоне с нашитым номером, мы кинулись друг к другу — и было ощущение, что мы не разлучались никогда, только его лицо очень истощенное и все в авитаминозных прыщах возвращало к действительности.

Эти три дня были для нас сном, нам не хотелось думать, как скоро эти три дня истекнут. Я старалась немного подкормить Андрея, привезла очень много вкусного из Москвы, варила тут же в комнате на электроплитке, но он почти не мог есть: после первого же ужина ему стало так плохо, что пришлось на следующий день звать лагерного врача и делать укол; об этой женщине-враче я еще расскажу дальше.

Я была в таком возбуждении, мне казалось, не хватит этих дней, чтобы пересказать все новости, важные вещи я старалась писать на бумаге или гово-

рить под одеялом, потому что мы знали, что в комнате установлены микрофоны. Андрей написал также большое письмо своему голландскому другу Карелу Ван хет Реве, где описал, как его больного везли через всю Сибирь, — и я должна была тайно это письмо вывезти и отправить в Голландию.

Когда мы прощались, я оставила Андрею теплое белье и хотела дать трусы, куда в резинку вшила несколько десятков, чтобы он нелегально тратил в лагере, покупая продукты у тех, кто мог принести их тайно с воли, но Андрей трусы не взял, говоря, что эти деньги точно найдут при обыске после свидания и конфискуют.

Андрея увели — и вдруг в комнату входят офицер и две женщины, одна старуха, которая уже обыскивала меня, она работала здесь цензором, проверяла письма заключенных, и другая, моложе, врач, которая приходила осматривать Андрея, она была в белом халате и гинекологических перчатках. Офицер сказал, что эти женщины быстро просмотрят вещи и меня сразу же выпустят, после чего вышел, и мы остались втроем. Они деловито принялись опять прощупывать каждый шов, и радости их не было предела, когда они обнаружили вшитые в трусы деньги. Старая, все время на меня злобно вскидывая глаза, говорила своей напарнице: «Вот таких людей и убивать не жалко!» И продолжала: «Вот мы работаем, белого света не видим, мы пользу приносим государству, а вы все только клевету разносите, антисоветчики! Мало ему, твоему мужу, дали, я бы сгноила его здесь!» Я все молчала, стиснув зубы, а потом не выдержала и назвала ее старой фашисткой.

После осмотра вещей они подошли ко мне и попросили раздеться, я отказалась: я еще пока не заключенная, чтобы раздеваться для обыска. Женщина в резиновых перчатках была уже наготове, я стала кричать на них и требовать прокурора. Тогда они, нагло

усмехнувшись, сели за стол, за которым мы еще утром с мужем завтракали, и одна сказала другой: «Что-то захотелось выпить чаю». Интересно было, что и за чаем врач все время сидела в своих перчатках для гинекологического осмотра и даже так держала кусочек сахара.

Так прошло два часа. Я все время повторяла: держите меня сколько угодно, я не дам себя обыскивать, буду говорить лишь с прокурором. Прошло еще два часа, и мне захотелось есть. Оставалось много вещей вкусных от свидания, потому что заключенные ничего не имеют права брать с собой, и я поела, а они глядели на меня с завистью: они пили чай с какими-то тощими сухариками. Потом я немножко вздремнула, и это их так взбесило, что они начали уже и между собой ругаться. «Моя работа уже кончилась, сын из школы пришел, а меня все нет!» — раздраженно говорила врачаха.

Тут я захотела выйти по-малому, но меня не пустили, а принесли ведро, поставив посредине комнаты, и сказали: «Мы не мужчины, делайте при нас без смущения». Я помолилась всем святым, чтобы при этом действии не выпали бумаги Андрея, глубоко мной запрятанные, и благополучно справила свою нужду под напряженным взором двух пар глаз. Они, кажется, немного успокоились, одна вышла из комнаты и через десять минут появилась вместе с прокурором Магаданской области — тем самым, с которым я вместе ехала в автобусе, хотя до того они все время говорили, что никакого прокурора здесь нет.

Прокурор приветствовал меня как старую знакомую, внимательно выслушал и велел отпустить, с тем только, чтобы я зашла к начальнику лагеря. Когда я шла к начальнику, я в коридоре наткнулась на ту молодую пару, что ехала со мной в автобусе; увидев меня, они скрылись в одной из комнат. Я узнала по-

том, что на все время свидания сюда приезжали сотрудники КГБ — может быть, как раз эти двое.

Начальник встал из-за стола и с улыбкой пошел мне навстречу. Меня это удивило, обычно начальник сидит за столом, холодным небрежным взглядом окинет посетителя, проведет приветствие, и начинается форменный допрос. Но он по-человечески спросил, как прошло свидание, и я стала говорить об этом шестичасовом обыске, и тогда он спросил, почему в моих вещах были найдены мужские трусы со вшитыми деньгами. Я ответила очень уверенным тоном: «А почему вы думаете, что эти трусы предназначались моему мужу, ведь они найдены не у него, это мои трусы, а деньги в них зашиты для того, чтобы я не потеряла их в дороге». Не думаю, чтобы он поверил мне, но больше он этого не касался. Впоследствии муж мой писал жалобы и заставил, чтобы эти деньги вернули.

Начальник спросил, знакома ли я с Солженицыным, почему он пишет только ужасное, все в черном свете, разве нет у нас светлых сторон? Я спросила, читал ли он книги Солженицына.

— Читал только «Один день Ивана Денисовича», повесть очень интересная.

— Но как вы можете говорить, что он описывает только ужасное, если читали всего одну повесть?

— Я читал критику в газетах, и у меня нет оснований не верить им.

На этом наша дискуссия о Солженицыне закончилась. Начальник встал, вытащил из кармана авторучку и сказал, что это корейская ручка и что он мне ее дарит. Его вид выражал скорее симпатию, с такой же любезной улыбкой он проводил меня до двери. Может быть, он хитрил со мной, боясь моих жалоб в Москве, может быть, действительно сочувствовал мне. Было впечатление, что его уже тяготит его работа, вскоре он был снят с этого поста.

Наконец свобода! На улице уже темно, я спускаюсь под гору по освещенной лунной дороге, иду в каком-то возбуждении — и вдруг, пройдя метров триста, инстинктивно поворачиваюсь и иду назад к лагерю, подхожу к штабу, заглядываю в освещенное окно и вижу моего Андрея, который стоит и пререкается о чем-то с дежурным офицером. Я начала стучать в окно и прокричала в форточку, что все в порядке, что меня продержали шесть часов, но теперь все хорошо, береги себя, носи шапочку, которую я тебе привезла. Андрей несказанно был рад увидеть меня, он ужасно волновался, что со мной, и теперь успокоился, мы возбужденно прощались через окно, пока офицер грубо не оборвал наши восклицания, захлопнув форточку и задернув занавеску.

Теперь я спокойно шла назад в поселок, а впереди еще Магадан и Москва. Письмо Андрея я скоро переслала с друзьями в Голландию, и оно до сих пор хранится у Карела Ван хет Реве в железном ящичке.

Ноябрь 1976,

Утрехт,

пять лет спустя после описываемых событий.

АМАЛЬРИК (МАКУДИНОВА) Гюзель, родилась в Москве в 1942 г. в бедной татарской семье. Свое детство и семью описала в книге «Воспоминания о моем детстве» (см. рецензию в этом номере). Художница. В 1965 вышла замуж за Андрея Амальрика, в то время ссыльного. В 1976 вместе с мужем выехала из Советского Союза. Сейчас живет в Утрехте (Голландия).

ФАМИЛИИ

Фамилии-отмычки

В каждом городе, районе, промышленной отрасли, всюду в нашей жизни есть такие фамилии, большей или меньшей, но всегда безотказной силы действия.

Это не обязательно фамилия п е р в о г о (секретаря — обкома, горкома, райкома, парткома).

Например, в маленьком городе нефтяников, куда я приехал работать после окончания университета, такой фамилией-отмычкой была фамилия Забродоцкий, принадлежавшая энергичному местному царьку, главному инженеру нефтяного управления.

— Забродоцкий приказал!

— Забродоцкий указал!

— Забродоцкий распорядился!

— По просьбе Забродоцкого!

— Я к вам от Забродоцкого!

— Забродоцкий дал «цз у»! (Это почтительный юмор; «цз у» — «ценное указание».)

Если вы имели право произнести одну из этих фраз, вы могли добиться в городке самого вождя: получить назначение в перевыполняющую план (а, стало быть, очень высоко оплачиваемую) буровую партию, вселиться в квартиру в новом доме — с ванной и уборной, приобрести в «гастрономе» с черного хода три килограмма апельсинов, даже уехать на материк до истечения срока контракта.

Помню, я, один-единственный раз имея в своем распоряжении эту фамилию-отмычку, воспользовался ею крайне нерасчетливо: получил на вещевом складе

два засаленных тюфяка, чтобы смягчить наши семейные ночлеги на жестких редакционных диванах.

Однажды мы с коллегой прилетели поздно вечером в город Луганск, которому незадолго до того было возвращено природное имя, после многолетнего Ворошиловграда.

В вестибюле центральной гостиницы обычная картина: толпа, отчаянно штурмующая стойку администратора, увенчанную вечной вывеской «МЕСТ НЕТ».

Люди протягивают администратору командировочные и служебные удостоверения, плачущих младенцев, справки из больниц.

Роскошный грузин чуть поодаль гипнотизирует неприступную даму-администратора влажными взглядами, поглаживая выступ бумажника на шевиотовой груди.

Все тщетно.

Я тоже принялся безнадежно размахивать нашими незначительными командировочными удостоверениями, в то время как мой попутчик преспокойно купил в киоске местную газету и, отойдя в сторонку, погрузился в чтение. «Ну-ну, вот и будем ночевать в сквере на твоей газете!»

Внезапно, отложив газету, мой приятель протаранил толпу и вырос перед администраторшей:

— Вам от Кузнецова звонили по поводу номера на двоих, из Москвы?

— Одну минуточку!

Администраторша принялась быстро перебирать свои бумажки.

— Простите, не записано... Может быть, сменщица унесла заявку... Тетя Гапа! Проводите товарищей в полу-люкс!

Толпа почтительно молчала.

На стол красного дерева в обкомовском «полулюксе» мой товарищ бережно (еще пригодится!) положил газетку, откуда выудил фамилию-отмычку для не

совсем законного использования. На первой странице в одной заметке говорилось: «К собравшимся с большой речью обратился первый секретарь Луганского областного комитета партии товарищ Кузнецов...»

А что? Мы же не говорили, что Кузнецов заказывал номер для нас, просто спросили: не было ли звонка от Кузнецова по поводу номера.

А из Москвы, так мы, действительно, из Москвы.

А номер так и простоял бы пустым, до завтра по крайней мере.

Еврейские фамилии

Книжек он вообще-то не читал, но всегда интересовался фамилиями авторов.

Вот взял со стола, прочел на обложке:

— Шклов-ский. Еврей.

— Почему вы так думаете?

— А вы что думаете, что еврейские фамилии — это только Коган, Шапиро и Шустерман-Фраерман? Нет, голубчик! Все эти Минские, Пинские, Белинские, Кричевские, Бердичевские, Шкловские, Островские...

— Помилуйте, и Белинские и Островские — обязательно евреи?

Он, запальчиво:

— А как же!

Фамилии на дверях

Гладкие деревянные двери вдоль длинных коридоров. Аккуратные типографские таблички с инициалами и фамилиями на дверях. Указаний отделов, секторов, званий и должностей нет. В этом — скромный бюрократический шик: подлинная власть не нуждается в лишнем украшении. Просто и веско — И. И. Иванов!

Но добро, коли И. И. Иванов. Судьба почему-то очень любит подстраивать разные каверзы с подбором фамилий на дверях.

Двери смольнинских коридоров: товарищ Ядов, товарищ Клопова. Чуть ли не единственная дверь с обозначением отдела — «Бюро жалоб и предложений» — так уж тут, конечно же, товарищ Заворотный!

На комнате, где сидят «идеологические» инструкторы ленинградского обкома комсомола, долгое время соседствовали таблички — А. Тупикин, В. Чурбанов.

А в Москве, в ЦК ВЛКСМ, рядом, по соседству кабинетов, гнездились — Сыч (В. Л.) и Упырь (Л. Ф.)!

Номера

Уже с утра жарко. Мы садимся в замызганный газик, чтобы ехать куда-то в окрестности очень тихого и очень древнего южнорусского города Льгова.

Городок такой заштатный, что даже такому неважному гостю, как я, дали двух провожатых — щуплого старичка-краеведа из Дома пионеров и в три погибели горбатого начальника городской телефонной станции.

Собственно, горбун и предоставил для поездки свой служебный газик, а заодно и себя. Он очень общителен.

Краевед показывает главную местную достопримечательность — похожую на старую водокачку якобы готическую башню в заглохшем саду при доме Барятинских, в которой романтически настроенный маршал князь Барятинский содержал своего именитого пленника — Шамиля.

Потом он начинает бубнить что-то про внука не то маршала, не то управляющего имением, который вот недавно приезжал на старости лет поглядеть род-

ные края. Приезд единственного за многие годы иностранца, видно, поразил воображение льговского краеведа.

—...и вот, понимаете ли, поселили его в гостинице в райкомовском номере... И вот, понимаете ли, каждое утро он требовал себе стакан чистого виноградного вина — портвейн «три семерки»!

Мы уже едем среди звенящих кузнечиками полей.

Асфальт латаный-перелатанный, в рытвинах и ухабах. Но вот его пересекает широкая лента роскошной автострады.

— Всего тридцать два километра, — говорит горбун. — До Калиновки. Родина Никиты. Перед его приездом за одну неделю сделали.

И, уже не давая краеведу снова завладеть разговором, начинает свое:

— Тут у нас телефонную сеть зимой на автоматику переводили, так из-за номеров вся наша знать переругалась!

— Как это?

— А так, что я еле всех ублажил. Выдал соответственно чину-званию. Ну, первому секретарю, ясно, 4-12...

— Почему?

Горбун звонко хохочет, щелкает себя худыми пальцами по огромному кадыку, и я соображаю: «Господи, да четыре рубля двенадцать копеек — стоимость бутылки дешевого коньяку!» (в ценах тех времен).

— Второму секретарю — 3-12...

(Бутылка «Столичной».)

— Предрайисполкома — 2-87...

(Бутылка «Московской».)

— Начальник милиции говорит: «Мне-то хоть рупь сорок девять оставь!..»

(«Четвертинка» водки.)

- А себе-то какой номер взяли?
- Мы люди маленькие. 0-22. На кружку пива!

Банкет

Огненный исполнитель национальных танцев, объездивший с концертами всю планету, наконец-то посетил город, где он вырос, одну из советских среднеазиатских столиц.

Родным для танцора город этот не был.

Его родиной были горы Северного Кавказа, но маленький народ, к которому он принадлежал, не приглянулся Сталину и был — весь народ — без суда и следствия сослан в далекие чужие края.

Теперь город изгнания встречал артиста как самого дорогого гостя.

Чтобы освободить лучшую сцену для единственного выступления, в Театре оперы и балета отменили спектакль.

Нечего и говорить, что в зале яблоку негде было упасть. Первые ряды занимало жирное бритоголовое начальство.

На следующий день бенефициант пригласил всех перворядников на банкет. В тот же день вечером он покидал город своего детства и юности.

Случайно среди приглашенных оказался и мой знакомый ленинградский хореограф, работавший там в ту пору по временному контракту.

Во главе стола километровой длины сидел мрачный и торжественный хозяин пиршества.

Стол ломился от дорогих восточных блюд и интернациональной икры.

Хозяин был крайне немногословен и не улыбочив. Лишь время от времени он с сильным, но не местным акцентом спрашивал:

— Может быть, мало? Ешьте. Пейте. Официант! Еще ящик шампанского!

Гости, наоборот, улыбались шире своих широких физиономий.

Они произносили цветистые тосты, в которых сладко расхваливали талант танцора, возвращенного их заботливыми руками в их родном городе.

— Дорогой Мухамед, — начинал один, — помнишь, как ты пришел ко мне совсем юным...

— Дорогой Мухамед, — пел другой, — когда ты под моим руководством...

— Дорогой Миша, — фамильярничал третий, — помнишь, как мы с тобой начинали...

Наконец, даже восточное красноречие гостей стало иссякать, хотя пиршественное изобилие, казалось, ничуть не убывало.

Тогда поднялся хозяин пира и, обратясь к моему знакомому, сказал:

— Уважаемого ленинградского гостя прошу оставаться на своем месте.

Хореографу показалось, что такое начало не предвещает ничего хорошего. И он не ошибся.

Переводя тяжелый взгляд с одной бледнеющей жирной физиономии на другую, танцор заговорил.

— Гуссейнов, ты сказал, что когда я пришел к тебе в училище совсем юным, ты согрел и поддержал меня. А помнишь, как ты говорил: «Это наше народное училище, для нашего народа, иди в училище для своего народа...» Как будто ты не знал, что у моего народа нет не только училищ, но просто своей крыши над головой! Ты поел? Попил? Ты сыт? Теперь иди отсюда...

И артист назвал отдаленный, но точный адрес, один из тех, которыми так богат русский язык.

— Усетадиев, ты сказал, что под твоим руководством я делал свои первые шаги. А помнишь, как я попросил у тебя разрешения после репетиций готовить

свой первый сольный номер. Что ты ответил? Ты ответил: «Скажи спасибо, что мы тебя выпускаем в массовке». Ты поел? Попил? Иди... Новиков. Мы с тобой «вместе начинали»? Когда у меня родился ребенок, а ты был председателем месткома, я пришел к тебе, к близкому другу, и попросил помочь получить хоть какое-нибудь жилье... Ты сказал: «Лучше тебе вообще уехать отсюда». Поел? Попил?...

Зал быстро пустел, поскольку многие из гостей решили не дожидаться обращений лично к ним.

И когда они остались за столом вдвоем с хореографом, танцор обратился к своему гостю с изысканно красивым кавказским тостом.

*Невидимки за работой**

О торговле дипломными сочинениями, кандидатскими и докторскими диссертациями иногда пишут даже в советской прессе.

Спрос рождает предложение.

Власть имущие расплачиваются за диссертации, так сказать, натурой: квартирами, продвижением по службе.

Но чаще пишут просто за деньги.

Покупателей много в богатых среднеазиатских и закавказских республиках. У господ, имеющих вдоволь жратвы и тряпок, домов и машин, появляется желание получить еще и престижный пост, красивую приставку к имени — кандидат исторических наук, доктор философии.

Когда моему приятелю Х. понадобились деньги, чтобы купить кооперативную квартиру, он взял сразу

* Не удержался от соблазна использовать один из излюбленных советской журналистикой заголовков. Уж больно подходит к случаю!

две «негрские» работы — писать мемуары для старичка-генерала и диссертацию на звание кандидата филологических наук для одной дамы из города Мары.

Тема диссертации, заказанной из Мары, была: «Проблемы развития советского исторического романа в Туркмении».

Как-то в небольшом кругу друзей-писателей Х. читал очередное письмо от заказчицы:

«Дорогой Х.! Первая глава нашей работы (обратите внимание на деликатное «нашей») была обсуждена на кафедре и получила высокую оценку. В связи с этим решено поставить мой доклад на диссертационную тему на заседании местного правления Союза писателей. При этом нам (!) советуют обратить внимание на...» Дальше шло перечисление исторических романов туркменских писателей.

Среди слушавших письмо был писатель Б. Он сказал:

— А все-таки, самое интересное было бы, если бы ты встретился с теми, кто в самом деле пишет эти туркменские романы.

Звуковые барьеры радиовещания

Владимир Б у к о в с к и й

Открытое письмо директору радиостанции «Свобода» г-ну Фрэнсису Рональдсу

Редакция журнала «Континент» печатает письмо Владимира Буковского по поводу проекта программно-политического руководства для радиостанций «Свобода» и «Свободная Европа», распространенного президентом вашингтонского Совета по радиовещанию г-ном С. Михельсоном. Редакция надеется, что публикация и обсуждение письма Буковского окажутся помощью в работе как всей радиостанции, так и лично адресата письма.

Глубокоуважаемый господин Рональдс!

Я прочитал проект программно-политического руководства радио Свобода/Свободная Европа, распространенный господином Микельсоном. Мне хотелось бы высказать свои соображения по поводу намеченной в проекте линии работы этих радиостанций, в первую очередь радио «Свобода», поскольку для СССР ее передачи имеют в настоящий момент первостепенное значение. Я не имел возможности слушать радио «Свобода» последние шесть лет, оценить качество его передач и понять, насколько намечаемая линия уже прослеживается в существующем вещании. Поэтому я могу исходить только из текста проекта и из того представления о нуждах советских

радиослушателей, которое существует у меня и моих товарищей по заключению.

Быть может, невольно, читая и анализируя текст проекта, я припоминал свой долголетний опыт общения с советскими бюрократическими бумагами, и это отразилось на моей позиции. Отчасти такое отношение навеяно самим текстом и формулировками проекта, сходство которого с известными мне нормативными актами является просто пугающим.

Из текста следует, что проект должен стать руководством, **ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ** для всех сотрудников радиостанции, поскольку на администрацию возлагается «постоянный надзор за содержанием передач в соответствии с данными установками». Поражает само стремление регламентировать всё, вплоть до тона вещания: «воздержание от эмоциональности (!), брани, озлобления, резкости, воинственности, надменности, напыщенности, претенциозности или снисходительности (?)». И в то же самое время утверждается, что радиостанция передает новости и информацию, «не подвергая их никакой цензуре», берет на себя отчасти функции «местного радиовещания» и как бы заменяет отсутствующую свободную печать».

Быть может, я слишком буквально перевожу слово «Свобода» как «свобода», но мне казалось, что западные средства массовой информации рассматривают своих сотрудников не как приказчиков в лавке, а как людей, отдающих свои творческие силы делу, в которое они верят и которому хотят способствовать. Тем более это относится к сотрудникам радиостанций, вещающих на Советский Союз и страны Восточной Европы, в большинстве своем — выходцам из этих стран.

Советский читатель (слушатель) привык к тому, что информация не бывает независимой и беспристрастной. Даже короткие информационные со-

общения советских источников составлены тенденциозно. Поэтому и к сообщениям западного радио он подходит с той же подозрительностью. Ему прожужжали уши о зависимости радио «Свобода» от американской политики, и было бы наивным полагать, что проведение предложенного курса останется незамеченным слушателями. Какое же представление вынесет этот слушатель о провозглашаемой свободе информации на Западе, о независимости газет, радио и т.п.? Для него вы — образчик западной прессы, и во всех ваших передачах он увидит только конкретную конъюнктуру американской политики и отсутствие истинной свободы. Разве в этом радио «Свобода» хочет убедить своих слушателей? Разве американские органы массовой информации, действующие в пределах своей страны, так же ограничивают своих сотрудников, как это предлагается делать на радио Свобода/Свободная Европа?

Для меня очевидно, что столь жесткое регламентирование уготовит радиостанции судьбу журнала «Америка». Некогда вызывавший повышенный интерес одним своим названием, этот журнал перестал привлекать кого-либо, как только стало возможным ознакомиться с его бессодержательностью. Вероятно, следование намеченной линии может привести к успеху в переговорах о прекращении глушения (и забота об этом мне понятна), но не случится ли так, что после прекращения глушения, достигнутого такой ценой, те же люди, которые сейчас слушают радио сквозь заглушку («джаз КГБ»), будут выключать свои приемники и по-старому пытаться выискать информацию в подтексте советской прессы?

Характеризуя этот документ, столь сильно напомнивший мне нормативные акты любимого МВД, я хотел бы отметить следующие его черты:

1 Поразительная внутренняя противоречивость. С одной стороны, утверждается, что «РС

и РСЕ помогают гражданам Советского Союза и стран Восточной Европы распространением и обсуждением их собственных мнений, которые они в силу цензуры не могут высказать при помощи средств массовой информации сами». С другой стороны, тут же накладывается ограничение на высказывания граждан: информация может «там, где это уместно, включать высказывания граждан, которые, лишенные возможности высказаться через средства массовой информации собственной страны, вынуждены обращаться к помощи иностранных корреспондентов или прибегать к бесцензурным изданиям — самиздату. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАТЕРИАЛЫ САМИЗДАТА ИЛИ ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ ИЗ СССР ИЛИ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ, ИХ СЛЕДУЕТ ТЩАТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОМ ИССЛЕДОВАТЬ».

Любопытно, между прочим: как РС представляет себе такое исследование? Проект предлагает: «Если факты представляются сомнительными, необходимо, чтобы их подтвердило два независимых друг от друга источника». Затрудняюсь представить себе, как это осуществить на практике: например, если с риском для свободы из концлагеря вынесено какое-то сообщение, у кого РС будет его проверять? Позвонит начальнику лагеря?

В проекте предлагается давать слушателям «примеры свободной дискуссии между разными точками зрения и подходами как к их национальным проблемам, так и к международным» и тут же, одновременно, — «избегать обидных сравнений», не допускать «критики советской системы с чисто западных позиций» (а разве это не одна из возможных точек зрения?). «РС не поддерживает и не поощряет никаких движений, которые ставят перед собой в той или иной форме цель отделения и НЕ ПОДНИМАЕТ территориальных вопросов». Итак, из деятельности

РС исключается не только точка зрения, но и целая группа проблем, возникает прямой «запрет на тему». Единственно, что предлагается по этой теме, — это «с сочувствием относиться к праву всех национальных групп на преуспевание, на гордость своими историческими и культурными достижениями и на пользование собственным языком». Выходит, что предложенная линия не учитывает даже зафиксированного в Советской Конституции права свободного выхода каждой союзной республики из СССР (ст. 17) и автоматически исключает из дискуссии, например, украинских политзаключенных, которые широко апеллировали к этой статье Конституции. Всё, что обещает РС национальным группам — это «поддерживать право каждой личности свободно отстаивать свое национальное происхождение, свои религиозные и политические убеждения и не опасаться дискриминации по этим признакам». При всей моей увлеченности проблемой индивидуальных гражданских прав, я не могу забыть — советская действительность не дает мне забыть, — что существуют проблемы целых народов, не сводящиеся к праву «гордиться своими достижениями».

2. Полная неконкретность терминов и расплывчатость формулировок. При составлении программ о внутренних делах страны, на которую идет вещание, прежде всего предлагается «информировать слушателей о ВАЖНЫХ СОБЫТИЯХ в жизни их стран, о которых официальные средства информации ничего не сообщают, которые они искажают или освещают недостаточно». Но кто определяет «важность» события и «достаточность» его официального освещения? «Комментировать внутренние дела следует КОНСТРУКТИВНО» — слово, двусмысленность которого достаточно часто эксплуатируется советскими официальными источниками (в СССР и за рубежом), чтобы относиться к

нему с доверием. «Следует избегать критики ради критики» — постоянный лозунг советской печати, объявляющей «критикой ради критики» всё, что неугодно начальству любого калибра. «Критические замечания касательно политики или практических действий правительств данных стран должны основываться на ГЛУБОКОМ знании фактической стороны дела и излагаться ОТВЕТСТВЕННО». Кто определяет меру глубины и степень ответственности? В любой момент любую передачу можно объявить неглубокой и безответственной, если только она разойдется с сиюминутными требованиями глубокомысленных и осведомленных американских политиков.

3. Удивительная для руководящего политического документа политическая беспомощность. Авторы проекта не отдают себе отчета и не пытаются определить, кто является их слушателем в СССР, на кого они собираются ориентироваться, какова вообще цель такого вещания. Если из позитивной части документа следует, что целью вещания является вовлечение слушателей «в атмосферу менее замкнутого мира, где их проблемы, а также проблемы, общие для многих народов, обсуждаются свободно, объективно и без идеологических или каких бы то ни было предубеждений», если «РС и РСЕ стремятся встать на точку зрения интересов своих слушателей», то как совместить это с негативной частью текста, накладывающей на вещание ОДИННАДЦАТЬ трусливых ограничений?

Мне, человеку, прожившему всю жизнь в условиях несвободы, для которого мир только что ограничивался четырьмя стенами Владимирской камеры, неловко объяснять свободным людям свободного общества, что объективность и беспристрастность достигаются не запретами и лимитами, а широтой и разнообразием как информации, так и точек зрения.

Чем больше разных «необъективных» точек зрения слышит человек, тем легче ему прийти к действительно объективным выводам. Объективность и состоит, по-моему, в совокупности необъективностей, рождается в дискуссии. Под этим углом зрения я хотел бы рассмотреть все предложенные ограничения.

Первое ограничение я уже отметил выше, оно касается тона вещания. Что больше даст объективности — беспристрастный, тщательно отрепетированный дикторский голос, в самом чтении избегающий подчеркнуть наиболее острые места, или разно-речивый, эмоциональный, пристрастный хор спорящих, волнующихся (разумеется, ни волнение, ни эмоциональность, ни индивидуальный тон не должны быть актерской имитацией). Выражение человеческой точки зрения невозможно без эмоциональной окрашенности.

Второе ограничение состоит в том, чтобы «восполнять пробелы и выправлять искажения, допускаемые официальными средствами массовой информации ... представляя соответствующие факты, а не прибегая к полемическим средствам, как известно (?) — вызывающим у слушателей отталкивание». Но гражданам СССР нужна не только информация, но и публицистика, нужна дискуссия, и не только между авторами радио «Свобода», но и спор с официальной точкой зрения. По сути дела, мы в СССР лишены не столько информации в узком смысле слова, сколько квалифицированного развития этой информации. Отсутствие свободной печати в СССР в первую очередь лишает нас возможности осмыслить происходящее. Например, при Сталине все знали о происходящих репрессиях (хоть и не в полном объеме), однако понимали это как необходимое явление, оправданное ситуацией и «великими целями». Другой пример: советские эмигранты, которые до выезда на Запад обладали известной объективной информацией о нем,

всё-таки нередко едут с сознанием, что «раз у нас — плохо, то там хорошо», слабо представляют себе, что на Западе есть свои проблемы, и, столкнувшись с ними, теряются, впадают в отчаяние, а всё оттого, что голая, не развитая в обсуждение информация не формирует реальных представлений. Вся информация о западных трудностях и проблемах (а советская пресса дает ее щедро) не может пробить внутреннюю установку сознания, фильтрующего предложенные факты.

При анализе политических платформ различных групп, прибывающих в лагеря, бросается в глаза не отсутствие информированности о событиях, а обилие устаревших, опровергнутых жизнью концепций и доктрин. Жизнь, которую видят эти люди, одна и та же, информация поступает к ним унифицированная, однако выводы и концепции возникают у них иногда прямо противоположные и равно далекие от реальности. И не вследствие личных особенностей или политических пристрастий этих людей, а из-за невозможности обсудить доморощенные выводы, открыто спорить, получить контраргументы и корректировать результаты своих размышлений. Расширение полемики позволит людям не «изобретать велосипед».

Информационная трагедия жителей СССР состоит не только в том, что чудовищная машина пропаганды и агитации штампует из них нерассуждающих коммунистов. Напротив, аподиктичных врагов коммунизма нам поставляет именно советская пропаганда. Даже самый глупый человек в конце концов в состоянии увидеть, насколько расходится действительность с пропагандой, а монотонность и назойливость методов ее ведения вызывает зуд возражения. Однако требуется большая культура и интеллект, чтобы такой чудовищный пресс не порождал «коммунистов наоборот». Информационная трагедия

состоит в том, что советская пропаганда штампует фашистов. Явная ложь, повторяемая изо дня в день, явное насилие и издевательство над истиной вызывают даже у достаточно развитых людей стремление к обратному насилию как ответной мере. Слишком мало кто понимает, что всякое насилие приводит лишь к большевизму во всех его видах. В этих условиях просто расширение информации, «восполнение пробелов» не способствует развитию политического мышления, политического созревания, восприятию демократических принципов. Я встречал массу людей, радовавшихся расправам в Чили как своему личному успеху, людей, которые всерьез считают оправданным мучить мучителей.

Задачей вещания на СССР и, видимо, на страны Восточной Европы является не только беспристрастное расширение информации — людям надо дать другие альтернативы выхода из нынешнего бедственного состояния. Это достижимо только при широкой дискуссии. В этом отношении исключительный интерес для слушателей в СССР представляет мнение «новой» эмиграции — вчерашних жителей СССР, но уже прошедших или проходящих этап переосмысления ценностей.

Из предыдущего вытекает и возражение на следующее ограничение. Почти так же, как советские власти, авторы проекта считают, что можно устранить проблему, если закрыть ее обсуждение. Третье ограничение состоит в том, чтобы не включать в передачи «чего бы то ни было такого, что с основанием можно было бы истолковать как подстрекательство», и «каждую программу подвергать проверке, не содержит ли она ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ элементов подстрекательского характера». Не говоря о том, что и здесь неизвестны критерии определения потенциального подстрекательства, совершенно очевидно, что подобный пункт не позволит корректи-

ровать вышеописанные тенденции, возникающие у советских граждан под воздействием советской пропаганды. Мне казалось, что американское общество изжило предрассудки маккартизма не только как локальную, но и как универсальную проблему и отказалось от термина «подстрекательство» как опасного для демократии. Так почему же то, что стало пройденным этапом для американцев, предлагается как последнее достижение политической мысли для России?

Почти те же возражения можно привести и на четвертое ограничение, рекомендуемое избегать «каких бы то ни было высказываний или использования материалов, которые с основанием можно было бы истолковать как призывы к восстанию или как поддержку незаконных и насильственных действий». Можно ли расценивать таким образом информационное сообщение о восстаниях в лагерях, рассказ о забастовках и уличных демонстрациях в Польше, воспоминания о венгерской революции? Наверно, можно: ведь это пример массовых и зачастую насильственных действий (я не говорю сейчас о причинах). Так что же, исключать эту информацию, исключать ее обсуждение? А ведь это логический вывод из приведенного ограничения.

Пятое ограничение я хочу повторить почти целиком: «Избежание подачи тактических советов, то есть рекомендаций в определенных случаях действовать определенным образом, за исключением чрезвычайных обстоятельств — но и тогда лишь для того, чтобы внести успокоение, где создалась напряженная обстановка. ... Советы такого рода, вероятно, были бы встречены с неодобрением, а следование подобным советам могло бы нанести вред людям, исполняющим их». Но ведь радио Свобода в первой же фразе руководства называет себя независимым радиовещанием. В отличие от Голоса Америки, оно

берет на себя функции «местного радиовещания». Бесспорно, американское правительство не может подавать советов народам чужих стран, а местное вещание обязано это делать. Почему бы вам в Америке не запретить своим газетам подавать советы своим читателям? А в «чрезвычайных обстоятельствах», когда читатель ждет помощи, предписать газетам: вести только успокоительную пропаганду, не анализировать причин возникновения чрезвычайных обстоятельств, решать политические проблемы валерьяновыми каплями... Конечно, готовые рецепты, директивы, «вероятно, были бы встречены с неодобрением», но возможные выходы, альтернативы, прогнозы решения человек же должен иметь! Тем более, что в выдвигании различных мнений и концепций такого рода на радио Свобода/Свободная Европа, безусловно, первыми должны принять участие представители самих народов, живущие как в стране, так и за ее пределами. Попутно замечу, что под термин «советы» при желании можно подогнать что угодно: любое обсуждение подает какие-то советы, прямо или косвенно, и, руководствуясь этим ограничением, можно прикрыть почти любую дискуссию, особенно такую необходимую, как дискуссия о путях будущего развития страны.

Ограничение шестое касается «слухов» и возможности их использования. В СССР слухом считается всё то, что не сообщено в официальной печати или не подтверждено ТАСС и АПН. Для советского гражданина я, по слухам, был освобожден в обмен на Корвалана. В закрытом обществе любая информация — слух с большей или меньшей степенью достоверности. Сообщения иностранных корреспондентов из Москвы о том или ином аресте — всегда «слух», они не присутствовали при этом, им кто-то рассказал. Это возвращает нас к приведенному ранее рас-

суждению о «двух независимых друг от друга источниках информации».

Седьмое ограничение, призывающее избегать всего, что могло бы быть понято как призыв «к переходу на другую сторону», и т и щ а т е л ь н о избегать намеков на то, что кому-то следовало бы воспользоваться примером перебежчиков, демонстрирует, что авторы проекта понимают бегство из Советского Союза не в духе ст. 13 Декларации Прав Человека, а в духе ст. 64 УК РСФСР, которая приравнивает бегство из СССР и невозвращение — к переходу на сторону врага. Поразительное, почти дословное совпадение! А призывом фактически оказывается любая передача о хороших сторонах западной жизни, тем более — о хорошей жизни эмигрантов.

Восьмое ограничение представляется совершенно излишним. Избегать «любых намеков, которые могли бы навести слушателей на мысль, что в случае международного кризиса или гражданских беспорядков Запад может пойти на военную интервенцию»?!. Да даже если сами западные правительства будут каждый день обещать вооруженную поддержку «гражданских беспорядков», кто этому поверит? После Ялты, после Венгрии, после Чехословакии, после Хельсинков...

В девятом ограничении авторы проекта беспокоятся о том, чтобы в эфире не было мелких (?) сплетен, злобных высказываний или оскорбительных замечаний о личной жизни партийных и государственных деятелей. Милован Джилас начал свою оппозиционную деятельность с возмущения аморальным образом жизни правительства и только вслед за этим создал свою концепцию «нового класса». Появись Джилас со своими высказываниями теперь, он был бы, видимо, неприемлем для РС/РСЕ, у которого нет иной заботы, как беречь «имэдж» коммунистических

вождей. Создается впечатление, что его это волнует больше, чем самих подзащитных.

Ответ на десятое ограничение: «на нападки против самих РС и РСЕ ... ни откликаться, ни отвечать ... без предварительного согласования формы и содержания такого ответа с Директором соответствующей радиостанции» — элементарен. Каждый журналист (как каждый человек) имеет право отвечать на нападки и опровергать клевету, притом выбирая форму ответа по своему разумению.

Завершающий, одиннадцатый пункт, на мой взгляд, не требует никаких комментариев. Из него следует, что при возникновении чрезвычайных обстоятельств в странах, на которые идет вещание, директора обеих радиостанций должны выключить рубильник и срочно лететь в Вашингтон за инструкциями. В это время можно пустить в эфир легкую музыку, поскольку «ни одна из служб РС и РСЕ не имеет права передавать никаких материалов, относящихся к этим обстоятельствам».

И вот, после всех этих ограничений, в следующем разделе авторы безмятежно заявляют, что «таким образом станции берут на себя функции форума местной политической, социальной, религиозной и философской мысли».

* * *

Подводя итоги сказанному, остается констатировать, что американские должностные лица, ответственные за РС/РСЕ, фактически принимают советскую точку зрения на разрядку, трактуя свободную информацию как вмешательство во внутренние дела страны. Более того, информация рассматривается всерьез как сильнодействующее лекарство, которое иным народам, к нему привычным, можно давать порциями побольше, а другим, живущим восточнее

двоенных границ Советского Союза, — в гомеопатических дозах, так как они еще не способны принять «западную мысль и культурные ценности».

Меня поражает боязнь жизни и естественности, сквозящая в каждой строчке этого документа. Люди, писавшие его, не верят в демократию и стремятся подменить естественный процесс набором расплывчатых инструкций. В умелых руках предлагаемое руководство неизбежно превратится в инструмент удущения одного из последних свободных каналов информации на тоталитарные страны. Практика показывает, что умелые руки всегда вовремя находятся.

Что сказал бы американский народ, американский Конгресс и Сенат, если бы средства массовой информации США были поставлены под такой же контроль? **ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ НЕВОЗМОЖНО ВЕЩАНИЕ РС/РСЕ НА ПРИНЦИПАХ, КОТОРЫЕ ЛЕЖАТ В ОСНОВАНИИ АМЕРИКАНСКОЙ ДЕМОКРАТИИ И КОТОРЫЕ, Я НАДЕЮСЬ, АМЕРИКАНСКИЙ НАРОД СОБИРАЕТСЯ ЗАЩИЩАТЬ И ВПРЕДЬ?**

Уповать остается только на то, что этот проект будет вовремя остановлен и не введен в действие. В противном случае я могу лишь выразить Вам, господин Рональдс, глубокое соболезнование как человеку, который будет вынужден проводить его в жизнь.

С искренним сочувствием

Владимир Буковский

P.S. Разрешите считать это письмо открытым ввиду важности для всех нас проблемы свободного радиовещания.

Цюрих, декабрь 1976

ИСКУССТВО

Татьяна Ш м и д т

ОКНО НА ВОСТОК

От редакции

Художник Михаил Шемякин пять лет назад, совсем молодым человеком, приехал в Париж. Несомненная одаренность, огромная работоспособность, а также духовная высота русского искусства, которое он представлял, определили его постепенный успех в столице живописи, который сейчас уже несомненен. Выставки, красочные каталоги, публикации в важнейших журналах по искусству и, кроме того, цены на работы, необычно высокие для живущего художника (а это новый для нас, но весьма показательный фактор) — тому свидетельство. Еще одно свойство Шемякина делает его незаменимым человеком в русской колонии Парижа. Он продолжает жить интересами России и много сил, энергии и личных средств вкладывает в дело помощи художникам, живущим в СССР и уехавшим оттуда, в устройство выставок, пропаганду нашего независимого искусства. Шемякин — художественный директор огромной ноябрьской выставки русской живописи в Пале де Конгре (обзорная статья о ней будет опубликована в следующем номере «Континента»), организованной им совместно с А. Глезером, он издатель, главный редактор и оформитель альманаха современного русского авангардного искусства «Аполлон-76», организатор фонда цыганского песенного фольклора. О живописи Михаила Шемякина будет еще немало написано. Сейчас мы печатаем перевод (с англ.) присланной нам статьи, интересной русскому читателю именно западным взглядом на одного из наших талантливых соотечественников.

В вечном своем конфликте с академией художник всегда может запереться в студии, один или с друзья-

ми, и продолжать свою живопись подальше от стен школы. Но когда всё государство есть академия, художник с независимым складом ума вполне может кончить в психбольнице или в изгнании. Михаил Шемякин оказался и там, и тут.

Родившись 33 года назад в Москве, в семье советского полковника, Шемякин провел большую часть детства, разъезжая по оккупированному Дрездену в бронемашине своего отца. Отец, ревнивый осетин, всегда держал жену с ребенком при себе. По возвращении семьи в Советский Союз в 1957 году, мальчик поступил в художественную школу при Институте Репина в Ленинграде. Он учился там уже два года, когда однажды его вызвали в дирекцию и приказали бросить «мистические» увлечения. Этим чиновничьим термином обозначили интерес Шемякина к таким художникам позднего Возрождения, как Босх и Грюневальд, к «опасным модернистам» вроде Ван Гога — и к старым русским монастырям. За предупреждением, которым он, конечно, пренебрег, быстро последовали более энергичные меры: Шемякина исключили из школы за организацию «моральной коррупции» среди своих соклассников.

Все попытки продолжить художественное образование пресекались КГБ, которое сразу же взяло его на примету. А вскоре, после очередного допроса в Большом доме, 18-летний Шемякин был арестован и помещен в психиатрическую больницу. Он оказался в одной палате с шестью десятками больных, большинство из которых действительно страдало различными формами психического расстройства. Время от времени его подвергали обработке, чтобы заставить «отказаться от артистических привычек». После инъекции амфетамина, инсулина или глюкозы его вели обычно в комнату, раздевали догола, прикрепляли к голове, к рукам и ногам электроды. Вспыхивали специальные лампы, монотонный голос читал тексты по искусству,

невежественно спотыкаясь на непривычных выражениях и трудных именах. За этим испытанием следовала жуткая реакция, повергавшая его на несколько дней в агонию. Иногда служители пытались острить: «Ну, как там нынче наш Ван Гог?»

Мать Шемякина (актриса по профессии) через шесть месяцев сумела добиться его освобождения. Много больше месяцев прошло, прежде чем он смог опять приняться за живопись: каждый раз, как он поднимал кисть, его охватывало отвращение.

Теперь встала проблема, как сделаться художником, не имея доступа к художественной школе. Особенно мучительным было запрещение пользоваться специализированными библиотеками. И кроме того, он должен был работать. Одно время был дворником. Потом (редкая удача) ему удалось устроиться грузчиком в Эрмитаж, где он занимался перетаскиванием скульптур вместе с другими, столь же неудачливыми в искусстве.

Между 1962 и 1965 годами у Шемякина много событий: крайне успешно прошла первая выставка в клубе ленинградского журнала «Звезда», картины этого периода высоко оценил Игорь Стравинский, посетивший в то время Ленинград (два городских пейзажа Стравинский увез с собой), Шемякин женился, стал отцом, выставил работы в Эрмитаже. Эта выставка через три дня была закрыта, и директора Эрмитажа Артамонова убрали с должности. Но последовало множество других выставок: снова в клубе «Звезды», где Шемякин показал иллюстрации к Достоевскому и к Гофману, потом в Консерватории имени Римского-Корсакова. Каждую закрывали власти через несколько дней. Всё же ему удалось устроить обширную выставку в Новосибирске — живущей там научной элите разрешено кое в чем следовать западным тенденциям в разных областях, что неизбежно формирует авангардную аудиторию для неконформист-

ского искусства и литературы. Шемякинская выставка оставалась открытой в течение шести недель, но директор галереи М. Я. Макаренко, бескорыстный энтузиаст и воистину отважный человек, был не столь удачлив: его арестовали и отправили в лагерь на 8 лет строгого режима. Галерею закрыли и помещение переоборудовали в платный бильярд с кафетерием.

Многие талантливые советские поэты и писатели, чтобы выжить, идут в переводчики; по той же причине советские художники иллюстрируют книги. Работа Шемякина в этом направлении принесла ему признание: «Испанские эпиграммы» с его иллюстрациями, официально экспонированные Советским Союзом на Бьеннале в Венеции, получили первую премию. Его альбом вырезок из советской прессы — богатое свидетельство того, что он имел успех в России и мог бы сделать прекрасную карьеру, будь он только готов играть по правилам.

Но игра, в которую он хотел играть, была другого порядка. Как многие из его ровесников, Шемякин искал воодушевления за пределами норм социалистического реализма. Группа «Петербург», инициатором и создателем которой он являлся, имела колоритный прецедент в начале века в лице группы с Александром Бенуа во главе. Группа Бенуа — центр влиятельного движения «Мир искусства» — много сделала для ознакомления России с развитием мировой живописи. Теперь, в шестидесятые годы, Шемякин и его друзья почувствовали необходимость прикоснуться не только к запретному европейскому миру, но и к миру русского прошлого, которое после пятидесяти лет коммунизма превратилось в едва очерченный незнакомый материк.

Единственная надежда Шемякина на полную творческую свободу оказалась связанной с границей. Ему было ясно, что в СССР не допустят, чтоб он представлял те работы, которые ему хотелось делать. А карьера книжного иллюстратора под руководством

партии станет просто новым видом смирительной рубашки. Он подал документы на выезд (по единственному возможному пути, через Израиль), по прошествии четырех лет его вызвали, дали неделю на сборы и заставили подписать заявление с отказом от претензий на имущество, которого он не успеет забрать с собой — то есть на всё, что у него было. О вывозе собственных работ и рисунков не могло быть и речи.

С 1972 года Шемякин поселился в Париже. Здесь у него уже была известность, благодаря недавней выставке его работ у Дины Верни. Две следующих выставки, в галерее Гобер на левом берегу Сены, назывались «С.Петербург 1974» и «С.Петербург 1975». Почему же ленинградский художник захотел вернуть своему городу имя столицы русских царей?

Ответ лежит в основных взглядах Шемякина на положение живописи в нынешней России. Многие художники в моей стране, говорит он, пытались возродить национальную традицию, обращаясь к искусству иконы. Они преуспели лишь в имитации ее поверхностных черт — маленькие рты или тонкие руки с удлинненными пальцами. Шемякин, считает, что они упускают одно: идеал, вдохновлявший иконописцев. Он чувствует, что требуется новая символика, новый канон: такая живописная образность, которая послужит мостом между прошлым и настоящим. Он берет-ся строить двойной мост — назад к Серебряному Веку русского модернизма и еще далее, к тому периоду, который в России называют «Окном на Запад». Петр Первый, сам искусный гравёр, ввел в России гравирование, которому научился в Голландии, и сделал С.Петербург центром гравировальных искусств. Шемякин достиг блестящих успехов в этой области и последние два года перед отъездом был членом ленинградского объединения художников-графиков.

Темы, популярные во времена Серебряного Века, вновь возникают в картинах Шемякина в новых,

неожиданных сочетаниях. Подобно Андрею Белому, Шемякин пленен маской, фикцией, скрывающей простого смертного, стоящего за миром. Возможно, это маска, которую надевает художник для защиты от знания, которым он не хочет обладать. Как и мир-искусника Сомова, его привлекает чувственность: в его рисунках множество эротических подробностей, часто довольно откровенных. Подобно Розанову, он заинтригован близостью плотского и возвышенного. Но интерес Шемякина к плоти объясняется также тем, что он смотрит на человеческое существо как на животное. Вооружившись камерой и блокнотом для эскизов, он пропадал на Центральном рынке («Чрево Парижа») незадолго до его сноса, фотографировал и зарисовывал мясников, согнувшихся под тяжестью разделанных туш. В его «Мясной хирургии», акварели из серии «Чрево Парижа», есть что-то от торжественности рембрандтовского «Урока анатомии». Смерть, пройдя сквозь глаз Шемякина, оказывается не просто пугающим концом жизни, но постоянным жизненным спутником, присутствующим в любом действии и придающим напряженность процессу жизни. Кажется, будто он утверждает, что душа и дух — последнее частное достояние человека в мире, где всё прочее выставлено на широкое обозрение.

Шемякин работает по ночам. Его работы вроде ночных цветов, позабывших закрыться утром: они полны глубоких и пряных красок, сохраняющих свою напряженность при полном свете дня, благодаря технической изощренности, секрет которой знает он один. Он делает цвет, смешивая акварель, темперу и масло. Технология печатания изобретена им самим, он держит печатный станок в своей квартире. Питерская бедность выучила его экономить материалы: «Там я писал на старых мешках и мешал краски на керосине».

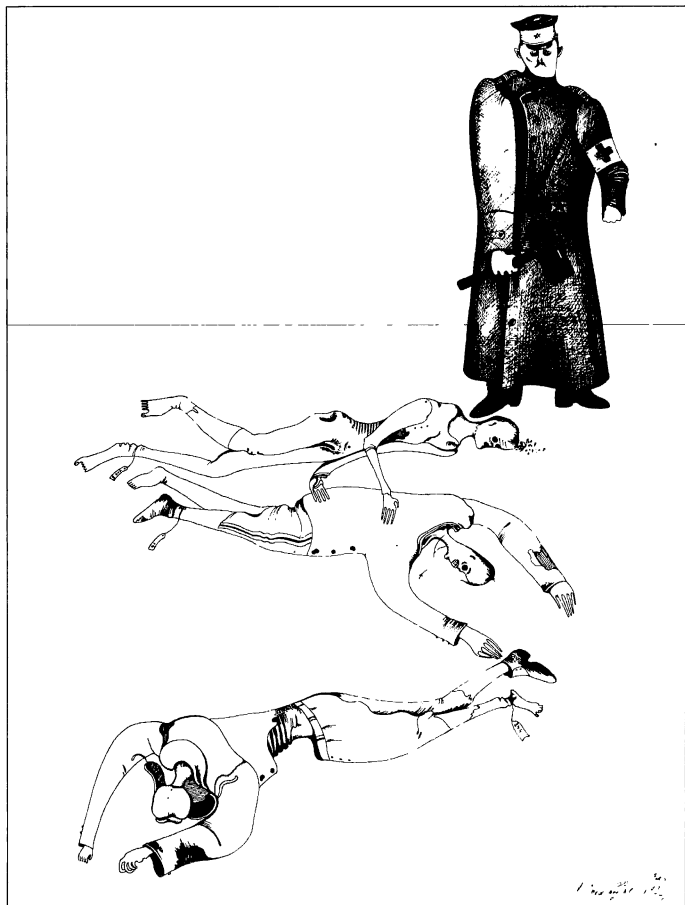
В галерее Гобер весной 1975 года было выставлено около сотни рисунков карандашом и пером, некото-

рые с неожиданными цветовыми пятнами. Тематически они объединены в циклы: «Военные бредни», «Петербургские бредни», «Махновщина, или Папино детство» и другие. Были показаны образцы иллюстраций к «Архипелагу ГУЛаг» Солженицына. «Эти рисунки, — говорит Шемякин, — памятник моим родным, погибшим в те годы. Так как некоторые находят солженицынскую книгу слишком трудной для чтения, мне хотелось приоткрыть окно, которое заставило бы их увидеть случившееся».

Пытка и смерть в этих поразительных рисунках сгущаются в особый континуум, символизирующий все акты беспричинной жестокости, которые совершались в разные времена и в разных странах человеком против человека.

Странные фигуры — полуживотные-полулюди — населяют мир шемякинской графики. В его сценах из комедии дель арте персонажи в масках, одетые в современное платье, соединяются, поглощаются друг другом, сплетаясь и расщепляясь на фоне задника, где неожиданно возникают, как в кукольном театре, персонажи второго плана, похожие на Маркса и Сталина (или на Ленина с ангельскими крылышками). Некоторые фигуры сопровождаются надписями, сделанными элегантной каллиграфической кириллицей. «Если вы, случаем, не читаете по-русски, вы не много потеряли», — с явной усмешкой сказал автор. Но если вы владеете языком, да еще, пожалуй, лупой, то найдете в этих титрах советское преломление того же самого духа противоречия, который мы видим у западной молодежи, включая склонность к эротике, иронии и гротеску. Они отражают изнанку юношеской мятежности, которую коммунисты пытаются старательно убрать из общей картины.

На одном из рисунков полуголая безногая санитарка целует смертным поцелуем солдата со связанными за спиной руками. Они помещены на крыше



*Михаил Шемякин.
Из иллюстраций к «Архипелагу ГУЛаг»*

здания с вывеской, гласящей: «Государственный орденосный крематорий им. Калинина. Наш лозунг: пятилетку в три года! Герои Социалистического труда и инвалиды II группы кремируются вне очереди». На другом, из цикла «С чего начинается родина», юноша лежит ничком на развалившейся кровати в пустой комнате рядом со столом. Но надпись открывает секрет: «Стол воображаемый. Стола в то время у нас не было».

Теперь жилище Шемякина представляет собой хорошо обставленную квартиру с мастерской в районе Данфер-Рошро. Его жена Ревекка, скульптор по образованию, блестяще владеющая графической техникой, помогает ему в работе. В течение многих лет она, по сути, почти соавтор Шемякина. 12-летняя дочь Доротея — тоже художница, и весьма своеобразная. Ее рисунки фломастерами были впервые выставлены в Палате Конгре и пользовались там успехом. У нее свой стиль, хотя ее школьный учитель рисования предпочитает, чтоб она рисовала, как другие дети. У Шемякина живет несколько собак, в том числе белый бультерьер «Урка», который фигурирует на многих работах своего хозяина.

Немного освоившись с французским и владея немецким достаточно, чтоб объясниться с торговцами живописью, Шемякин прокладывает свою собственную дорогу к успеху. С тех пор как он покинул СССР, у него было уже шесть выставок в Париже и одна в Цюрихе. Недавно он получил высшую награду на конкурсе Нишидо Прайц (Япония) за фигуративную живопись. Это означает денежную премию и пять персональных выставок, одна в Париже, другие в Токио, Осаке, Нагойе. У него хорошая пресса во Франции: Алан Боске* окрестил его славянским Паулем Клее.

* Алан Боске — известный французский поэт-сюрреалист и искусствовед (Прим. перев.)

Его любит также одна из ведущих галерей Нью-Йорка, и он выставляется за океаном.

Когда-нибудь Шемякин надеется показать зрителям свои портретные зарисовки, сделанные в советской психотюрьме. Тогда мы впервые получим возможность увидеть своими глазами самый современный способ мучительства, до сих пор выражавшийся лишь словами: в Советском Союзе нонконформизм приравнивается к болезни. Похоже, что графика есть тот язык, на котором русские смогут общаться с границей, добиваясь наибольшего непосредственного воздействия.

Удалось ли Шемякину открыть окно на Восток? Сейчас еще это трудно сказать. У каждого художника свой путь. Но судя по уже сделанному, Шемякин выполняет тройное обещание: у него яркий индивидуальный стиль, его мастерство безупречно, он обладает ясной концепцией миссии художника. Искусство, настойчиво утверждает Шемякин, должно быть прежде всего искусством и обладать подлинным духовным критерием. Думаю, что его кредо гораздо более широко разделяют в советской России, чем хотели бы убедить нас правители этой страны.

ШМИДТ Татьяна, — искусствовед и литературный критик. Училась в США и Франции, опубликовала множество статей в международной прессе. Автор монографии о Константине Бальмонте «Бегство как форма бунта».

ИСТОКИ

Петр Семерджиев

ПРОИСХОЖДЕНИЕ МИФА

(Из книги о Георгии Димитрове)

Георгий Михайлович Димитров родился 18 июня 1882 г. в селе Ковачевци Радомирское в семье ремесленника. В официальной биографии сообщается, что семья жила в трудностях и лишениях, поэтому из-за материальных затруднений Димитров был вынужден в раннем возрасте оставить училище и идти работать. Эти сведения — результат идеологического увлечения партии биографией Димитрова и его собственных отдельных высказываний. Родители Димитрова действительно переживали общие трудности болгарского населения, вынужденного покинуть родные места, оставшиеся в границах Турецкой империи после создания новой болгарской державы в результате русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Оказавшись в селе Ковачевци, они связали свои судьбы, там же родился их первый сын Георгий. Но вскоре они ненадолго переехали в город Радомир, а затем поселились в Софии. Здесь отец его стал собственником мастерской в центре города. Родители принадлежали к протестантской церкви и поддерживали тесные связи с евангелической миссией в Болгарии, которая среди прочих мероприятий организовала и так называемый американский колледж в Самокове. Отец до конца своей жизни (умер в 1912) был ревностным приверженцем протестантизма, а мать (умерла в 1944) не только соблюдала все

требования религии, но и была в близких контактах с наиболее ответственными протестантскими пасторами в Болгарии. Евангелическая миссия всячески помогала семейству Димитрова. Когда говорят, что для поездки в 1933 г. в Германию на Лейпцигский процесс мать Димитрова получила денежную помощь от партийных деятелей Земледельческого союза «Пладне» через их руководителя Косту Тодорова, остается неизвестным или замалчивается тот факт, что она получила даньги и от протестантской церкви (которые были переданы ей лично протестантским пастором Василем Зяпковым). Сестра Димитрова Магдалена вышла замуж за долголетнего служителя миссии, а племянницы получили образование в том же американском колледже.

Димитров ушел из училища из-за слабого здоровья, но, окрепнув, он не продолжил образование, а поступил учеником в типографию. В то время это была новая профессия в Болгарии, первые печатники были объектом как синдикалистского движения, так и социалистической пропаганды. В годы профессионального ученичества молодой Димитров вступил в контакт с первыми болгарскими пропагандистами социалистических идей. Выросший в религиозной протестантской среде, молодой человек пережил перелом и в 1902 г. стал членом Болгарской социал-демократической партии. Димитров освоил профессию, и родные готовили его к самостоятельной работе: в 1903 г. он был назначен управляющим типографией американского колледжа. Однако он предпочитает общественную деятельность. В 1904 г. по инициативе партии социалистов-тесняков¹ был организован учредитель-

¹ Болгарская социал-демократия была расколота на так наз. «широких» и «узких» («тесных») социалистов. «Тесняки» — более радикальное, антиреформистское, пользовавшееся меньшей поддержкой масс крыло. Так же, как большевики, тесняки потом превратились в коммунистов. — Прим. ред.

ный конгресс объединения рабочих профсоюзов. Димитров вошел в избранный конгрессом совет, а после конгресса он был избран секретарем рабочего совета Софии. Он порвал с прежней профессией и начал работать как профсоюзный деятель и редактор профсоюзной газеты.

Г. Димитров постепенно утверждается в иерархии тесняков, которыми руководил Димитр Благоев. Димитров включился в социалистическое движение как раз в момент его раскола, под влиянием которого произошел раскол и в только что зародившемся синдикалистском движении. Крыло тесняков было в меньшинстве, малочисленными были и профсоюзы этого направления. Поэтому всякий последователь тесняков среди синдикалистов был особенно ценен, Димитров был одним из немногих, на кого тесняки могли рассчитывать в профсоюзах. Социалистическое движение в Болгарии еще в зародыше претендовало на то, что оно выражает интересы рабочих. Это с особой настойчивостью пропагандировали тесняки, хотя среди них было мало рабочих. Тесняки набирали своих приверженцев преимущественно из среды интеллигенции, но всячески старались изобразить себя людьми физического труда. Первые годы секретарем совета профсоюзов избирался Георгий Кирков, один из основателей БРСДП, общественный деятель и публицист, родом из богатой семьи. Тесняки могли выдвинуть Димитрова как рабочего, как человека, представляющего интересы рабочего класса.

В 1905 г. Димитров становится секретарем совета профсоюзов, а затем секретарем партийной организации тесняков Софии. В 1909 г. он избирается членом ЦК и занимает вместо Г. Киркова пост секретаря-казначея Объединения профсоюзов. Это позволило выдвинуть его кандидатуру в Народное собрание и, после неудачных попыток, в 1913 г. он был избран депутатом. Так формировался его облик общественного

и политического деятеля. Он был в постоянном контакте с виднейшими руководителями тесняков: вместе с ними заседал в болгарском парламенте и вместе с ними участвовал во встречах и конференциях социал-демократических партий и профсоюзов балканских и балкано-дунайских стран. Когда после первой мировой войны был создан III Коммунистический интернационал и БРСДП (т. с.) присоединилась к нему, переименовавшись в Болгарскую коммунистическую партию (тесные социалисты) — БКП (т. с.), Димитров был среди деятелей, которые поддержали новую ориентацию партии.

Каково было положение Г. Димитрова среди руководителей партии тесняков, преобразованной в секцию III Коммунистического интернационала?

В директиве № 1 Центрального комитета БКП (т. с.), посланной партийным комитетам и руководителям партийных групп, сообщался состав нового Центрального комитета. В него вошли: Димитр Благоев, Георгий Кирков, Васил Коларов, Христо Кабакчиев, Георгий Димитров, Тодор Луканов и Никола Пенев. Все они, за исключением Димитрова, принимали участие в идеологическом и организационном создании своей партии. Даже самый младший, Никола Пенев, имел больший, чем у Димитрова, партийный стаж. Они были образованными марксистами. В интеллектуальном отношении он далеко отставал от них. Но в новом составе ЦК Димитров представлял Профсоюзный совет, и это было основанием для утверждения его в руководящих органах партии. Чтобы подчеркнуть ее классовый рабочий характер, Димитрова всегда включали в партийные делегации на конгрессы Коминтерна, он представлял партию в Балканской Коммунистической федерации и др.

После первой мировой войны в БКП выдвинулось много новых деятелей, представителей свободных профессий, главным образом адвокатов и учителей. Они

руководили местными партийными организациями, участвовали в Высшем партийном совете и превосходили Димитрова как в интеллектуальном отношении, так и в политической подготовке. Его деятельность определялась рамками профсоюзного движения. И если в период 1923-1925 гг. он попал в центр событий, разыгравшихся в Болгарии, то это результат иных причин. В этих событиях Димитрову была отведена серьезная роль, которая, с одной стороны, раскрыла его действительное положение в партийном руководстве, и с другой — отношение к нему партийных кадров.

В политической истории Болгарии 1923-1925 годы наполнены драматическими событиями, в которых коммунисты сыграли роковую роль. 9 июня 1923 г. было свергнуто путем военного переворота правительство Земледельческого народного союза во главе с Александром Стамболийским и заменено правительством проф. Александра Цанкова. БКП, находившаяся в острой вражде с земледельческим правительством, встретила переворот не без злорадства и объявила позицию нейтралитета по отношению к борющимся силам. Партийное руководство даже лелеяло надежду, что новое правительство восстановит демократические права и свободы, ограниченные правительством Стамболийского. Естественно, и Димитров, который в то время не имел влияния на определение политического курса партии, всецело поддержал принятую позицию нейтралитета.

Отношение болгарской компартии к перевороту 9 июня было подвергнуто критике со стороны Исполкома Коминтерна. Коминтерновские руководители как проводники советской внешней политики направляли всё свое внимание на напряженное положение в Германии (после оккупации Рурской области франко-бельгийскими войсками 11 января 1923). Недовольство

в Германии было огромным, и Коминтерн считал, что в стране создались предпосылки революционной ситуации. Через Германскую коммунистическую партию усиленно готовилось вооруженное восстание. Ему нужна была поддержка в других странах. Коминтерн из всех сил стремился повлиять на внутривнутриполитическую жизнь Франции в связи с событиями в Марокко и на Англию в связи с событиями в Китае. Внимание было направлено и на Румынию, Эстонию и др. Внезапный переворот в Болгарии создавал благоприятнейшую ситуацию. Позднее, осенью того же года, подобная ситуация сложилась и в Польше.

Первая весть о перевороте в Болгарии была получена в Москве во время заседания Исполкома Коминтерна. Исполком с недоумением встретил позицию, занятую руководством БКП. Бездействие болгарских коммунистов было решительно осуждено. Выступили Зиновьев, Радек, представители венгерской и югославской коммунистических партий и присоединившийся к ним болгарский представитель Васил Коларов: они заявили, что руководство болгарской партии допустило ошибку, которую надо исправить, что следует взять курс на подготовку вооруженной борьбы для свержения нового правительства, поскольку Земледельческий союз имеет огромное влияние среди сельских масс, болгарская компартия проявила себя как активная политическая сила и представляет собой вторую по величине партию в стране, а новое правительство еще не окрепло.

Однако позиция Коминтерна и сделанное им внушение не нашли благоприятного отклика в руководстве БКП. На заседании Высшего партийного совета, проходившего 1-6 июля 1923 г. в Софии, на котором присутствовали и представители партийных округов, позиция нейтралитета была одобрена единодушно. Димитров также поддержал это решение. О том, как в Москве оценивалась важность болгарских событий,

говорит тот факт, что в страну немедленно был послан в качестве представителя Коминтерна В. Коларов для исправления политики партии и для ориентации ЦК на подготовку вооруженного восстания.

На заседании ЦК, проходившем 5-7 августа в присутствии В. Коларова, Г. Димитров поддержал новую линию. Резолюция ЦК гласила: «Переворот 9 июня создал кризис власти, из которого не может быть другого выхода, чем вооруженное восстание масс во имя рабоче-крестьянского правительства»². Эта резолюция вызвала ряд практических мер военно-технического и политического характера. Они осуществлялись политическим секретарем партии и руководителем партийной военной организации. Димитров исполнял вспомогательную роль. Как от руководителя профсоюзной организации, от него требовалась популяризация в партийной печати идей создания единого рабочего фронта с социал-демократами. Кроме того, на него была возложена подготовка плана организации всеобщей политической забастовки.

Первая статья Димитрова о едином рабочем фронте была напечатана в партийном органе «Рабочий вестник» 22 августа и озаглавлена «Единый фронт и наступление на капитал». До 5 сентября эта же газета напечатала еще 8 его статей. В газете «Труд» 6 сентября была напечатана последняя, девятая статья этой серии под заголовком «Наша программа». Все они очень примитивны, бедны по содержанию и полны характерной для того времени партийной фразеологией. И если в первых статьях говорилось о необходимости полного объединения массовых политических организаций трудящихся, то в последующих, в связи с отказом социал-демократической партии сотрудничать с коммунистами, содержались острые нападки и

² История на Българската комунистическа партия. Изд. БКП. София, 1969, стр. 281.

обвинения в том, что «социал-демократы стали союзниками капитала и реакции»³. Эти статьи Г. Димитрова не имели политического эффекта и практического значения. В них не были ни разработаны предложения ЦК о едином рабочем фронте, направленные социал-демократам, ни приведены дополнительные аргументы.

Г. Димитров не смог проявить себя и как организатор, занимаясь подготовкой всеобщей забастовки. 12 сентября правительство Цанкова, располагая бесспорными фактами о подготовляемом коммунистами восстании, произвело аресты видных деятелей коммунистической партии. Димитров сумел избежать ареста и скрыться от преследований полиции. Хотя эти аресты и подорвали работу ЦК, забастовку решено было провести 14 сентября, раньше намеченного. Предполагалось, что она послужит очагом вооруженной борьбы. После попытки объявить стачки на некоторых заводах, преимущественно в Софии, и от этой инициативы пришлось отказаться. Стало ясно, что в стране нет условий для всеобщей политической забастовки, а профсоюзы, руководимые Димитровым, не в состоянии ее организовать. Через несколько дней после провала забастовки, имея сведения о неподготовленности местных партийных организаций к вооруженному восстанию, об их дезорганизованности после арестов 12 сентября, — Димитров, единственный из всех членов ЦК, поддержал авантюристическую линию Коларова на вооруженное восстание.

Участие Г. Димитрова в вооруженном восстании в сентябре 1923 г. явилось переломным моментом в его жизни и политической деятельности. После 1934 г. в историко-партийной литературе Болгарии роль Димитрова в восстании была полностью фальсифицирована. После 1956 г., в связи с решениями XX съезда

³ «Работнически вестник» № 75, 1923, 1 сент.

КПСС, на так называемом Апрельском пленуме Центрального комитета БКП 1956 г., были сделаны известные коррективы. Однако по существу они не затронули фальсификаций, а узаконили их. Единственное изменение, которое было внесено, относится к восставлению в этих событиях главенствующей роли В. Коларова, которой до этого пренебрегали в пользу Димитрова.

Центральный комитет партии в 1923 г. принял курс на подготовку вооруженного восстания и дал соответствующие директивы местным партийным организациям. Однако и самые ответственные его деятели не имели единого мнения, как и когда осуществлять этот курс. Вопросы вооруженной борьбы ранее не стояли перед партией тесняков. Об этом свидетельствует и признание политического секретаря партии Христо Кабакчиева: «...до возвращения т. Васи́ла Коларова в ЦК не имелось ясного и установившегося мнения относительно предстоящего восстания». При принятии общего курса на первый план была выдвинута активность деятелей военной организации партии. Однако она протекала медленно, а в Софии была вообще парализована арестами, предпринятыми правительством 12 сентября. Политическое руководство партии не успело развернуть какую-либо серьезную деятельность, а правительство, осведомленное о подготовке восстания, консолидировало свои силы. Признанный руководитель партии Д. Благоев, хотя и больной, нашел в себе силы высказаться против подготовки партии к восстанию и против миссии Коларова. Политический секретарь партии Христо Кабакчиев не был окончательно убежден в правильности рекомендованного курса на подготовку восстания и еще меньше в быстром определении даты его объявления. Организационный секретарь ЦК Тодор Луканов ссылаясь на плохое состояние партийной организации, которая задолго до переворота 9 июня (еще с 1922 г.)

была в большой степени расстроена, делал попытки доказать, что партии нужно подготовиться и ждать результата назначенных на ноябрь 1923 г. парламентских выборов и лишь после этого решать вопрос об определении даты восстания.

Накануне объявления восстания Г. Димитров скрывался с Коларовым в одной квартире. В эти дни он превратился в тень Коларова. Нет никаких сведений о какой-либо инициативе или действиях с его стороны. А Коларов последовательно проводил выполнение возложенной на него задачи. Он спешил провозгласить восстание. Димитров послушно следовал за ним. Оба они взяли на себя политическую ответственность и дали распоряжение об объявлении восстания. А сами быстро отправились в северо-западную Болгарию, но не в окружной город Враца, предполагаемый центр восстания, а в отдаленный район этого округа, расположенный поблизости от границы с Югославией, якобы определенный как центр восстания. В день, когда Коларов и Димитров покинули Софию и отправились в город Фердинанд (теперь Михайловград), попытки восстания в отдельных районах страны были уже подавлены. В большинстве окружных центров, за исключением города Стара Загора, не было даже попыток восстания. В центрах, считавшихся до этого опорой деятельности коммунистической партии, положение было таким же. Восстание вспыхнуло в сельских районах и в некоторых мелких городских центрах, таких как Нова Загора, Разлог и Фердинанд.

Димитров свидетельствует, что 15 сентября вечером на заседании Центрального комитета было решено «взять курс на вооруженное восстание, сообщить в провинцию, чтобы ждали сигнал, и на следующем заседании определить день восстания»⁴. Во время за-

⁴ Г. Димитров. Сочинения, том 8. Изд. БКП, София, 1953, стр. 325.

седания были получены первые сведения о вооруженных столкновениях в отдельных сельских районах страны. Коларов отсутствовал на заседании, но, получив эти сведения, быстро отправил записку с рекомендацией немедленно дать сигнал к действиям. Однако это осталось без последствий, так как никто из членов ЦК, в том числе и Димитров, не считали это возможным. Согласно свидетельству Димитрова, на этом заседании было решено создать политическое бюро в составе: Васил Коларов, Тодор Петров, Тодор Луканов и Георгий Димитров, которое должно было собраться, чтобы обсудить события и определить дату восстания.

Как утверждает Димитров, оба они договорились направить в ЦК предложение начать восстание с 22 на 23 сентября. В историко-партийной литературе указывается, что последнее заседание ЦК состоялось 20 сентября и одобрило решение о созданном 15 сентября политическом бюро. Однако нигде не сообщается, что Коларов и Димитров направили в Центральный комитет свое предложение о дате восстания. Не имеется также данных, которые бы подтвердили, что решение о создании такого бюро было выполнено и что оно хоть однажды собралось на заседание в указанном составе, чтобы обсудить подготовку и определить дату восстания. С другой стороны, Центральному комитету не имело смысла повторно заниматься вопросом, по которому он уже имел решение и для выполнения которого указал состав, задачи и полномочия политического бюро. При несогласии Т. Луканова, который настаивал не торопиться с определением даты восстания, и при отсутствии Т. Петрова, который был болен, становится ясно, что никто из членов Центрального комитета не спешил с объявлением восстания. Единственный, кто поддерживал эту позицию, был В. Коларов. Роль Димитрова в данном случае сводилась лишь к тому, чтобы не препятство-

вать последнему и действовать от его имени. Ничем не подтверждается и тот факт, что 20 сентября был «созван пленум ЦК», как это утверждает Димитров в докладе «События 9 июня и сентябрьское вооруженное восстание 1923 г.», сделанном на Второй партийной конференции. Практика созыва «Пленума ЦК» является позднейшей партийной практикой. В рассматриваемый период в партийной структуре существовал Высший партийный совет. Имеются точные сведения о заседаниях Высшего партийного совета в начале июля и начале августа, на которых обсуждалась партийная позиция по отношению к этим событиям. В самые решительные дни нигде не упоминается роль Высшего партийного совета. Поэтому необходимо подчеркнуть, что не было решения ЦК об объявлении всеобщего вооруженного восстания по всей стране с 22 по 23 сентября.

С соучастия Димитрова в провокационных действиях Коларова началась его новая роль в рядах Болгарской коммунистической партии. Благодаря Коларову перед ним раскрылся путь к действительно руководящему положению среди болгарских коммунистов. Эта деятельность была оценена и руководством Коминтерна, и он стал доверенным лицом в среде коминтерновских деятелей.

Подавление сентябрьского восстания в Болгарии не потребовало особого напряжения со стороны властей. Карательные меры коснулись преимущественно районов и сел, которые восстали или сделали попытку восстать. Репрессии затронули местные организации коммунистической партии. Однако большинство организаций в стране сохранилось. Это позволило Коминтерну использовать эмигрировавших коммунистов для подготовки новой вооруженной борьбы. Болгарской коммунистической партии был заново навязан курс на вооруженное восстание. Важную роль в его проведении сыграл Димитров.

Еще не было полностью подавлено восстание в северо-западной Болгарии, как Димитров вместе с Коларовым уже бежал в Югославию. Там он оставался недолго. В октябре вместе с Коларовым он направился в Вену, и там по поручению Коминтерна под руководством Коларова было создано Заграничное представительство ЦК БКП, состоящее из трех человек, в котором участвовал и Димитров. Когда в конце октября Коларов вернулся в Москву, чтобы продолжить свою деятельность секретаря ИККИ, фактическим руководителем Заграничного представительства остался Димитров. В качестве такового он действовал, чтобы восстановить партийную работу в стране, организовать новое партийное руководство, состоящее из лиц, которые поддерживали бы линию Коминтерна по подготовке нового вооруженного восстания. После известных колебаний и перемен в период с октября 1923 г. до мая 1924 г. состав ЦК партии был окончательно утвержден решением так называемой Витошской конференции (май 1924). На ней Димитров был избран членом ЦК и было подтверждено его членство в Заграничном представительстве. Она одобрила также и курс на подготовку нового вооруженного восстания.

Вопреки положительным результатам участия партии в парламентских выборах в ноябре 1923 г. ни Коминтерн, ни ЦК партии, ни его Заграничное представительство не оценивали правильно политическую обстановку в стране. Оставалась в силе специальная резолюция ИККИ, опубликованная в «Правде» от 7 февраля 1924 г.: «События в Германии, Польше и Болгарии, разыгравшиеся в период май-ноябрь 1923 г., являются новой главой в истории международного движения. Эти события ввиду большого значения германского революционного движения имеют величайшую важность для коммунистического движения». Эта оценка определила политику и тактику Болгарской

коммунистической партии в период 1924-1925 гг. Поэтому позднее пришлось признать, что «осенью 1924 г. партия не смогла правильно оценить обстановку. Явно намечались элементы отлива народного движения, и это было не изолированное явление, существовавшее только в Болгарии. Это было международное явление»⁵.

Роль Димитрова в этой обстановке сводилась к тому, чтобы проводить распоряжения Коминтерна в болгарской компартии и настаивать на ускорении подготовки восстания. В этой роли проявились основные черты, характерные для его деятельности в эмиграции: авантюризм и двуличие. Они проявились еще в период подготовки восстания осенью 1923 г. в дни от 5-6 августа до 20 сентября. Но тогда он находился под воздействием натиска, оказываемого на него В. Коларовым. И его ответственность сводится к тому, насколько он поддержал действия Коларова и участвовал в провоцировании восстания. При новых условиях, создавшихся после Витошской конференции партии в 1924 г., он оказался в положении Коларова. Директивы Коминтерна передавались уже ему, и он лично разъяснял их прибывшим в Вену болгарским деятелям. Центральному комитету партии и всей общественности в Болгарии после событий, разразившихся в сентябре 1923 г., было ясно, что Коларов несет главную ответственность за трагические последствия доставленной им директивы о вооруженном восстании. Положение Димитрова было другим. Он находился в Вене и действовал как нелегальный руководитель, передающий полученные указания отдельным лицам. Не только роль Коминтерна в наступивших событиях, но и действия Димитрова оставались скрытыми от болгарской общественности. Они оставались

⁵ Сборник лекции по история на Българската комунистическа партия. Изд. БРП(к). София, 1948, стр. 305.

неизвестными даже руководству компартии. Это позволяло Димитрову, пользуясь методами и средствами нелегальной борьбы, скрыто действовать на тайных явках, а публично заявлять совсем другое. Таким же образом при разоблачении нелегальной деятельности партии и директив, которые были получены ею из-за границы, он мог отрицать сделанное им.

Невозможно представить, что обстановка, не позволявшая готовить новое вооруженное восстание, не была ясна деятелям Коминтерна и отдельным деятелям болгарской компартии и коммунистической эмиграции. Из некоторых писем Димитрова, ставших известными много позднее, из отдельных статей нелегального партийного органа газеты «Рабочий вестник» видно, что подобный вопрос обсуждался. Действия партизанских отрядов и террористические акты также подвергались критической оценке. Но именно в этом раскрывается жестокое двуличие деятелей Коминтерна и их болгарских единомышленников, и в первую очередь Димитрова. Коминтерн действовал через Димитрова, чтобы создать нелегальный аппарат компартии в стране и направить этот аппарат на активную террористическую деятельность. Она завершилась страшной катастрофой со взрывом в соборе «Святая Неделя». Правительство правильно оценило роль Москвы и Коминтерна и ответственность их представителей, деятелей болгарской компартии, в этом страшном преступлении. С другой стороны, деятели Коминтерна и БКП испугались ответственности за то, что сами подготовили и совершили, отреклись от участия в этом злодеянии и обвинили правительство в том, что это оно спровоцировало взрыв, чтобы нанести удар по коммунистической партии.

Как был подготовлен взрыв в соборе «Святая Неделя» и какова была роль Димитрова?

Взрыв был задуман и основывался на тщательно разработанном плане, осуществленном 16 апреля 1925 г. Его авторы рассчитывали, что террористическим актом большого масштаба будет нарушено нормальное функционирование центральной власти, а это, в свою очередь, облегчит ее свержение. По их замыслу, взрыв должен был послужить сигналом для нового вооруженного восстания под руководством коммунистов. Решение об этой акции было принято Центральным комитетом во главе с политическим секретарем Иваном Маневым и организационным секретарем Станке Димитровым-Мареком, а исполнение возложено на военную организацию партии во главе с Костой Янковым и ответственным за террористическую деятельность Марко Фридманом. Непосредственным организатором подготовки взрыва был М. Фридман. Это решение было доложено Заграничному представительству в лице его руководителя Димитрова и одобрено им, то есть санкционировано и органами Коминтерна. Нет точных сведений, когда это фатальное решение было принято. Можно, однако, предположить, что это произошло не позднее осени 1924 г. Русский историк П. Н. Милюков пишет об этих событиях в Болгарии следующее: «Здесь сделана была в апреле 1925 г. попытка истребить коллективным террористическим актом, беспримерным по дерзости и по размаху варварского замысла, сначала царя Бориса, а потом, на его похоронах, всю правящую верхушку и все военное командование Болгарии, чтобы вслед за тем повторить неудавшуюся раньше попытку революционного взрыва. Инициатива замысла документально возводится к специальной конференции в Бадене, близ Вены, 29 декабря — 2 января 1925 г., на которой решено под руководством особого комитета Коларова (болгарский представитель Коминтерна), Мануильского и Свидерского приступить к беспощадному уничтожению агентов правительства Цанкова

путем применения массового и индивидуального террора»⁶.

Военная партийная организация располагала известным опытом по проведению индивидуальных террористических актов. Их объектами были отдельные представители власти, полицейские начальники, судебные служащие, общественные деятели и др. Используя этот опыт, организаторы взрыва после неудачного покушения на царя Бориса организовали покушение на одного из видных представителей болгарской армии, деятеля правящей партии «Демократический сговор», генерала Константина Георгиева. Они рассчитывали, что на похоронах генерала будут присутствовать многие представители власти, в том числе и монарх. С этой целью был подготовлен взрыв в соборе «Святая Неделя» во время богослужения. Предположения оказались точными. Генерал Георгиев был убит на улице Софии. В собор «Святая Неделя», где был выставлен гроб, пришли, чтобы почтить жертву революционного террора, министры, военачальники, журналисты и пр. И ... взрыв был ужасен. Согласно данным, приведенным Ротшильдом, число убитых составляло 128, а раненых 323⁷. Паника была неопишуемой. Но правительственные органы быстро оправались и обрушили страшный удар на коммунистическую партию. Более 2000 человек из ее рядов были убиты. Партийная организация была разгромлена. Этот удар был еще страшнее, чем перенесенный в 1923 г.

Во всех коммунистических источниках того времени говорилось о роли русского эмигранта Сергея Дружиловского. Он обвинялся в изготовлении фальшивых документов, в которых от имени Коминтерна давал

⁶ П. Милуков. Россия на переломе. Том 1. Париж, 1927, стр. 352.

⁷ Rothschild, Joseph, *The Communist Party of Bulgaria* (1883-1936). Columbia University Press, New York, 1959.

распоряжения о подготовке революции в Болгарии. Эта версия была использована, чтобы отвести обвинение против Коминтерна и болгарской компартии как авторов взрыва. Позднее, в 1926 г., Дружиловский был доставлен в Советский Союз и против него был организован судебный процесс в Москве. Одним из главных свидетелей на этом процессе был В. Коларов. В своих показаниях, говоря о взрыве в соборе «Святая Неделя», Коларов заявил: «Есть некоторые моменты, которые еще не выяснены окончательно. Например, такой момент. В фальшивом приказе Москвы о выступлении Болгарской компартии указана дата — 15 апреля. Сказано, что 15 апреля должно быть выступление. Этот же документ был составлен Дружиловским, кажется, в марте месяце... значит, по крайней мере за месяц, кажется, даже раньше, тринадцатого марта... Итак, никакому сомнению не подлежит, что этот документ был инспирирован заинтересованными правительственными кругами самой Болгарии, возникает вопрос, почему там поставлена именно эта дата — пятнадцатого апреля? А шестнадцатого апреля произошел в Болгарии известный взрыв в кафедральном соборе. Этот пункт остается темным и пока можно только предполагать, что существовала какая-то связь между некоторыми правительственными кругами, официальными кругами, которые внушали составление подобных фальшивок, и этим актом. Можно это допустить, хотя и нет еще определенных данных»⁸.

То, что Коларов не пожелал сказать открыто, было сказано Димитровым, хотя и значительно позднее. В 1933 г., во время Лейпцигского процесса, в заключительной речи на суде он заявил: «Я напомним также покушение в Софийском соборе. Это покушение не было организовано Болгарской коммунистической

⁸ В. Ардаматский. Две дороги. М., «Молодая гвардия», 1973, стр. 285-286.

партией, но из-за него Коммунистическая партия подвергалась преследованиям. Две тысячи рабочих, крестьян и интеллигентов были зверски убиты фашистскими бандами под тем предлогом, что собор взорван коммунистами. Эта провокация со взрывом Софийского собора была организована болгарской полицией»⁹.

Какие факты о взрыве в соборе всё еще не известны?

В начале 1925 г. подготовка взрыва в соборе «Святая Неделя» была завершена. Исполнение задуманного плана надо было окончательно согласовать с Заграничным представительством ЦК БКП, а следовательно, и с Коминтерном. Среди руководящих деятелей внутри страны в то время начались некоторые колебания по поводу необходимости и политической полезности подобного акта. Г. Димитров был первым человеком, с которым партийное руководство поделилось своими колебаниями. В начале 1925 г. в Вену прибыл организационный секретарь Центрального комитета БКП Станке Димитров-Марек. Его беседы о положении в стране и подготовке партии к вооруженному восстанию велись исключительно с Димитровым. С ним он поделился и колебаниями, возникшими у деятелей в стране. Это были и его колебания, поэтому Марек поставил перед Димитровым вопрос, оправдается ли с политической точки зрения подготавливаемый взрыв. Димитрову эти колебания показались неуместными, он настаивал на исполнении принятого решения. Когда и в последнюю их встречу перед возвращением Станке Димитрова-Марека в Болгарию последний спросил Димитрова, окончательны ли его указания о взрыве, ответ был недвусмысленным и категорич-

⁹ Г. Димитров. Лейпцигский процесс — речи, письма и документы. М., Госполитиздат, 1961, стр. 171.

ным. Димитров заявил, что нужно действовать, а о последствиях думать потом.

Когда Станке Димитров-Марек вернулся в Болгарию, подготовка взрыва шла полным ходом. Его договоренность с Димитровым в Вене состояла в том, что пароль для совершения взрыва будет передан в момент, когда он покинет страну. В начале марта Станке Димитров-Марек уезжает в Москву для участия в заседании ИККИ. По конспиративным соображениям пароль был передан им только на вокзале. На ступеньке вагона он сообщил сопровождавшему его лицу распоряжение Димитрова о совершении взрыва. Оно было передано в ЦК, и террористический акт совершился.

Вот это прямое участие и ответственность Г. Димитрова за взрыв в соборе «Святая Неделя» в Софии тщательно скрывается. Истина о замысле, подготовке и совершении этого взрыва и роль Димитрова в нем сохранена в документах, которые находятся в архиве Заграничного бюро ЦК БКП. Авторство Болгарской коммунистической партии в совершении взрыва указано в показаниях непосредственных его исполнителей и особенно М. Фридмана, пойманного полицией сразу после взрыва, приговоренного к смерти и казненного. Подготовка партии к вооруженной борьбе была подтверждена в покаянных показаниях Цолы Драгойчевой (сегодня члена Политбюро ЦК БКП), арестованной в то время и судимой за нелегальную деятельность в Пловдиве. В них она рассказывает известные ей тайны об этой деятельности и называет имена, которые знала по совместной работе.

В начале 30-х годов в жизни Г. Димитрова наступили события, которые резко изменили его положение в коммунистическом движении. Процесс организационного укрепления болгарской компартии завершился, руководство ее стабилизировалось. Внутрипартийная борьба постепенно прекратилась. Но именно

тогда произошли события, вызвавшие неожиданный оборот и давшие совершенно другое направление деятельности Димитрова.

Отстраненный от непосредственного участия в руководстве болгарской компартии, вынужденный жить в Берлине и оставленный только как кандидат в члены Заграничного бюро ЦК БКП, для болгарских коммунистов он был деятелем далекого прошлого. Перемена была вызвана двумя наиважнейшими событиями. Первое из них было связано с приходом к власти национал-социалистов в Германии, организацией Лейпцигского процесса и привлечением Димитрова в качестве обвиняемого. Второе было связано с новым курсом советской внешней политики, который вызвал поворот в тактике Коминтерна и сделал необходимым провозглашение обновленной тактики единого фронта.

Вся инсценировка Лейпцигского процесса и главная роль, которую Димитров сыграл на нем, поставили его в положение человека, чье имя коммунистическая пропаганда связала с борьбой против политики германского фашизма. За короткий период — с начала 1933 до середины 1935 г. — он был вознесен со скамьи подсудимых в Лейпциге до руководителя БКП и генерального секретаря ИККИ. Лейпцигский процесс явился как бы ступенью, с которой коммунистическая пропаганда продемонстрировала его всему миру и поставила на пьедестал. Руководители германской компартии и Коминтерна делали всё, чтобы ориентировать его в обстановке процесса, а советское правительство предприняло энергичные меры, чтобы повлиять на ход процесса и гарантировать безопасность подсудимых коммунистов и в особенности Димитрова.

В историко-партийной литературе, посвященной биографии Г. Димитрова и Лейпцигскому процессу, указывается, что существовала опасность для жизни Димитрова. Следует подчеркнуть, что, по собственному его признанию, он не подвергался таковой и не

чувствовал себя в положении, когда нужно думать о жизни. В разговоре с французской журналисткой Маризе Шуази после возвращения его в Советский Союз в 1934 г. на вопрос: «Отчаивались ли вы во время процесса?» Димитров ответил: «Я никогда не думал, что меня ожидает смертная казнь, особенно когда увидел, как развивается процесс»¹⁰.

То обстоятельство, что Гитлер утвердил свою власть в Германии, всё еще не означало реальной опасности для Советской России. Советским руководителям не чужда была мысль, что с установлением национал-социализма борьба германских коммунистов за советскую власть фактически облегчается. Об этом говорят многие историки. Вот что пишет Г. Раух: «Несмотря на антимарксистскую агитацию во время процесса о поджоге рейхстага, несмотря на яростные нападки на Геринга в защитной речи Георгия Димитрова, даже сам Геринг в интервью с представителем голландской газеты (2 марта 1933) и Гитлер в своей речи в рейхстаге (23 марта) придерживались довольно примирительного тона по отношению к Советскому Союзу»¹¹. Это были благоприятные условия, которые позволили Димитрову успешно сыграть свою роль и дожидаться благополучного окончания процесса.

Когда Г. Димитров приехал в Москву после освобождения из тюрьмы, новая политика Советского Союза по отношению к Германии еще не была определена. Это задержало и формулировку принципов новой тактики Коминтерна. Было ясно, что потребуются сделать это в ближайшее время. Но именно очертания новой тактики Коминтерна поставили в невыгодную позицию руководство болгарской компартии в стране.

¹⁰ Г. Димитров. Съчинения, том 9. Изд. БКП. София, 1953, стр. 471.

¹¹ Г. К. Раух. История Советской России. Изд-во Прегер, Нью-Йорк, 1962, стр. 330.

Созданное в процессе проведения старой коминтерновской тактики, оно воспользовалось ею и успело изолировать Коларова и Димитрова. И вдруг болгарское руководство оказалось в положении самообороны. Внимание, которое уделяли Димитрову руководители Советского Союза и Коминтерна, обязывало и болгарских деятелей изменить свое отношение к нему. «Еще 2 марта 1934 г. газета «Правда» поместила официальное письмо представительства ЦК БКП при ИККИ прославленному болгарину, в котором он величался вождем партии»¹². Это был первый сигнал, который предупреждал, что Димитров готовится выступить против своих противников в руководстве БКП. И он развернул активную деятельность среди болгарской эмиграции, которую использовал в качестве опоры Заграничного бюро ЦК БКП.

После того как Г. Димитров достаточно повлиял на настроение некоторой части эмигрантов, он выступил 17 мая 1934 г. в Москве с первой публичной речью по случаю 10-й годовщины смерти Димитра Благоева, основателя болгарской компартии. Однако решительная борьба против болгарского партийного руководства началась весной 1935 г., когда проходила усиленная подготовка к созыву VII конгресса Коминтерна. Димитров был уже включен в Секретариат ИККИ. Среди деятелей Коминтерна бытовало мнение, поддерживаемое советскими руководителями, что он будет новым руководителем международной организации коммунистического движения. В подготовительной работе Димитров значился как один из основных докладчиков, т. е. фактически уже исполнял роль руководителя конгресса. Это положение заставляло его бороться с упорствующими деятелями в собственной партии, которые из-за убеждений не могли или не

¹² Георги Димитров — биография. Партиздат. София, 1972, стр. 324.

хотели признать его вождем партии. Свою решимость использовать любые средства, чтобы расчистить путь к руководству партией, он выразил в письме Заграничному бюро от 14 декабря 1934 г.: «Много беспокойства вызывает поведение наших внутри. Они продолжают свою ошибочную ориентировку. Это показывает, что они не только заблуждаются, но, что еще хуже — совсем не считаются с Коминтерном... Нужны, очевидно, меры другого характера, и быстрые меры»¹³.

Нажим на болгарское партийное руководство не заставил себя ждать. Каковы были средства, задуманные Димитровым, можно увидеть в позднейших событиях, затронувших болгарскую компартию, особенно ее руководящие кадры и находящиеся в эмиграции коммунистов. Борьба за переустройство БКП велась во имя Г. Димитрова, во имя утверждения его как руководителя или, как его начали величать в подражание советской практике, «вождя болгарской компартии». Эта борьба проводилась настойчиво и последовательно и коснулась в первую очередь руководства партии внутри страны. В решениях Пятого пленума ЦК партии, состоявшегося в начале января 1935 г., Димитров был признан первым руководителем партии. По этому поводу Трайчо Костов, впоследствии политический секретарь ЦК БКП, еще тогда писал: «Пленум подчеркнул убеждение, что теперь, когда партия имеет во главе такого испытанного вождя, как Г. Димитров, который сможет принять непосредственное участие в руководстве, партия сумеет быстро ликвидировать свои слабости и ошибки»¹⁴. Последовало и переустройство высшего партийного органа — Политбюро, в состав которого были включены

¹³ Георги Димитров. Письма. Изд. БКП. София, 1972, стр. 316.

¹⁴ Трайчо Костов. Избрани статии, доклади, речи. Изд. БКП. София, 1964, стр. 20.

преданные Димитрову люди. Но ему и этого было мало. Он стремился полностью гарантировать свое руководящее положение.

Пока же борьбу против партийного руководства и его сторонников среди эмиграции в Москве с настоящим остервенением вел В. Коларов, сводя счеты со всеми неугодными ему деятелями. Димитров через Заграничное бюро лично усиливал натиск на партию внутри страны. В докладе «О решительном повороте в БКП», сделанном В. Коларовым перед партийной эмиграцией в Москве 28 марта 1935 г., говорилось: «Тов. Г. Димитров является одним из авторитетнейших, популярнейших, любимейших руководителей Коминтерна и мирового пролетариата. Тов. Димитров — представитель старой гвардии, воспитанной в духе ленинизма, закаленной под непосредственным руководством тов. Сталина... Он бесспорно является тем, кто может сплотить нашу партию во главе с Центральным комитетом, руководить ею по-большевистски. Вопрос о тов. Димитрове как вожде нашей партии является аксиомой, очевидной истиной»¹⁵.

С начала 1935 г. по август в страну были посланы один за другим три руководящих коммунистических деятеля. Первым, кто прибыл в страну, был Трайчо Костов, затем Георгий Дамянов и, наконец, Станке Димитров-Марек. Последний не только должен был содействовать восприятию новой линии партийными деятелями, но и следить за правильным ее проведением.

Пока внутри страны довольствовались организационным переустройством и заменой неудобных деятелей, в Центральном комитете в Москве эти меры уже считались недостаточными. Убийство Кирова в декабре 1934 г. в Ленинграде послужило сигналом для

¹⁵ Васил Коларов. Избрани произведения, том 2. Изд. БКП, София, 1955, стр. 336.

обвинения и против тогдашних руководителей болгарской компартии. Им были приписаны всякого рода политические ошибки и извращения в партийной деятельности, присвоено прозвище «левые сектанты». Обвинения против них были обоснованы в произнесенной Г. Димитровым 11 мая 1935 г. «Речи по случаю 11 годовщины со дня смерти Д. Благоева». В ней он сказал: «Исправление допущенных ошибок и извращений в большевизации партии не означает, однако, возвращения назад к пройденному этапу «тесняцкого» периода движения. Это означает движение вперед по пути дальнейшей большевизации партии и укрепления ее связей с массами, по пути установления в стране широкого единого фронта против фашистской диктатуры, по пути славного примера руководящей партии Коминтерна — ВКП(б), под руководством Ленина и нашего вождя, вождя мирового пролетариата Сталина»¹⁶.

Внутреннее развитие фракционной борьбы, вызванной Г. Димитровым в БКП после 1934 г., привело к еще более решительным мерам. Для него организационное переустройство, проведенное полностью и до конца, всё еще не было достаточным. Оно было продолжено систематическими репрессиями, которые коснулись в первую очередь эмигрантов, находящихся на руководящей работе в Москве. Намного раньше был отстранен Младен Стоянов, бывший политический секретарь ЦК БКП, осужденный по процессу «52-х» в Болгарии. Он успел бежать из тюрьмы и эмигрировать в Советский Союз. Мл. Стоянов был одной из первых жертв репрессий. Арестованный по клеветническому обвинению как полицейский агент, он был брошен в сибирские лагеря. Его случай был показательен, хотя и произошел намного раньше массовых ре-

¹⁶ Г. Димитров. Съчинения, том 10. Изд. БКП, София, 1954, стр. 9-10.

прессий. Обстановка, созданная в Советском Союзе в период большого террора 1936-1939 гг., была использована и Димитровым. Он получил возможность начать свою месть. Последовало физическое уничтожение активнейших деятелей болгарской компартии, которые «провинились» критическим отношением к деятельности Димитрова в прошлом. Погибли Петер Искров, Илия Василев, Иван Павлов, Георгий Ламбрев и сотни других.

Кроме организации массового процесса против болгарских эмигрантов, которые жили преимущественно на Украине (больше всего — в Одесской области) и активно работали среди болгарских переселенцев, приобщая их к советскому строю, были арестованы и уничтожены виднейшие деятели, живущие в Москве и Ленинграде. Таким способом была расчищена почва для Димитрова. Он уже взял в свои руки Заграничное бюро ЦК в Москве, состоявшее из верных ему людей, и послушный ЦК внутри страны. Все это было сделано во имя Димитрова для проведения так называемого нового «димитровского» курса в болгарской компартии.

Новый «димитровский» курс коснулся и кадров болгарской компартии, осужденных и брошенных в болгарские тюрьмы. Среди них были деятели, которые снискали имя стойких революционеров, под чьим влиянием находились остальные заключенные-коммунисты. И именно положение заключенных спасло им жизнь. Но они вынуждены были понести моральный урон. Каждый, кто не хотел или не мог признать Димитрова бесспорным партийным руководителем, подвергался острой критике. Кроме того, производился нажим, чтобы каждый выступил с критикой своей прошлой деятельности и в особенности с осуждением своего отрицательного отношения к Димитрову. В этой самокритике надо было разоблачать «левосектантское» руководство за проведение им вредного для

партии политического курса и величать Димитрова как «общепризнанного» вождя партии. Каждый, кто не шел на это, исключался из партии. Так была создана категория бывших партийных деятелей, объявленных представителями «левого сектантства». Самокритика остальных никогда не считалась достаточной. Это было необходимо, чтобы отстранить от руководящей работы в партии неудобных Димитрову деятелей. Они остались заклеяменными как «упорные сектанты». Эта расправа с партийными кадрами, находящимися в тюрьмах, осуществлялась под руководством нового «димитровского» ЦК.

Находясь в тюрьме, был исключен из партии Рачо Цанев, бывший организационный секретарь ЦК. Его вина состояла в том, что и после VII конгресса Коминтерна он поддерживал обвинения против Димитрова, выдвинутые старым партийным руководством, и продолжал считать его «оппортунистическим элементом», чья деятельность нанесла партии только вред. Лично Димитров проявлял интерес к поведению таких деятелей, как Йонко Панов, Борис Копчев и др., и производил на них непрерывный нажим, чтобы вынудить их выступить с самокритикой перед партийным руководством. Поставленные в безвыходное положение, они пытались критически осмыслить свою прошлую деятельность, но их самокритика продолжала оцениваться как недостаточная.

В литературе, посвященной вопросам истории БКП, иногда говорится, что за репрессивные меры, которым подверглась болгарская коммунистическая эмиграция в Москве, Г. Димитров не несет ответственности. Идут еще дальше. Некоторые авторы склонны видеть усилия, направленные им на смягчение участи отдельных лиц, попавших под удары сталинского террора, и даже желание защитить их. Эти утверждения повлияли и на бывшего деятеля югославской компартии Милована Джиласа, который пишет: «Во вре-

мя чисток особенно пострадали коммунисты-эмигранты, члены нелегальных партий, за которых некому было заступиться. Болгарским эмигрантам повезло: Димитров был секретарем Коминтерна, личность с авторитетом — он спас многих из них»¹⁷. Весь путь Димитрова в коммунистическом движении, его поведение после 1935 г. в качестве генерального секретаря Коминтерна и навязанного руководителя болгарской компартии доказывает, что у него не было никаких желаний поступать таким образом. Это заключение подтверждается и его отношением к так называемым «левым сектантам», высказанным не только во время их уничтожения, но и намного позднее. В сделанном 19 декабря 1948 г. «Политическом отчете Центрального комитета Болгарской рабочей партии (коммунистов) Пятому конгрессу партии» он сказал: «Левосектантская фракция превратилась в главное препятствие для большевизации партии. В момент, когда фашистская диктатура наряду с террористическими действиями против нашей партии старалась разложить ее изнутри, обезглавить, расстроить ее руководство, они нашли в лице главных руководителей левосектантской фракции своих наилучших союзников. Как показало разоблачение, сделанное впоследствии в Советском Союзе по отношению к чуждой враждебной агентуре в болгарской партии и других коммунистических партиях, некоторые из этих руководителей левосектантской фракции были непосредственно на службе подобной агентуры»¹⁸.

Как видный деятель болгарской компартии и Коминтерна сталинского типа, Г. Димитров не мог выступать в защиту пострадавших от репрессий. Не-

¹⁷ Милован Джилас. Разговоры со Сталиным. Изд-во «Посев», Франкфурт/М., 1970, стр. 33.

¹⁸ Г. Димитров. Съчинения, том 14. Изд. БКП, София, 1955, стр. 252.

сколько случаев, когда Димитров защитил отдельных людей, — не основание для того, чтобы говорить, что он не был согласен с проведенными репрессиями или же был против проведения чисток во время сталинского режима. Он был среди небольшого числа безусловных сторонников этого режима. Его видное положение в коммунистическом движении явилось результатом этих чисток, а сам он был активным их участником. Правда, были случаи, когда он оказал помощь пострадавшим. Например, он помог избежать ареста своему зятю Вылко Червенкову (мужу сестры Елены). Но и это было сделано в обмен на известные обязательства со стороны Червенкова, ставшего информатором (сексотом) НКВД. Подобные обязательства лежат на совести и других болгарских эмигрантов, арестованных, а впоследствии освобожденных и восстановленных в партии и без содействия Димитрова. Несколько случаев, когда арестованные болгарские эмигранты были освобождены благодаря заступничеству Димитрова, теряются среди сотен и тысяч других, когда люди обращались к нему лично, чтобы привлечь внимание к незаслуженным репрессиям, но не встретили отклика, одно ледяное молчание и пренебрежение. Таким было его отношение к пострадавшим не только тогда, когда он находился в эмиграции в Советском Союзе, но и во время пребывания на посту министра-председателя Болгарии. Младен Стоянов продолжал томиться в советских лагерях и после войны; Благой Попов, сопроцессник Димитрова в Лейпциге, вернулся в Болгарию только в 1954 г. (ни на какие мольбы к Димитрову он не получил ответа); еще в 60-е годы болгарские эмигранты продолжали возвращаться в страну, только что освободившись из заключения.

Поведение Г. Димитрова по отношению к репрессированным деятелям болгарской компартии было целиком в духе того, что творилось в Советском Сою-

зе. Советские руководители и лично Сталин могли бы указать случаи, когда Сталин распоряжался освободить отдельных лиц. Известен даже целый период, а именно 1939-1941 гг., при назначении Л. Берия народным комиссаром НКВД, когда официально заговорили о реабилитации пострадавших.

Цинизм коммунистических деятелей так называемого ленинско-сталинского типа состоял в том, что все они знали о преступлениях, которые совершались рядом с ними, и сознательно бросали в жертвенный огонь вчерашних своих друзей и сотрудников. Некоторые из них в интимной обстановке со вздохом высказывали сожаление по поводу жертв, а иногда порицали отдельных исполнителей преступлений, совершенных по их распоряжению или с их участием. В этом отношении они следовали своему учителю и вдохновителю Сталину. Коммунистическим деятелем такого типа был и Димитров.

Он исполнял функции генерального секретаря Коминтерна в то время, когда произошла расправа со многими ответственнейшими коминтерновскими работниками, членами Исполнительного комитета и Секретариата. Эта расправа стала возможной, потому что руководители коммунистических партий в разных странах были окончательно подчинены советской политике. Новая тактика, принятая Коминтерном, требовала от его секций произвести решительный перелом в направлении безусловной поддержки Советского Союза. Чтобы не объявлять прежний (и тоже полностью подчиненный нуждам советской политики) курс Коминтерна ошибочным, во всех ошибках и упущениях обвинили отдельных руководителей. Это позволило Сталину, подчинившему своей воле советскую компартию, достигнуть того же в отношении других коммунистических партий. Он распорядился приступить к переустройству самого аппарата Исполкома Коминтерна. Осуществление переустройства было

возложено на Димитрова после избрания его генеральным секретарем ИККИ.

Смысл реорганизации аппарата Коминтерна может быть понят, если вспомнить время, в которое она была осуществлена. Это было в разгар большого террора, который не оставил нетронутым Коминтерн и руководителей его национальных секций. Реорганизация в аппарате Коминтерна совпала с чисткой его руководящих кадров. Пятницкий, Кун, Валецкий, Кнорин, Лозовский и многие другие видные деятели Коминтерна погибли во время сталинских чисток. Отдав приказ об их уничтожении, Сталин не просто снимал их с занимаемых постов, но переделывал весь аппарат, в котором они долгие годы работали и оказывали свое влияние. Их разоблачение по линии Коминтерна и преследование их сотрудников в отдельных компартиях проводилось под руководством и по указаниям Димитрова как генерального секретаря. В ИККИ в конце концов остались только два отдела: кадров и пропаганды и массовой организации.

Показательны случаи, когда дело доходило до роспуска отдельных компартий ИККИ. Защитники Димитрова вряд ли смогут найти ему оправдание в таких случаях, поэтому они довольствуются просто замалчиванием таких фактов в его официальной биографии.

Этот период деятельности Димитрова окончился с роспуском Коминтерна в 1943 г., когда он потерял свой пост в международном коммунистическом движении, но сохранил положение руководителя болгарской компартии. В краткий промежуток между роспуском Коминтерна и его возвращением в Болгарию в 1945 г. он занимал скромную должность одного из заведующих отделом связей с коммунистическими партиями в аппарате ЦК ВКП(б). Эту должность он делил с другим бывшим секретарем Коминтерна Д. Мануильским.

Г. Димитров вернулся в Болгарию не сразу после переворота 1944 г. По различным соображениям советские руководители не были склонны разрешить ему сделать это. Но неуверенность в исходе внутриполитического развития в Болгарии впоследствии вынудила их позволить Димитрову вернуться в страну. С этого начинается новый этап в его деятельности. Он должен был выполнить новую, не менее важную задачу, возложенную на него советскими руководителями. После того, как в 1923 г. он помог в осуществлении миссии В. Коларова и пожертвовал тысячами единомышленников только для того, чтобы доказать свою верность Советскому Союзу, после того, как он пренебрег интересами этой партии в драматических событиях 1923-1925 гг., на него возлагалась новая, важная роль. Он был призван, используя созданное ему положение руководителя БКП, облегчить советскую политику на Балканах и особенно в Болгарии. Димитров воспользовался присутствием советской армии в Болгарии и начал процесс усиленной советизации страны. Эта новая роль была намного значительней, чем роль, сыгранная им в истории болгарской компартии. Она привела к тому, что он был провозглашен в Болгарии партийным и государственным вождем. Под руководством Димитрова Болгария была окончательно подчинена политике Советского Союза.

* * *

О «проблеме Димитрова» можно говорить только в одном смысле: чтобы раскрыть фальшь, сплетенную вокруг его имени как видного деятеля коммунистического движения, и развеять миф, превративший его в героя.

Знакомство с материалами Лейпцигского процесса не дает оснований для вознесения его имени. Его освобождение, произведенное по договоренности развед-

вательных органов нацистов и большевиков, рассеивает остатки симпатии.

Димитров занимал должность генерального секретаря ИККИ в мрачайший период истории Советского Союза, период «большого террора», когда погибли миллионы людей, объявленные «врагами народа». Он был активно действующим лицом в «чистках» того времени и не без его участия погибли многие деятели Коминтерна и отдельных коммунистических партий. В качестве генерального секретаря он был бледной тенью зловещей фигуры в руководстве Коминтерна — Д. Мануильского, под чьим зорким оком находился.

Участвуя в руководстве болгарской компартии, Димитров не был ее руководителем до 1934 г. Поэтому навязывание его «вождем» болгарских коммунистов осуществлялось насильственным путем и сопровождалось уничтожением старых кадров. Все неудобные деятели, которые находились в эмиграции или на нелегальном положении, были физически уничтожены. Остальные деятели в стране, которые не участвовали или не могли участвовать в создании мифа вокруг его имени, подвергались моральному давлению.

Став во главе болгарского правительства (1945-1949 гг.), Димитров с особым усердием расчищал дорогу процессу полной советизации Болгарии. Это сопровождалось кровавой расправой со всеми теми, кто не был согласен с политической линией, которую он проводил, или был его политическим противником. Последовательно понесли тяжелый крест Кристо Пастухов — руководитель болгарских социал-демократов; Никола Петков и все видные деятели земледельческого движения; генералы Дамян Велчев, Кирил Станчев и цвет болгарского офицерства; большинство деятелей политического круга «Звено», которые проявляли самостоятельную политическую мысль; руководство социал-демократической партии во главе со своим секретарем Коста Лулчевым; руководство бол-

гарской православной церкви с экзархом Стефаном; пасторы протестантской церкви во главе с пастором Василем Зяпковым; католические священники во главе с Дамяном Гюлевым; Трайчо Костов — политический секретарь Центрального комитета болгарской компартии вместе с группой высших партийных деятелей.

Велик список жертв, которые пали на сцене политической жизни Болгарии во время краткого пребывания Димитрова у власти. Все они погибли или получили суровые приговоры по личным его указаниям, даваемым во имя исполнения распоряжений советских руководителей. Никакая политическая необходимость не требовала такой кровавой дани. Это происходило от рабского подчинения и от стремления доказать верность политике Советского Союза. Личные его мотивы объяснялись страхом и нежеланием потерять привилегии вождя партии и верховного правителя.

Как по полученному образованию и подготовке, так и по своим личным качествам Димитров не мог выдвинуться и достигнуть положения теоретика болгарской компартии и международного коммунистического движения. Всё, что ему приписывается в качестве «теоретического вклада» в развитие или обогащение так называемого «марксизма-ленинизма», не выходит за рамки популяризации общепринятых тезисов конгрессов и пленумов руководящих органов коммунистического движения и цитирования сказанного или написанного Сталиным.

Как деятель международного коммунистического движения, Димитров оформился в период, когда в этом движении утвердилось беспредельное господство Сталина. Он жил в постоянном страхе перед неутоимой жадой власти своего «учителя и вождя». Поэтому усилия представить его носителем идей, имеющих актуальное значение, не находят подтверждения. Как политический деятель, Димитров не имел собст-

венных идей. В этом смысле его личность и деятельность не выходят за рамки, характеризующие коммунистического деятеля времен сталинского господства в коммунистическом движении. Он не проявил и индивидуального подхода к проблемам, по которым высказывался, что ясно видно из анализа его практической деятельности.

Всё, что написано о жизни, личности и деятельности Димитрова его апологетами, и всё то, что можно сказать о нем после разбора действительных фактов его биографии, лучше всего суммировано в характеристике, которую дал ему его учитель и соратник В. Коларов: «Г. Димитров из старой фаланги, воспитанной в духе ленинизма и закаленной под непосредственным руководством т. Сталина»¹⁹. Поэтому и верность его советской политике, всему, что исходило от Советского Союза, была безграничной. Эту безграничность нужно понимать прежде всего как безусловную преданность самому Сталину.

Деятельность Г. Димитрова как деятеля коммунистического движения чужда современности. Отбросив миф, созданный вокруг его имени, можно показать ее в истинном свете. И тогда перед нами предстает посредственный деятель, которому было создано имя и который был возведен до символа болгарской нации, чтобы быть использованным своим создателем Сталиным. Пока существовал Коминтерн и Димитров стоял во главе его Исполнительного комитета, имя его продолжало быть окруженным тайной. Остается незамеченным то скромное место, которое он занимал среди сподвижников Сталина после роспуска Коминтерна. Но ему было уплачено за роль, которую он играл в период 1933-1943 гг.: его вернули в Болгарию и возвели в ранг руководителя государства.

¹⁹ Васил Коларов. Избрани произведения, том 11. Изд. БКП. София, 1955, стр. 336.

В Болгарии огромный пропагандистский аппарат величал его «вождем и учителем народа». Одновременно ему нужно было принимать «укоры» своих покровителей, главным образом «мудрого учителя и вождя Сталина». Раздираемый этими противоречиями, Димитров демонстрировал величие и выбирал позу, но, когда говорил о болгарских национальных интересах, имел в виду интересы Советского Союза. Поэтому он позволил себе заявить: «Нет и не может быть здравомыслящего болгарина, любящего свою родину, который не был бы убежден, что искренняя дружба с Советским Союзом не менее необходима для национальной независимости и процветания Болгарии, чем солнце и воздух для всякого живого существа».

В короткой болгарской истории нет другого деятеля, стоявшего у государственного кормила, который бы в такой степени проявлял раболепие перед великой силой, стремящейся установить свое господство над Болгарией. Поэтому Г. Димитров может быть приведен как пример проводника чужих интересов, но ни в коем случае — как представителя болгарской нации. Вся его деятельность показывает, что он порвал с собственной нацией, противопоставив себя ее жизненным интересам.

Рамат-Авив, июнь 1975 г.

СЕМЕРДЖИЕВ Петр — родился в 1919 году в Болгарии. Учился в Софийском университете. Во время войны принимал участие в Сопротивлении. После войны был назначен секретарем окружного комитета Болгарской коммунистической партии. Впоследствии работал в Центральном Комитете партии, занимался организационными вопросами.

Был арестован и судим по процессу Т. Костова, бывшего генерального секретаря Центрального Комитета компартии Болгарии. Был осужден на пятнадцать лет тюремного заключения, из которых семь лет провел в тюрьме. Освобожден в 1956 году. Реабилитирован не был.

В настоящее время живет в Израиле. Активный сотрудник журнала болгарской политической эмиграции «Будущее».

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

- И. Бродский. Конец прекрасной эпохи (Стихи 1968-1971 гг.). «Ардис», США, 1976 г.
- И. Бродский. Часть речи (Стихи 1971-1976 гг.). «Ардис», США, 1976 г.
- Неизданный Зощенко. «Ардис», США, 1976 г.
- Анна Ахматова. Стихи. Переписка. Воспоминания. Иконография. «Ардис», США, 1976 г.
- о. Д. Дудко. Верю, Господи! (Ранние записи 1956-1969 гг.). «Заря», Канада, 1976 г.
- Д. Панин. Вселенная глазами современного человека. «Жизнь с Богом», Бельгия, 1976 г.
- В. Перельман. Покинутая Россия. Книга I: Иллюзии. «Время и мы», Израиль, 1976 г.
- А. Федосеев. Западня (Человек и социализм). «Посев», ФРГ, 1976 г.
- И. Елагин. Под Созвездием Топора. Избранное. «Посев», ФРГ, 1976 г.
- Л. Ржевский. Две строчки времени. «Посев», ФРГ, 1976 г.
- Н. Эрдман. Мандат. Пьеса в 3-х действиях. Редакция и вступ. статья. В. Казака. ФРГ, Мюнхен, 1976 г.

ФАКСИМИЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ

- Ф. Сологуб. Заложники жизни. Драма. С изд. 1912 г. «Прюдо», Англия, 1976 г.
- Ф. Сологуб. Любовь над безднами. Драма. С изд. 1914 г. «Прюдо», Англия, 1976 г.
- В. Ходасевич. Державин. С изд. 1931 г. «Финк», ФРГ, 1975 г.
- В. Набоков. Лолита. «Ардис», США, 1976 г.
- В. Набоков. Возвращение Чорба. С изд. 1930 г. «Ардис», США, 1976 г.
- М. Булгаков. Дьяволиада. С изд. 1925 г. «Ардис», США, 1976 г.
- Е. Замятин. Наводнение. С изд. 1930 г. «Ардис», США, 1976 г.
- К. Чуковский. Поэт и палач. С изд. 1922 г. «Ардис», США, 1976 г.
- Б. Пастернак. Воздушные пути. С изд. 1933 г. «Ардис», США, 1976 г.
- О. Мандельштам. Египетская марка. С изд. 1928 г. «Ардис», США, 1976 г.

Колонка редактора

ИТОГИ ОДНОСТОРОННЕГО ВЕЛИКОДУШИЯ

Минувший год ознаменовался всеобщими выборами в целом ряде стран Запада, большинство из которых выявило доминирующую тенденцию к общественному и политическому оздоровлению. На смену прагматическим бюрократам народы выдвинули из самых своих глубин новых людей. И первые их шаги в государственной области вселяют в нас большие ожидания и ободряющие надежды.

В этих условиях настало время, чтобы подвести некоторые итоги прошлому и постараться наметить, так сказать, рабочие перспективы на будущее. Теперь, на дымящихся развалинах одностороннего детанта, можно, не боясь впасть в крайность, с уверенностью утверждать, что ни одна самая эффективная тоталитарная разведка в мире не могла бы нанести столько непоправимого ущерба Западу, сколько нанес его один, вполне добропорядочный выпускник Гарварда.

Казалось бы, что может, к примеру, действительнее способствовать укреплению мира между народами, чем торговля? И всякий здравомыслящий человек должен был бы только приветствовать экономические контакты Запада и Востока. Но и в этой области новейшие миротворцы сумели, что называется, превзойти самих себя. В свое время господин Ленин во всеуслышание утверждал уже, например, что «капиталисты продадут нам ту самую веревку, на которой мы их удавим». К сожалению, с помощью некоторых видных западных лидеров «политическая реальность» опередила радужные предположения

«кремлевского мечтателя»: в наши дни капиталисты уже не продают эту самую веревку своим будущим вешателям, а дают ее им в кредит.

В свете новейших фактов демократического движения на Востоке, следует, на мой взгляд, рассмотреть результаты Хельсинкских соглашений под новым углом зрения. Разумеется, все решения этого широко разрекламированного Совещания остались на бумаге, но у всякой, даже самой формальной бумаги есть одно упрямое свойство: она существует и на нее принято ссылаться. Сами того не желая, советские власти, подписав хельсинкский документ, сделали себя уязвимыми для мирового общественного мнения. Нашим же инакомыслящим это дало еще один абсолютно легальный повод к правовым требованиям и борьбе за эти требования. Такую благодарную возможность трудно переоценить и было бы глубочайшей ошибкой ею не воспользоваться.

Работа многих из нас на Западе усложняется тем подспудным, но целенаправленным противодействием, которое мы испытываем со стороны государственной администрации тех европейских стран, в которых нам приходится жить. Создается такое впечатление, что единственная эмиграция, общественная активность которой крайне на Западе нежелательна, — это эмиграция восточноевропейская. Дело дошло до того, что во Франции, например, бывший премьер-министр Жак Ширак публично выговорил украинца Леонида Плюща за его выступления против подавления свободы в Советском Союзе. Невероятно, но факт!

А ведь наше демократическое сопротивление, пожалуй, единственное сопротивление в сегодняшнем мире, которое не требует для себя ни оружия, ни взрывчатки. Основным и принципиальным оружием этого сопротивления является Слово. Только Слово и ничего более. И его — этого Сопротивления —

герои вызывают всех к одной лишь духовной и общественной поддержке. Так помогите же им и вы можете самим себе!

Читайте в следующем номере «Континента»

Проза:

Е. Анджиевский, В. Некрасов

Поэзия:

И. Бейн, Н. Коржавин, С. Баранчак

Публицистика:

**С. Глузман, Л. Богораз, Л. Колаковский,
И. Чапский, А. Михник, Я. Паточка**

Критика и библиография

НЕЧАЯННЫЙ ШЕДЕВР

Мрак полуподвальной комнаты в четырнадцать метров, в которой ютится — и в тесноте, и в обиде — шесть человек, а с постояльцами десять; рахит, глисты, галлюцинации, клинически сумасшедшие братья и сестры; совокупление родителей на глазах у детей; сухие кильки из помойки и котлован, в котором плавают трупы нежеланных младенцев. Вот что такое детство Гюзель!

Но я должна тут же предупредить читателя; книга, которую он готовится раскрыть, не принадлежит к почтенному жанру «человеческого документа» — термин, которым обозначают словесное произведение, в силу искренности автора и правдивости изложения обладающее ценностью исторической, психологической или социологической и вместе с тем не дотягивающее до искусства.

Небольшая, но чрезвычайно ёмкая книга Гюзель Амальрик с непритязательным названием «Воспоминания о моем детстве» написана художником, о художнике и художественными средствами. Обаяние, в каком она держит читателя, сродни тому, что исходит от «Записок кавалерист-девицы» Надежды Дуровой или от загадочной прозы Дефо. Ибо мы имеем дело не с достоверностью фактов, а с подлинностью переживания.

Это не просто рассказ о страшном детстве, в повести есть своя «сквозная» тема: от мрака к свету. Ненавязчиво, но настойчиво тема эта стучится в сознание читателя. На первой же странице читаем: *«Подвал, в котором я жила, был очень мрачный, я не помню его при дневном свете, а помню только ночью. Я помню ночь и большую черную комнату».*

И в другом месте: *«Чаще всего я себя помню в ночное время».*

И дальше, в описании помещения милиции, куда Гюзель попала подростком: *«...свет пробивался туда с неохотой».*

Гюзель Амальрик. Воспоминания о моем детстве. Амстердам, Фонд им. Герцена, 1976.

Мрак этот приобретает чуть ли не аллегорический смысл. Он символизирует непроходимую нужду, бескультурие, заземленность мира, в котором росла, из которого вырвалась Гюзель. Свет же, конечно, искусство. Недаром, в конце повести, описывая свое первое посещение квартиры художника, она говорит:

«...было ощущение (...) будто я из глухой темной пещеры нашла выход к свету, я бежала из этой пещеры, не боясь впереди сияния, которое меня озаряло, весело шла, покидая старый мир моего двора, моих друзей (...) и все, что меня окружало».

Гюзель Амальрик сохранила первые впечатления бытия во всей их резкости и сумела их передать без потерь — и без прибавлений. Ей удастся писать о детстве несентиментально, без самоумиления, без жалости к себе. Удивительно сочетание простодушия ребенка с инстинктивным мастерством художника. Впрочем, сама писательница лучше всякого критика определяет свой метод, как бы невзначай, где-то к концу повести обронив, что дает ход «бессознательному и текущему потоку воспоминаний, стараясь найти в этом потоке внутреннюю логику вещей». Методом этим она владеет в совершенстве. Вы чувствуете «поток» и не замечаете старания его контролировать, а между тем невольно проникаетесь его внутренней логикой. С безупречной точностью мастера расставлены акценты в этом потоке, с безошибочным, пусть инстинктивным, расчетом приуготовлено русло, по которому он устремляется.

Проза Гюзель Амальрик сурова, скупа, как ее детство. Язык по большей части сдержанный, сухой, подчас даже суконный; сама суконность, впрочем, обретает значение приметы времени, указывая точный адрес и эпоху, в какую рос автор. И тем действеннее лирические взлеты, тем пронзительнее образы, щедро, но не расточительно разбросанные по всей книге.

Стиль для писательницы не существует отдельно от того, что она описывает, он всегда подчинен содержанию. Так, в конце предложения, в котором говорится о религиозном чувстве, охватившем ее в церкви, — невольная и такая «церковная»! — инверсия:

«...я почувствовала в себе божественное волнение, и тело мое трепетало, словно хотело улететь ввысь, и я заплакала от чувств моих». (Подчеркнуто мною. — Т.Л.)

Синтаксис, видимо, не причиняет ей особых хлопот. Спокойные, короткие фразы там, где они нужны для простого утверждения факта, вроде: *«Я родилась в самую войну — в 1942 году, в деревне под Нижним Новгородом»*. Или: *«Мой учитель жил в одном из переулков Сретенки, в старом трехэтажном доме»*.

Иногда же фразы взхлеб, как когда хочется рассказать «всё»:

«Когда я шла искать работу, я шла совершенно не зная, куда я иду, в каком направлении, шла, куда глаза глядят, и домой не хотелось — слышать горькие попреки, что вот, мол, я не работаю и не учусь, только даром хлеб ем; я так бродила целые дни, я заходила в любое учреждение, на завод, на фабрику, но все безуспешно, несовершеннолетних не берут даже в ученики, я совершенно отчаялась искать, я думала, что вот ведь хорошо раньше были частные предприятия, частные лавочки, уж раньше можно было бы наверняка стать учеником в любом деле, а сейчас нужны справки, да с печатью».

Никаких сложно-подчинений, управлений, одно отчаяние безработного подростка!

А вот, можно ли лаконичнее, чем в следующих двух предложениях, дать примету времени?

«Как-то раз вечером, уже совсем стемнело, я гуляла возле котлована и хотела спуститься вниз, к воде, и вижу — внизу на воде плавали белые тела младенцев, они мертвые были; мне стало страшно, и я скорее ушла домой. Это было время, когда были запрещены аборты».

Или — проще рассказать о бедности — в двух строчках?

«...если мама кому-то, наконец, купит ботинки, потому что старые совсем развалились и не в чем ходить, то получается, что на еду не хватает...»

Повесть не изобилует эпитетами, на каждой странице, а иной раз не однажды в предложении, встречается усиленная частица «очень». Это не от бедности, а все от той

же «детскости». Зато, когда писательнице оказывается нужным эпитет, она находит его с поразительной меткостью. Так, улитки у нее «стыдливые», новорожденный братец, которого только что (по мусульманскому обычаю) подвергли обрезанию, «усталый и исплаканный весь». Хулиган надругался над ее сестрой «в чистом поле», «во тьме кромешной, грешной».

Трудно передать очарование этой повести, изложить его спокойным критическим языком рецензента. Так и тянет цитировать. А цитировать хочется ее всю! Она полна нечаянных находок, быстрых точных портретных зарисовок. Иные из них напоминают детский рисунок. Вот портрет любимого дяди:

«С очень густой и черной шевелюрой, со смуглым цветом лица, с горящими глазами из-под очков, которые глядели на меня очень ласково, у него были толстые губы».

Бабушка: *«парализованная, старая и злая».*

Другая бабушка: *«высокая, статная, с длинными черными волосами без единого седого волоса, иссиня-черные волосы, лицо очень красивое и светлое, с синими глазами, а у ног ее лежала связка сушек».*

Портрет матери сложнее, эмоциональнее, он дан в движении, с привлечением жестов, мимики:

«Я очень маму любила, когда она вот так без тревоги спокойно сидела на табурете — стульев у нас не было, — рассказывала мне и расчесывала волосы, у нее тогда были длинные с шелковым блеском черные мягкие волосы, они были очень теплые, словно дышали. Она медленно проводила гребенкой по волосам и, иногда останавливаясь на середине волос, о чем-то думала и потом запевала свои татарские песни. А потом, делая длинный пробор, она откидывала волосы и я видела слезы на ее глазах».

А вот «групповой портрет» — прохожих москвичей, увиденных глазами одинокой озябшей девочки, мечтающей встретить среди них других, «культурных и богатых», родителей:

«...проходили слишком озабоченные люди с портфелями, толстыми сумками, а то и просто со свертками в

газетной бумаге, или толстые, худые и поджарые, все они шли быстро, на лицах было полное безучастие ко всему окружающему, они шли целеустремленно куда-то, Бог их знает, куда...»

И, наконец, портрет учителя истории, «первой любви». Сентиментальный, романический портрет, ибо каким еще ему быть, когда он написан рукой влюбленной шестнадцатилетней девицы! Он немного походит на портреты красавцев, какие старшеклассницы выводят — и непременно в профиль! — на промокашках:

«...очень красивый молодой человек, высокого роста, с пышными желтыми волосами, откинутыми назад, с синими глазами и с прекрасными зубами, он напоминал скандинава, ходил в бархатной куртке и весь был полон какой-то таинственности... когда объяснял что-нибудь, то лицо его было очень спокойное, бледное, вдохновенное».

Когда этого вдохновенного учителя сменила «пожилая женщина», Гюзель «долго мучалась любовью к нему»:

«Раны мои истекали кровью, — пишет она, верная своей промокашечной романтике, — и будто еще соли туда насыпали, и рана сожгла мою душу, съедала мои мозги, и туманом мне застилало глаза, любовь, любовь, я умру с тобой!»

И, без всякого перехода, абзац заключается следующим предложением:

«Но прошло два месяца, раны мои немного затягивались, было мне тогда шестнадцать лет».

Этими словами заключается и глава «Первая любовь».

И этой главой, собственно, и завершается повесть о детстве. Следующую за ней главу — «Жизнь и необычайные приключения моего учителя Василия Яковлевича Ситникова» — быть может, целесообразнее было бы отнести к Приложениям, туда же, где автор поместил «Письмо из Сибири». (Заметим, кстати, что оно вполне органически вписывается в повествование, ибо в России путь от мрака к свету часто пролегает через Сибирь.)

Я останавливаюсь на этом, казалось бы чисто техни-

ческом аспекте распределения глав в книге оттого, что, как мне кажется, «внутренняя логика вещей» присутствует и в композиции книги. Первые шесть глав, где описываются дошкольные годы, — короткие, резкие, как удары. Не так ли врезаются в память первые, младенческие впечатления бытия? Затем начинается осознание себя, оглядывание вокруг — семья, двор, школа. Главы удлиняются, уступая первым в яркости, неразмытости контура. Самая длинная глава, с длинным же заголовком: «Детство, отрочество и приключения моей сестры Сони» расположена точно посреди книги, как иной раз помещают иллюстрацию — на развороте. И в этом есть внутренняя логика. Ибо повесть о Соне (которая была «старше брата на два года, но с ума сошла значительно раньше») и есть в некотором смысле иллюстрация, она как бы указывает, какой могла бы оказаться судьба самой Гюзели, если бы не художественный талант и психическое здоровье. Вся эта глава читается как пародия на книгу, в которую она вкраплена, а в самой главе есть даже «вставная новелла» — автобиография Сони, еще более усиливающая пародийный элемент.

Не с олимпийских высот мемуариста взирает автор на свое детство. Нет, он растет и движется вместе, рядом со своей героиней. В этом — ежестраничном — отождествлении автора с героем источник и недостатков повести и — особой ее убедительности. Недостатков, потому что, выйдя из младенческого возраста, из магического «от двух до пяти», ребенок, как известно, на время теряет свою от Бога данную талантливость. Впрочем, за Гюзель Амальрик можно не беспокоиться. Это прочный талант. И надо надеяться, что с наступлением зрелости он окрепнет, осознает себя еще глубже, не утратив при этом своей острой, нервной впечатлительности.

Т. Литвинова

ГЕОРГИЙ ИВАНОВ

Из крупных поэтов первой эмиграции был он, пожалуй, самым эмигрантским. «Ничего не забыл, ничему не научился» — этот захватанный невымытыми пальцами ярлык едва ли не на него мог быть наклеен всего легче. Но вместе с тем, нет и второго эмигрантского поэта, чья поэзия претерпела бы на пути к заключительному расцвету такой резкий и глубокий перелом. А нынче вот и объемистый том увидел свет, где фотомеханически воспроизведены все его прижизненные и посмертные сборники и впридачу к ним собраны все или почти все прочие его стихи. Все тексты эти тщательно проверены В. М. Сечкаревым и его ученицей по Гарвардскому университету Маргаритой Далтон, так что — раскройте книгу, читайте, составьте себе мнение об этом поэте. Или окончательное мнение, если предварительное есть уже у вас.

Обращаю это приглашение и к себе; но не так-то мне легко ему последовать. Гляжу на аккуратную книгу эту в белой с двумя двухцветными полосками обложке, и грустно мне становится. Автор ее был всего на год старше меня, но вот уже восемнадцать лет, как его нет на свете. Смолоду я был с ним знаком; но дело не в этом знакомстве, так и не приведшем к сближению, да и не безоблачном, — хоть и рассеялось это облако под конец. Дело попросту в календаре, в жизни и смерти, в промелькнувшем времени. Были мы современниками, ровесниками, встречались на берегах Невы, а теперь предстоит мне разыгрывать роль бесстрастного потомка, критика скончавшихся до его рождения поэтов, чуть ли не «литературоведа», хотя от самого этого слова у меня горько становится во рту и пропадает аппетит.

Что поделать? Приступаю... Но, как на зло, в издании этом еще и все обложки сборников воспроизведены, да и портретный рисунок Анненкова 21-го года. Рисунок этот сходство схватил превосходно, но в карикатуру это сходство вогнал даже и до чрезмерности. Именно так искривлял приоткрытые губы поэт, сжимая в зубах папиросный мундштук, именно так блестели его черные, гладко припомаженные волосы. Так он и глядел порой, — этак умудренно-

горьким опытом. Но мешки под глазами слишком его старят в двадцать семь лет; вперед рисовальщик заглянул. А я ведь его помню (пораньше, во время войны) другим: очень изящным, несмотря на легкую хлыщеватость. Помню и его прелестную жену, русскую француженку, которую он покинул ради той, по-иному прелестной, кто стала второй его женой (и единственной, для рассеянной немножко, но дело свое знающей Истории). При первых наших встречах презрительной этой горечи и кривой усмешки, Анненковым замеченных, я не замечал. Рисунок похож на то в Георгии Иванове, что не нравилось мне, что меня раздражало, — и что исчезло под конец, когда болезнь так страшно, так до неузнаваемости его изменила, и так изменила — в сторону правды и простоты — его стихи.

Перелистываю книгу. Все эти сборники, кроме первого, у меня есть или некогда были. Был и всеми забытый третий, «военный» — «Памятник славы» — которого, я в том уверен, автор не стал бы переиздавать. Не потому, чтобы стихи эти были плохо сделаны, и даже не потому, что со слишком уж большой готовностью отвечали слишком очевидному «социальному заказу», а потому что слишком больно было бы автору как бы подтвердить лишний раз такую, например, строфу:

О твердость и мудрость прекрасная
Родимой страны!
Какая уверенность ясная
В исходе войны!

Почему больно? Не просто потому, что вышло навыворот. Георгий Иванов неподдельно любил ту самую — не другую какую-нибудь — Россию, которая погибла, оттого что в августе четырнадцатого года так бодро, беспечно, так очертя голову бросилась в войну.

Чувство жизни его, как показывают первые два сборника, не было потревожено предвидением грядущих бедствий. Тон его ранней лирики — изящно элегический и немножко декоративный, — игриво-декоративный (этому тогдашних молодых поэтов учили, каждый по-своему, Кузмин и Гумилев). Он отлично сам характер своих стихов определил эпиграфом первого же своего сборника (1912), из Сологуба:

Путь мой трудный, путь мой длинный,
Я один в стране пустынной,
Но услада есть в пути —
Улыбаюсь, забавляюсь,
Сам собою вдохновляюсь
И не скучно мне идти.

Вторая строчка подхвачена тут была, пожалуй, и не всерьез. Только путь все равно оказался трудней — да и длинней, — чем думалось на себя обратившему эти стихи восемнадцатилетнему поэту.

Основному строю своей лирики он и в зрелые годы остался верен. Мастерство его росло, стихи становились все изощренней в своей отделке, все насыщенной сладостью и сладостной печалью, как это всего лучше засвидетельствовано парижским сборником «Розы» 31-го года, где, быть может, и есть предчувствие чего-то нового, но где разрыва с прошлым еще нет.

Беру «Сады», маленькую книжку в обложке Митрохина, того же 21-го года, что и портрет. Читаю первое стихотворение, которое все так же «узывно» для меня звучит, как тому более полувека:

Где ты, Селим, и где твоя Заира,
Стихи Гафиза, лютня и луна!
Жестокий луч полуденного мира
Оставил сердцу только имена.

И песнь моя, тревогою палима,
Не знает, где предел ее тоски,
Где ветер над гробницею Селима
Восточных роз роняет лепестки.

В том же трагическом году — смерти Блока, смерти Гумилева — написано было и другое, не менее персидское восьмистишие, которым закончил поэт те же «Сады», когда сборник вышел вторым изданием в Берлине:

Меня влечет обратно в край Гафиза,
Там зеленел моей Гюльнары взор

И полночи сафировая риза
Над нами раскрывалась, как шатер.

И память обездоленная ищет
Везде, везде приметы тех полей,
Где лютня брошенная ждет, где свищет
Над вечной розой вечный соловей.

Прежде, чем войти в условно-персидские эти сады, вкушаем мы блюдечко шербета; прежде, чем их покинуть, — другое блюдечко.

Немножко это ретроспективно или ретроградно, «ретро», как выразился бы нынешний француз; но ведь ничего не скажешь, не просто сладко: сладостно. Звучит чудесно, и на грусти взошло пение этих стихов. Без нее они бы и не пели. Так, через десять лет, и весь сборник «Розы» будет петь. Потому я его, однако, в 31-м году и недооценил: слишком в нем нашел то самое, чего и ждал. Приторной чуть-чуть показалась мне его сладость, подстроенной певучесть (как это бывает порой в чересчур уж «мелодических» мелодиях). Если б вслушался поглубже... Но лишь много лет спустя, когда вышел «Портрет без сходства» (1950), научился я различать то, что пусть лишь издали к нему вело в прежних сборниках («Розах» и новых стихах второго «Отплытия на остров Цитеру», 1936). И все-таки, если б Георгий Иванов умер после них, или в пятидесятилетнем еще возрасте, мы бы думали о нем не то, что думаем теперь. Место ему в истории русской лирики было бы обеспечено как мастеру мелодических словосочетаний, ласкающих воображение и слух, — мастеру очень переимчивому, но умевшему все заимствованное у других (сознательно или нет) подчинить собственному, очень выдержанному вкусу и ладу; поэту подлинному, хоть и лишенному — так пришлось бы все-таки сказать — особых, ему одному принадлежащих лирических тем и, следовательно, менее значительному, чем такие поэты на немного его постарше, как Ходасевич, Ахматова и Мандельштам. В конце жизни, однако, тему он обрел — в нищете и болезни, в ожидании смерти, в беспредельном и к тому же еще «некрасивом», «непоэтическом» отчаянии.

Совсем, казалось бы, достаточно было отчаяния в стихотворении сборника «Розы» о самоубийстве — о само-

убийстве вдали от России. Многих пленили эти стихи, пленительные и в самом деле, — не для одних потенциальных самоубийц:

Синеватое облако
(Холодок у виска).
Синеватое облако
И еще облака...

И старинная яблоня
(Может быть, подождать?)
Простодушная яблоня
Зацветает опять.

Все какое-то русское —
(Улыбнись и нажми!)
Это облако узкое
Словно лодка с детьми.

И особенно синяя
(С первым боем часов)
Безнадежная линия
Бесконечных лесов.

Превзойти этого отчаяния нельзя, но выскажется оно позже, в «Портрете без сходства», при помощи резких прозаизмов — интонационных, не только словесных — гораздо более обнаженным образом. Весь тон, весь тембр этой книги иной: вместо лиры Аполлона, флейта Марсия, — с которого завистливый бог уже начал сдирать кожу:

А люди? Ну на что мне люди?
Идет мужик, ведет быка.
Сидит торговка: ноги, груди,
Платочек, круглые бока.

Природа? Вот она, природа —
То дождь и холод, то жара.
Тоска в любое время года,
Как дребезжанье комара.

Конечно, есть и развлечения:
Страх бедности, любви мученья,
Искусства сладкий леденец,
Самоубийство, наконец.

Читая эти стихи, тогда, в 50-м году, я себе говорил: тут не риторике свернули шею, как того требовал Верлен, тут ее свернули самой поэзии. Или поэтичности только, одним только поэтизмам, которыми засажены были сплошь те персидские «Сады», которыми полным полны и «Розы»? Нет, точнее будет сказать, что их автор шею свернул поэзии, своей собственной, прежде всего, поэзии, ради другой, — и уже с помощью этой другой, более подлинно и куда более мучительно в нем самом укорененной.

Кто его этим прозаизмам научил? Нет сомнения: Ходасевич. Стихов его Георгий Иванов вслух не хвалил, но вчитывался в них очень пристально, о чем всего ясней свидетельствует (в «Розах») стихотворение «В глубине, на самом дне сознания...», как это было в свое время отмечено мной в рецензии на «Розы», а затем и самим Ходасевичем в статье о втором «Отплытии», из которой, кстати сказать, видно, насколько он в целом положительно оценивал стихи Иванова. Два эти поэта не друзьями были; недругами скорей; но это дела житейские, о которых следует забыть, дабы не упустить из виду того гораздо более интересного факта, что после смерти Ходасевича поэзия Георгия Иванова с его поэзией весьма заметно породнилась и тем самым, при всех отличиях, ее продолжила. Недаром писал он Р. Б. Гулю незадолго до смерти «не хочу иссохнуть, как иссох Ходасевич» (нужно понимать: перестав писать стихи). Он не только не иссох и не только стал писать стихи чаще, чем прежде; он еще и стал их писать как если бы Ходасевич передал ему свое перо. То перо, которым написана «Европейская ночь» и такие, особенно, стихотворения этой книги, как «Окна во двор», «Из дневника», «Бедные рифмы», «Сквозь ненастный зимний денек». Но совсем я не хочу сказать, что этим пером стал младший поэт писать какие-то подражания старшему, сделавшись его посмертным и ненужным подголоском. Именно тут, т. е. в поздних стихах, после «Портрета без сходства» я больше никаких реминисценций из Ходасевича не нахожу, а если б они и нашлись, они бы на цитаты

не походили, по-иному были бы осмыслены. Иванов дальше, чем Ходасевич, пошел по пути Ходасевича, да и не по прямой линии его продолжил. Именно теперь, в конце жизни, став, отнюдь не полностью, но в значительной все же мере преемником Ходасевича, он и стал — впервые на должной глубине — самим собой.

В последнем из приведенных мною стихотворений Ходасевич вполне мог бы написать первую строфу (хотя никакого сходства с ней четверостишия или хотя бы описания у него и нет). Во втором — он не написал бы слишком развязного, на его вкус (потому что самоочевидного), «то дождь и холод, то жара», как и не приписал бы «дребезжанья» комару (показалось бы это ему слишком приблизительным словоупотреблением). «Страх бедности» счел бы он слишком низменным оправданием самоубийства, а от искусства тотчас бы отказался, увидя в нем всего лишь «сладкий леденец». Отказался бы не на словах, а и в самом деле перестав писать стихи; ведь и перестал он их писать не просто в результате физиологического какого-то «иссыхания» или изнеможенья. «Вкусный лимонад», Державиным предлагаемый Екатерине, это вначале хорошо, это младенчески жизнерадостно звучит, когда только еще зацветает поэтическая яблоня; когда последний свернувшийся листик на ней трепещет, тогда пора и пришла с последней горечью говорить о «сладком леденце». Ходасевич умолк, потому что такого сказать не сумел бы, да и захотеть не мог, а Иванов захотел и сумел, как сумел и в страхе бедности признаться, и неметкость меткости предпочесть, и полнейшую развязность проявить в использовании каких угодно поговорок, общих мест, поэтических цитат. А все-таки без «кисленького пирамидона» у Ходасевича все это едва ли могло бы осуществиться.

Пирамидоном кончается «Хранилище», прелестное и бесконечно грустное стихотворение о галерее венецианской Академии и о границе — не искусства, а восприятия искусства:

Нет! полно! Тяжелеют веки
Пред вереницею Мадонн, —
И так отраднo, что в аптеке
Есть кисленький пирамидон.

С улыбкой вспоминаю, что стихотворение это в свое время оскандалило Адамовича, — или, быть может, притворился он, что им оскандален, чтобы узнать, не оскандален ли им такой музейный завсегдатай, как я. И впрямь, каждая картина мне памятна в этой небольшой и чудесной галерее, да и Ходасевич отнюдь не только тогда, в тот пред-аптечный час, там побывал. Стихи следует прежде всего пробовать понять напрямую; но все в них сказанное и при этом не следует понимать буквально. Можно и Беллини любить, и все-таки нуждаться в пирамидоне. У Ходасевича они — пирамидон и Тициан — можно сказать, в равновесие приведены. Поздним стихам Иванова этого равновесия уже не нужно. Приведу одно из самых сильных. Мерещится мне порой, что Ходасевич потому и умолк, что его отказался написать.

Зима идет своим порядком —
Опять снежок. Еще должок.
И гадко в этом мире гадком
Жевать вчерашний пирожок.

И в этом мире слишком узком,
Где все потеря и урон
Считать себя, с чего-то, русским,
Читать стихи, считать ворон,

Разнежась, радоваться маю,
Когда растаяла зима...
О, Господи, не понимаю,
Как все мы, не сойдя с ума,

Встаем-ложимся, щеки бреем,
Гуляем или пьем-едим,
О прошлом-будущем жалеем,
А душу все не продадим.

Вот эту вянущую душку —
За гривенник, копейку, грош.
Дороговато? — За полушку.
Бери бесплатно! — Не берешь?

Отказался Ходасевич; «иссохнуть» предпочел. Недаром стихотворение когда-то начал: «Психея! Бедная моя!» Не в силах был разбазаривающим себя представить эту «вянущую душку». Если б засел за такие стихи, зачеркнул бы плохую строчку «где все потеря и урон», изъясил бы повторение «считать», «считать», но не додумался бы до этих «встаем-ложимся» и «прошлом-будущем», составленных по образцу «пьем-едим», но где насильственно сопряженные слова в смертельном безразличье (а потому и столь выразительно) перепутывают свои смыслы. Не додумался бы, кажется мне, и до жеванья вчерашнего пирожка. У него к этому на пути:

— Сейчас же отшлепать мальчишку за то,
Что не любит луковый суп,

но здесь изображение чего-то не своего и чего-то удушающего лирику, а в «пирожке» лирика сливается с удушением: совпадающее с поэтом лирическое «я» само, так сказать, отшлепывает мальчишку за нелюбовь к луковому супу или само жует вчерашний пирожок. Такие стихотворения острее изъясляют воспринимающее их сознание, чем «Звезды», завершающие «Европейскую ночь», потому что нельзя взмолиться после них:

Не легкий труд, о Боже правый,
Всю жизнь воссоздавать мечтой
Твой мир, горящий звездной славой
И первозданною красой.

И все эти поздние стихи Иванова язвительностью превосходят любые стихи Ходасевича, потому что те всегда предполагают заглушенное, неслышное, но все-таки признанное и сущее «горé имеем сердца», а они ничего не предполагают, ни о какой звездной славе не ведают, и не тем, что ими сказано, а лишь самими собой, своим поэтическим, вопреки всему, бытием на ухо нам шепчут — накануне смерти — «есть поэзия».

* * *

Поэты в нашем веке чаще всего намечают путь, который продолжить невозможно. О Ходасевиче и другие думали, и сам он думал: дальше некуда идти. Чувство это — трагическое; но стихи, его вызвавшие, останутся, именно потому, что они вызвали это чувство. То же следует и о стихах Георгия Иванова сказать, которому парадоксальным образом удалось путь Ходасевича, хоть и покосив его, продолжить. Трагическим был этот парадокс, во-первых, потому, что необходимой предпосылкой его оказалась болезнь и бедность, почти нищета, очень тяжело переживавшаяся поэтом, а во-вторых, потому, что и поэзии его пришлось, довольно мучительно для поэта, обеднеть и притом лишиться вот этого самого «горé», без которого, вообще говоря, поэзия не может обойтись. Не все, в эти последние годы, удавалось и довести до вполне счастливого — для поэзии, о, только для нее — конца. С юных лет никогда не изменявшая поэту виртуозность остается при нем и теперь, но соблазняет его слишком нарочито ею пользоваться:

Как все бесцветно, все безвкусно,
Мертво внутри, смешно извне,
Как мне невыносимо грустно,
Как тошнотворно скучно мне...

Зевая сам от этой темы,
Ее меняю на ходу.

— Смотри, как пышны хризантемы
В сожженном осенью саду —
Как будто лермонтовский Демон
Грустит в оранжевом аду,

Как будто вспоминает Врубель
Обрывки творческого сна
И царственно идет на убыль
Лиловой музыки волна.

Не очень нас убеждает внезапно прикрывший безысходную скуку театральный занавес. Да и весь этот прежний цветистый реквизит нынче ведь обесценен в глазах самого поэта. Это всего лишь

Художников развязная мазня,
Поэтов выпрєнная болтовня...

Гляжу на это рабское старанье,
Испытывая жалость и тоску.

Насколько лучше — бляенье баранье,
Мычанье, кваканье, кукареку.

Совсем как будто и забыт — проклят вернее — «искусства сладкий леденец», а все же простенькая или только с виду простенькая музыка возвращается, возникает вновь; невозможно с нею распрощаться:

Уплывают маленькие ялики
В золотой междупланетный омут.
Вот уже растаял самый маленький,
А за ним и остальные тонут.

На последней самой утлой лодочке
Мы с тобой качаемся вдвоем:
Припасли, дружок, немножко водочки,
Вот теперь ее и разопьем...

Ничего к этому не прибавишь. Никуда в отчаянии дальше не пойдешь; но и к поэзии этой — как поэзии — прибавить нечего. Тут она снова. Как неотразимо! Как пронзительно! Гибель поэта нераздельна с ее торжеством. Умер он, в страданиях изнемог; а невозможное сбылось. Только так невозможное и сбывается.

В. Вейдле

ПРАВО СКИТАТЬСЯ

«Моя судьба издавать не сборники, как все поэты, а «Избранное», — говорит «от автора» Наум Коржавин с обложки своей книги поэзии. Термин «избранное» значит для Коржавина не просто лучшее из написанного; это прежде всего — избранное для сегодняшнего, самого актуального для него разговора. Почти четыреста страниц поэтического диалога с читателем под заголовком «Времена». Но: «Время дано. Это не подлежит обсуждению. Подлежишь обсуждению ты, разместившийся в нем»...

Первое стихотворение книги кончается строчкой: «...и выхолили на дорогу». Заканчиваются стихи в книге (его поэмы стоят в сборнике особняком) строчкой: «Впрочем, вам не до того». Это последнее в ряду стихов восьмистишие, написанное «Кое-кому» уже в эмиграции, звучит как произнесенная вслух реплика бешенства в разговоре с человеком, который не слушает. Это восьмистишие как будто не произнесено, предназначено не для чтения: это уже сама немота, немота поэта в чужой стране. То, что эти строчки все-таки написаны, говорит о том, что поэт продолжает спор. А в этом вечном споре самое страшное — замолчать, уйти в другую комнату, хлопнув дверью. Но одной дверью уже хлопнули; или вас вышвырнули и захлопнули за вами дверь. Другой комнаты, другого выхода нет — перед вами не дверь, а глухая стена. Стена молчания? И как будто «не жил я на земле полвека»?

Я сопоставил первое и последнее стихотворение в книге, точнее, их последние строчки, не в целях имитации стиля протоколов обыска, хотя о них ни на секунду нельзя забывать, когда читаешь Коржавина, прошедшего и тюрьму, и ссылку. Но сопоставил потому, что последние строчки в стихах Коржавина всегда ударные, подытоживающие. Как первые — всегда задающие тему. То же можно утверждать о каждом стиховом цикле, о всем сборнике, недаром и называет он свою книгу «избранное». И если каждый его стих — интонационно — построен как хорошо обдуманная

Н. Коржавин. Времена. Изд. «Посев», 1976.

реплика в споре на вечные темы, где первая строчка как бы подслушанная с чужих слов, а последняя строчка этой реплики звучит всегда как доказательство, произнесенное с решительностью на выдохе, — то вся книга становится ответом на долгий большой разговор о том, почему те, кто «родились в большой стране, в России, в запутанной, но правильной стране», почему они, как Коржавин, вдруг говорили: «Вокруг — одни гробы»; и уходили «на волю — от судьбы».

Не бояясь поэтически начать свой путь в традиционном русле гражданской поэзии, ставшей классической для советской поэтической школы, Коржавин, как и многие поэты его поколения, неожиданно для самого себя заново открыл расхожий словарь символистов с их «судьбой», «веком», «путем» и «эпохой». Но для Коржавина судьба стала рифмоваться с судом; века со сроками, а жизненный путь — с путем следования в место ссылки. Для поколения Коржавина — это обновленные кровью и разлукой слова, и когда Коржавин говорит: «Ни к чему полуночные бденья и мечты, что проснешься в каком-нибудь веке другом», — то под мечтой о другом веке надо понимать надежду очутиться вне тюрьмы, вне ада соучастия в этой судьбе-суде, эпохе-плахе и веке-зеке. Поколение поэта ходило «в акациях, как в дыме» и им «хотелось стать врагом». Стать врагом — это стать по другую сторону, это испытать сладостное чувство освобождения от давящей маски душного комсомольского собрания. Для этого состояния освобождения у Коржавина много определений: от прямого побега до преодоления «инерции стиля»; того стиля, когда к «правде стремишься, а лжешь как обманщик». Так разговор о стиле становится политическим спором. В наш век, вы знаете, и слезы преступленья: о брате сожалеть не смеет нынче брат.

Происходит подмена понятий. Происходит подмена истины и справедливости их классовыми интерпретациями, а затем замена классовых лозунгов на партийные; а затем абсолютизация партийной установки властей как «осознанной» свободы: осознанной необходимостью этой власти подчиниться. Вся эта логика звучала бы сегодня как давно разгаданная арифметическая задачка, если бы она существовала как нечто параллельное личной жизни. Но для Коржавина эта логика — ежедневно с утра до вечера ежесекундно повто-

ряющийся кошмар, разъедающий и каждого и всякого и всю страну. Она — эта логика — вошла, как сейчас уже не говорят, в подсознание. Ею дышит воздух. Она становится поэзией, то есть тем, от чего некуда деться. Когда вокруг всё — политика, тогда политические и какие угодно философско-логические выводы и оргвыводы перестают быть политикой и философией, но становятся личным фактом. «Отчужденье приходит всегда неожиданно, и тогда пустяки вырастают в разрыв». За философской лирикой Коржавина стоит драма о невозможности вырваться из круговой поруки словесного подлога, за которым скрывается отчаянный поиск обычного домашнего тепла и непартийных лиц. За «пустяками» метафизических битв стоит задыхающийся человек, голос которого тонет в общем голосовании.

Стихи, вошедшие в книгу, своим вторым планом и становятся разговором о праве на отделенность, на уход, на не-соучастие в этом голосовании, когда «перепутанно все, все слова получили сто смыслов». Чтобы понять трагизм этого ухода в не-соучастие, поэт дает возможность циклами ранних стихов заново ощутить ту замкнутую, заражающую клаустрофобией атмосферу безысходности в самом буквальном смысле: когда некуда уйти и повсюду глаза; и не так страшно то, что они за тобой следят, сколько то, что тебе навязывают чужой взгляд вместо твоих вырванных глаз. Еще страшнее то, что ты этого можешь не заметить. Потому что нет никого, кто указал бы на чудовищную подмену, когда слепые водят по цепочке глухонемых, а посторонним вход воспрещен; и нет даже зеркала за границы, в которое можно заглянуть и ужаснуться перемене. «Я думал, что вижу, не видя ни зги, а между друзьями сновали враги. И были они среди наших колонн, подчас знаменосцами наших знамен».

Эта книга стихов — словарь целого поколения, и, начав говорить об этой эпохе, эти стихи сами ложатся цитатами в разговор, как будто специально для этого созданы. Да и другой цели у большой поэзии нет, как разойтись на цитаты. Такие стихи пишутся для того, чтобы в следующем разговоре прочесть их как ответ на поставленный прямо вопрос. Хорошие строчки такой поэзии и сочинялись как будто на ходу, уходя из гостей, или возвращаясь в дом, где гости, шепотом перекрикивая друг друга, пытались понять, как

так случилось, что в начале они восхищенными мальчишескими глазами глядели на комиссаров в пыльных шлемах, а потом были вынуждены, пряча глаза друг от друга, голосовать «за вдохновенные насилия, за хитроумных дураков».

Коржавин — из тех немногих поэтов, которые не боялись внести в поэзию интонацию и стилистику московского разговора о политике, разговора, ставшего бытом целых домов; разговора, подпольное течение которого закручивается, конечно же, вокруг двух вечных вопросов: «Что делать?» и «Кто виноват?» Это разговор запутанный логически и композиционно ясный; это разговор, обычно начинающийся с известия об обыске, продолжающийся спором о психологии подследственного и следователя, переходящий в спор о традициях и самодержавии, уводящий в диспут о лжи как самозащите и о лжи как насилию, прерывающийся личными обвинениями в двурушничестве и кончающийся все теми же безысходными интонациями о круговой поруке и вопросом: «Что делать? Кто виноват?» Коржавин не случайно приподымает пародийно привычные разговорные формы, знакомые по этим ночным спорам. Интонационно каждый его стих скрывает за собой невидимого оппонента в споре: у него в стихе всегда есть эта иногда переспрашивающая, иногда как будто вспоминающая чужую реплику интонация. Он такой же участник разговора в этой шумной московской квартире, но только говорит он сначала не вслух, а про себя, всех выслушав, поставив все в уме на свои места, а потом отчетливо, сделав шаг вперед: «Твержу о том, что сами знают, но что боятся осознать».

Стих Коржавина — это постоянная попытка пробиться через хаос ежедневного пересматривания метафизического словаря всего человечества за один вечер; он пытается отгадать то, «что длится, что стоит всего», что за этим разговором прячется, пока люди людям за идею продают чужую кровь; отгадать и из этого разговора вырваться. Чтобы попасть в ловушку разговора следующего. Тема ухода, побега, разрыва проходит у Коржавина через любовную лирику, которую трудно выделить, отделить от других главенствующих тем, и эту путаницу вносит, часто намеренно, сам поэт. Уже в ранних стихах у Коржавина «она» — это и Москва, Россия, Родина; и поэтическое обращение «к ней» — это всегда еще и разговор о России, Родине, Москве, если даже

внешне — это стих о женщине. В книге эти стихи идут почти открытым монтажом со стихами о верных одной идее «простой и ясной — править нами». «Ты идешь и очень хочешь, чтоб казалось — не ко мне», — строчка очень точного понимания своей жизни-любви непринятого, точнее — не желающего быть принятым на половинчатых основаниях человека, обреченного выяснять отношения до конца жизни и не согласиться ни с чем; человека, который, говоря с ней и о ней, продолжает в действительности говорить о себе «от тяжести бессмысленной борьбы и щедрости хмельной самоотдачи». Это любовь, доведенная до гражданской злости, это нежелание уйти, не высказав всего до конца и в лицо, а высказав, не повернуться спиной, но ждать, какие новые казни и предательства последуют за его словами-вызовом. «Это чувство, как проказа. Не любовь. Любви тут мало»; «Но что-то в судьбе моей, что, как на приговоренного, жалостливыми глазами смотрят мне вслед на прощанье жены моих друзей?»; и, наконец, ставшее классическим: «И в кибитках, снегами, настоящие женщины не поедут за нами».

В любовной лирике Коржавина находит конечное выражение то состояние двойственности, неизбежно наступающее всякий раз, когда задаются глобальные вопросы на тему: я и моя страна. Когда вся страна воспринимается на свой счет, когда личный разговор человек не слышит из-за постоянного стука в дверь, когда он чувствует себя под постоянной угрозой утонуть в диалектике «лгать нам надо для спасения души», — тогда это состояние превращается в цветаевское: «а я живу и это смертный грех». То есть человек ощущает каждый свой собственный вздох как лишение глотка воздуха кого-то другого. «Мы дышим... А каждый, кто дышит, мутит, оскверняет стекло...» Каждый бутерброд, съеденный в кафетерии при гостинице «Москва» — это заключенный, лишенный лагерной пайки. Словесно, когда подразумевается механический закон сохранения справедливости, эта проблема становится антиномией жизни и искусства, поэзии и правды, слова и дела. «Я в партизаны странные подался — стрекочет мой язык как автомат». Тема зависти именно к делу, а не слову, начинается у Коржавина в его уже цитировавшемся здесь стихе: «Можем строчки нанизывать посложнее, попроще, но никто нас не вызовет на Сенатскую площадь». Все-таки вызвали. Не на Сенатскую, правда, а на Лубян-

скую. Но это не спасает от мысли, что «мы ненавидим тех, чьи жмут нам горло пальцы, а ненависть в ответ без пальцев душит нас». Магический круг, когда слово, объявленное преступлением, создает политическое дело, рождающее новые слова и новые дела, суды и сроки и пути, — становится в глазах поэта судьбой и роком, от которых надо бежать: «от созидательных идей, упрямо требующих крови», «от Правд, затмивших правду дней, от лжи, что станет им итогом». Уход и побег для поэта — это уход именно от судьбы: «Вокруг — одни гробы... И я ушел. На волю — от судьбы». От судьбы, понимаемой им теперь как уготовленность этой круговой поруки «слова и дела».

Решиться на такой шаг внутренне — даже если бы он не был навязан извне, — это не подвиг и не смирение: для поэта это верность себе, потому что: «Все тех же судеб связь меня томит». И книга стихов поэта доказывает, что судьба — это для него «ветер в лицо, это право скитаться» не только географически; это то, что возникает вместе с дорогой, а дорога начинается только тогда, когда человек по ней идет:

«И не вынесешь снова... А люди — выносят.
За себя и тебя... Что ты можешь? — немного:
Дать на миг ощутить, как нужна им дорога».

З. Зиник

БЛЕСК И НИЩЕТА СОВЕТСКОГО ИНТЕЛЛИГЕНТА

В своем далеком и недолгом филологическом прошлом я занималась Тыняновым и книгу Белинкова «Юрий Тынянов» приняла далеко не с тем восторгом, с каким ее встретили круги московской либеральной интеллигенции, которые затаив дыхание ловили возникавшие в книге подтексты. Меня не устраивала (и не устраивает) в той книге Аркадия Белинкова не верная, на мой взгляд, и не оригинальная, порожденная еще тридцатыми годами концепция тынянов-

А. Белинков. Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша. Подготовила к печати Н. Белинкова. Мадрид, 1976.

ского развития: от «хорошего» «Кюхли» к «упадку» «Вазир-Мухтара» и особенно «Восковой персоны». Главное же — ограниченной, не накладывающейся на диапазон тыняновской проблематики была для меня идея представить всё творчество Тынянова под знаком проблемы «интеллигенция и революция». Когда я пыталась изложить пылким апологетам свои скушные филологические претензии, на меня смотрели как на дурочку и говорили: «Так это же не о Тынянове?» — Так зачем тогда о Тынянове? — возражала я. На меня махали рукой.

Видимо, частичная правота была на обеих сторонах. Действительно, высказать что-то, иным путем в подцензурных условиях несказуемое, — и для писателя, и для читателя выход, ради которого можно простить неточный подход к сюжету исследования. Но была всё-таки и моя правда: проза Тынянова — явление серьезное, сложное, высокого класса, недостаточно оцененное (можно прибавить, что в последние годы, под флагом новых открытий и всеобщего, вполне оправданного увлечения Платоновым и/или Булгаковым, тыняновская проза в интеллигентском сознании отошла за штат, куда-то на линию второстепенных писателей 20-30-х годов, — и, боюсь, только за то, что он открыт не после смерти, что все его произведения были напечатаны тогда же, когда написаны, и что он недостаточно подвергался преследованиям), и вот анализ этой прозы подчинять тому, чтобы сказать в первую очередь «не о Тынянове»?

Книга об Олеше снова напомнила мне старый спор, но после ее прочтения мне прояснилась не столько относительная правота, сколько относительная неправота обеих сторон. Теперь я думаю, что книга «Юрий Тынянов» для Белинкова и была книгой о Юрии Тынянове, о Тынянове как герое (одном из вариантов героя) темы «интеллигенция и революция». Другое дело, что существо тыняновской прозы только краем захватывает данную тему, будучи гораздо шире: что-то вроде «человек и история», временами конкретизируясь как «человек и государство». Но это не так уж далеко лежит от темы «интеллигенция и революция», которой, как выводится в итоге из обеих книг, Белинков был одержим (и по делу: она — одна из решающих в нашей новейшей истории, и раскопки ее только начаты). Вот только герой был подверстан не совсем под свое амплуа. Во второй

раз Белинков попал точно по цели: для его замысла Олеша оказался героем наглядным, показательным, экзemplярным, как та фасолка, на которой мы когда-то на уроках ботаники изучали строение зерна. И вся книга, с ее квазиотступлениями от вынесенного в заголовок объекта исследования, с историко-литературными, политическими, стилевыми характеристиками эпохи, естественно произрастает из своего героя — как фасолевый кустик с листочками, усиками и стручками, полными крупных двудольных зерен, совершенно одинаково устроенных, хотя и поражающих взгляд разнообразием пестрых кож. «Непохожесть Олеси на Шолохова или Гладкова не выходила за пределы литературной дискуссии».

Что означает «сдача и гибель»? Что сдавшийся — гибнет. Как сдается человек, интеллигент, писатель? Каковы обстоятельства, помогающие сдаче? В чем лежит predisposition поднять руки вверх, и даже до того, как отдана команда? Ответить на эти вопросы значит аккуратно переписать книгу Белинкова. Для Белинкова это значило написать книгу, что потруднее.

Метафоры Олеси — общее место всех, кто бы о нем ни писал. Король метафор, известное дело. Белинков не отнимает у Олеси этого звания, наоборот, подробно и на протяжении всего пути писателя изучает систему его знаменитых и вправду блистательных метафор. Да только вот, как глазом за скользнувший прожектор, зацепляешься за почти мимолетное замечание и обрываешь дух на полупhrase, на этом луче, мимолетно осветившем собранные, перечисленные и пересчитанные богатства: «Но так как это написано в годы, когда стало уже совершенно ясно, что не в метафорах счастье...» Не в метафорах, а в том, чтобы, «высвободив из-под метафор верхнюю часть туловища», произнести устраивающие эпоху (колеблющуюся с линией партии) выводы, чему обилие метафор и вообще того, что так ласково называют мастерством, — не помеха, едва ли не подмога. «По книгам Юрия Олеси можно понять, что происходит с человеком, который испуганно и готовно в прекрасной форме повторяет чего велют».

В короткой рецензии легко повторить какие-то выводы, к которым приходит автор книги, и невозможно воспроизвести анализ, сумму (не в арифметическом, а в средневековом

смысле) доказательств. Добросовестный скальпель Белинкова не пренебрегает «прекрасной формой» Олеши, обнажает и демонстрирует всё великолепие его художественных приемов, всё умение и блеск его прозы. Но, как у женщин определенного звания, у советской — не хронологически, а по существу советской, «нашей» литературы нет блеска без нищеты. И эта нищета, это «чего велят» тоже возникает перед читателем из подробного, содержательного, день за днем и строчка за строчкой, исследования творчества Олеши — не голословно, не на пустом месте и не по злобе к старому (более того — покойному), заслуженному и оваянному легендами писателю.

Кстати, о легендах. Белинков рассчитывается и с ними. «Исподволь и незаметно и совершенно без всякого основания пришла и захватила власть легенда о гонимости, о непризнанности, о тяжелой судьбе Юрия Олеши». Разглядывая эту легенду с лица и с изнанки, Белинков обнаруживает, что никакой гонимости, никакого писателя, претерпевшего за убеждения, не было — был писатель стилистически изысканный, с языковым снобизмом, иногда попадавший из-за этого в перепалки с критикой. Был писатель лучше, честнее и благороднее Михалкова или Первенцева, но «целомудрие, смелость и благородство не могут быть заменены чем-то подобным, но худшим из-за того, что на свете еще не перевелись преступления». Вторая легенда, явно производная от первой и вместе с тем должествующая подпирать ее, — многолетнее молчание Олеши. Тут Белинкову достаточно призвать на помощь не какую-нибудь умную литературоведческую методику или тонкую интуитивную эссеистику, а простую арифметику. За 26 лет своего «молчания» Олеша, как выясняется, написал в 3,3 раза больше, чем за десять лет творческого расцвета, — если считать только то, что вошло в однотомники «избранного». А было написано и еще много чего — такого, что и сам Олеша в 1956 г., и составители его сборника в 1965-м печатать постеснялись. Кое-что из этого Белинков рассматривает и цитирует, вызывая болезненно познавательный интерес у читателя, который не только что творчество Олеши 30-50-х годов, но и всю советскую литературу того времени подзабыл (а то по молодости и не знал). «Если положить историю литературного творчества Юрия Олеши рядом с историей советской литературы, для

которой он так много сделал, то станет ясным, как точно Юрий Олеша повторил горы и пропасти своего века, как оба они — писатель и литература — писали хорошо или плохо в хорошие или плохие годы».

Вот и выходит Олеша в главные герои «постольку поскольку» (Белинков в конце книги и вообще пишет, что не главный), красуясь, как фасолина, вынутая из стручка на уроке ботаники. Но стручок на кусте, а куст тянет корнями жизнь из земли и листьями из воздуха, эти почва и воздух — почва эпохи и воздух эпохи, и сама эпоха становится героем книги по меньшей мере наравне с тем конкретным примером, на котором демонстрируется, чем эта эпоха питала, чем учила дышать. Для нее-то и герой понадобился такой, научившийся дышать по-ее, пропитавшийся ее духом. «Есть много причин, по которым одни книги оказываются лучше, другие хуже. Из многих причин, которыми это можно объяснить, серьезное значение имеют две: история, разрушающая человека, и сила его нравственного сопротивления». Методологически отсюда ведут два пути. Или выбрать героя с реальной силой нравственного сопротивления — и тогда герой становится не только сюжетным центром, но и героем во всех значениях, высвечивая и в то же время затмевая эпоху. И тогда могла бы быть книга об Ахматовой, которую закончил ли Белинков, не знаю, но знаю, что писал. Или же — с силой сопротивления, практически приравненной к нулю, — и тогда (такова методика в книге об Олеше) на читателя и на самого исследователя всей тяжестью, всеми боками и острыми углами, всеми деталями и самым стилем бытия обрушивается эпоха, «история, разрушающая человека».

Того, что написал об эпохе Аркадий Белинков, как будто торопясь выговориться, как будто предчувствуя краткость отмеренного ему времени, — хватило бы на хорошую хрестоматию по истории СССР, советской литературы и культуры, языка и образа мыслей (западной интеллектуальной элите — «надежда была такая: ничего подобного быть не может» — по ложке в день натошак). Опять, горе рецензентское, хочется цитировать и цитировать. Но и цитировать трудно. В предисловии к книге сказано: «Попытка напечатать книгу вопреки цензуре определила такую ее особенность, как эзопов язык... Вместе с автором повествование

ведут рассказчики: обыватель, пропагандист, пророк». Так ли это? Рассказчики ли? Или один рассказчик — разорванный и цельный, то разрешающий себе патетику, разговор вчистую, впрямую, то сознательно (с жуткой, отнюдь не романтической иронией) принимающий формулировки советского стиля, пародирующий их с серьезностью человека, всю жизнь среди них прожившего и знающего цену как лжи их, так и их обволакивающей власти? То-то и в переходах тона ни стыков, ни склеек, речь держит человек, естественно (читай: неестественно, как вся естественность шестьдесят лет вытравлялась, подменялась и вытеснялась неестественностью, и Белинков не переменял этого, думаю, не потому, что не успел закончить работу над книгой, — даже тогда, когда не было уже надобности в «эзоповом языке») меняющий тон, измыывающийся над собственными же словами. Этот «авторский» тон можно было бы описать в строгих литературоведческих понятиях проблематики «чужой речи», когда бы сама проблематика в наше время не вышла за рамки литературного текста и чужая речь не внедрилась в нашу собственную. Этот тон сам становится еще одним героем книги. Вот об этом в предисловии сказано точно: «Материал (т. е. язык. — Н. Г.) исследования выполняет двойственную функцию: играя самостоятельную роль, он становится объектом, из которого извлекаются новые значения».

Вот почему так трудно и так хочется цитировать. И лучше я оборву себя и закончу одной только цитатой, в которой выступают все герои: и эпоха, и тон повествования, и даже не названный в ней писатель Юрий Олеша. Цитатой — из тех горьких ложек натошак.

«Государство диктатуры пролетариата могло предложить интеллигенции свободу лишь в пределах, не мешавших ему.

Свобода, которую принесла революция, была по-видимому не совсем тем, что части дореволюционной интеллигенции казалось революция обещает.

Однако прошло совсем немного времени, и новые представления о свободе стали казаться лучше старых представлений».

Н. Горбаневская

«ТАРАКАНЬЯ ИМПЕРИЯ»

В Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе есть специальный раздел, посвященный улучшению работы иностранных журналистов.

О том, в каких трудных условиях приходится работать иностранным корреспондентам в Советском Союзе и в других социалистических странах, написано немало статей и книг. Одни из них выдержаны в строго объективном тоне, авторам других едва удастся скрыть свое раздражение, вызванное всевозможными препятствиями, с которыми они сталкиваются в этих странах. Живя под постоянным и недремлющим оком КГБ, находясь в унижительной зависимости от советского Министерства иностранных дел, некоторые иностранные корреспонденты идут в СССР на компромиссы, недостойные людей этой профессии. Резко критически отзывался о подобных журналистах Солженицын. Подробно писал о них Амальрик.

Список этих свидетельств пополнился книгой молодого французского журналиста Даниеля Сент-Амона «Тараканья империя». Автор в течение двух лет был в Москве постоянным представителем французского национального радио и телевидения.

Д. Сент-Амон дает подробное и красочное описание двух московских кругов: французской колонии (дипломатов, журналистов, инженеров) и сотрудников КГБ, приставленных для наблюдения за иностранной колонией. Описывая эти две категории, наблюдатели не раз представляли одних (иностранцев) в абсолютной аквариумной изоляции, а других (гебистов) — в виде хладнокровных наблюдателей, которые через прозрачные стенки аквариума следят за своими жертвами — иностранными рыбками — и время от времени бросают им вкусную соблазнительную приманку. Достоинство книги Д. Сент-Амона заключается в том, что он подробно описал процесс попадания иностранцев на удочку КГБ, а также то, как тесно переплетаются круг иностранцев и круг гебистов. Он назвал эту книгу романом — на наш взгляд, не

совсем заслуженно. Это, скорее, систематизированные, лишь слегка обработанные дневниковые записи событий: автор либо был свидетелем их, либо узнал о них в Москве. И даже герои «Тараканьей империи» — действительно существовавшие или существующие люди, чьи вымышленные имена — прозрачная вуаль.

Мир иностранной колонии в Москве — мир замкнутый, бескислородный. В нем задыхаются и дипломаты, и журналисты. Все знают друг друга. Все давно уже надоели друг другу. «Иностранцы живут в Москве вдали от родины, почти забывшей об их существовании; до тошноты наглядевшись на вездесущие портреты Ленина; под постоянным наблюдением шпионов, записывающих даже любовные вздохи в постели; среди советского персонала, обученного составлять на них ежедневные доносы. В результате у иностранцев возникает ощущение, что они все подвергнуты коллективному наказанию, и у них появляется нечто вроде странной гордости каторжан».

Время от времени то один, то другой член этой колонии пытается вырваться из замкнутого круга, сблизиться с москвичами, понять их, пожить их жизнью. И тут в игру вступает КГБ и на первых порах «бескорыстно» предоставляет им эту возможность, знакомя их со «своими» москвичами и поставляя им даже «своих» инакомыслящих. Вырываясь из удушающего плена, на который они обречены в Москве, иностранцы попадают в плен куда более страшный — в плен КГБ, а из этого плена вырваться куда труднее, чем из предыдущего.

Не нашел помощи в своем посольстве и погиб в подстроенной автомобильной катастрофе молодой инженер Жан-Пьер Тибо, который по легкомыслию оказался зацепленным на крючок КГБ, но, поняв это, хотел разорвать эту связь. Обманом выдает посольство советским властям одного армянина, уроженца Франции, который просил в посольстве убежища.

Профессиональный уровень дипломатов иронически продемонстрирован в портрете некоего Андре Мерсье. «В тот день, когда Мерсье был назначен специалистом по советской внутренней политике, он приступил к изучению русского языка. Научившись говорить по-русски «здравствуйте, до свиданья, спасибо, где здесь остановка автобуса», он решил,

что знает достаточно. Это глубокое знание русского языка, естественно, дало ему познать глубину русской души, за- таенные уголки этой души, недоступной остальным ино- странцам. У своей уборщицы, капитана КГБ, он спросил, счастлива ли она? Бедняжка от удивления чуть не выронила сигарету изо рта. «Да, да...» — ответила она. Мерсье сделал вывод, что и все русские счастливы, и гордо перешел к изучению политической структуры СССР, купил «Власть в СССР» Мишеля Татю и прочел ее до двадцать четвертой страницы. Так Мерсье стал специалистом по советской внут- ренней политике».

Горько звучат слова инженера Тибо, незадолго до гибе- ли: «Господин посол, французы, не принадлежащие к дипло- матическому корпусу, чувствуют себя в СССР беззащитны- ми. Немцы из ФРГ или американцы знают, что в случае каких-нибудь неприятностей с советскими властями, они мо- гут рассчитывать на поддержку своего посольства. А мы — нет. Такое впечатление, что вы здесь только для того, чтобы никто не замечал вашего присутствия. Вы готовы на всё, чтобы только не вызвать недовольства советских властей. И что вы получаете в обмен на это? Они нисколько не уважают Францию. Англию уважают, особенно с тех пор, как оттуда выставили агентов КГБ, а Францию — нет»...

Неудивительно, что высказывания Д. Сент-Амона о посольстве Франции в Москве вызвало, как об этом погово- ривают в журналистских кругах Парижа, серьезное недо- вольство французского МИДа. Дай Бог, чтобы это недоволь- ство заставило МИД сделать позитивные выводы...

Несомненным достоинством книги «Тараканья империя» являются и портреты советских граждан, регулярно (и с ведома властей) общающихся в Москве с иностранцами. Дурнушка Натали Сандье выходит замуж за «прекрасного Сашу», не зная о том, что брак этот был задуман, одобрен и осуществлен начальством Саши в КГБ. Натали мечтает, как во Франции она небрежно скажет подругам: «Позна- комьтесь с моим мужем, он — русский, мы поженились в Москве». «Бедненький Саша, — думает Натали, — он будет потерян, растерян, очарован и напуган в стране, столь непо- хожей на Советский Союз. Она, Натали, поможет ему, она будет переводить ему фильмы, книги»... А тем временем «прекрасный Саша» ненавидит ее лютой ненавистью, стра-

дает от того, что женился по приказу начальства, но по тому же приказу вскоре заставляет Натали выкрасть в посылке ключ от отдела документации.

Примечательна и история фарцовщика Жени Ладешникова. Восемнадцатилетнего Женю поймали, когда он пытался подсунуть промышленнику из ФРГ «икону 17-го века», на которой еще и краска не просохла. Полковник КГБ Серский сразу заметил в молодом человеке и беспринципность, и способность к низости и подлости, и нашел этим качествам соответствующее применение. Женя быстро покатился по наклонной плоскости. Выдавая Женю за студента, его вводили в подозрительные для властей студенческие круги. На заводах, где было замечено брожение, он вел крамольные речи, чтобы выявить недовольных. В баре «Интуриста» Женя заводил знакомства с американцами или бразильцами, ищущими женского общества. У него в таких случаях всегда находилась в запасе «страдающая от одиночества балерина из Большого». А отбыв два года лагеря за валюту и выйдя окончательно сломленным, Женя оказался еще более во власти КГБ. Именно он был активным участником грязной игры, жертвой которой стал инженер Тибо.

Через всю книгу Д. Сент-Амона проходит образ полковника КГБ Серского. Крепкий профессионал, хороший психолог, знаток человеческих слабостей, он вербует фарцовщиков, готовых служить КГБ с таким же азартом, с каким еще недавно они спекулировали модными джинсами. Полковник Серский замешан во всех ловушках, в которые КГБ затягивает иностранцев, он разрабатывает планы вербовки агентов КГБ среди иностранцев, он же организовывает для них пьяные оргии. Одним Серский поставляет девочек, другим — в неограниченном количестве икру, до поры до времени ничего от них не требуя. Он же руководит неусыпной слежкой за иностранцами.

В конце книги происходит нечто неожиданное. С трясущимся от страха лицом Серский приходит на тайное свидание с Люсьеном Малле, французским журналистом, корреспондентом одной из крупнейших парижских газет, циником, завсегдаем оргий, которые устраивал для иностранцев Серский. Полковник КГБ дает Люсьену рукопись и просит переправить ее на Запад. Со слезами на глазах он объясняет своему приятелю и собутыльнику, что подал заявление на

выезд в Израиль. «Но они ни за что не выпустят меня», — говорит он Люсьену. Вернувшись домой, Люсьен Малле открывает рукопись и видит на первой странице заголовок: «Белая книга об условиях жизни евреев в Биробиджане». Закрывая книгу «Тараканья империя», читатель так и не знает, правда ли с Серским произошла перемена, или это очередная ловушка КГБ, попытка опубликовать на Западе очередной документ, состряпанный гебистами, выдав его за рукопись Самиздата.

Более проста и очевидна фигура журналиста-стукача Сергея Лошина. Вот он появляется на приеме во французском посольстве. «Он приходил на подобные собрания только для того, чтобы, как политический оракул, небрежно бросить иностранным журналистам информацию, которую его начальство с площади Дзержинского приказало ему распространить на Западе. Время от времени ему поручали переправить на Запад сенсационные рукописи или посеять за границей сомнение в порядочности того или иного известного выходца из СССР, живущего за рубежом. Его присутствие на приемах никогда не бывало случайным, и все внимательно следили за каждым его жестом и словом, выискивая в них скрытый смысл. Тем же, кто возмущался присутствием этого подонка на приемах, неизбежно отвечали: «Да, вы, конечно, правы, но ведь он близок к кремлевским кругам!» ..В действительности Сергей Лошин был близок не к кремлевским кругам, а к кругам КГБ, вернее, к тому отделению КГБ, которое носит название «отдел дезинформации»... Ни один из журналистов, присутствовавших на приеме, не согласился бы у себя на родине играть роль «журналиста-стукача», состоящего на службе у репрессивной системы государственной власти, — роль, которую играет в СССР Сергей Лошин. Если бы кто-нибудь из них только попытался, его раздавило бы презрение собратьев по перу. Но несмотря на это, на приеме не было ни одного иностранного журналиста, который не предлагал бы Лошину страницы своего журнала или микрофон своей радиостанции и не испытывал бы к Лошину чувства глубокой признательности, когда тот милостиво соглашался на это предложение».

Книга Даниеля Сент-Амона — в сущности, острый политический памфлет разгневанного и всерьез разочарованного журналиста. Горько звучит в конце книги обращение

Люсьена Малле к депутату-коммунисту Руссо — по долгу службы тот пытается закрыть глаза на все бесчеловечное и жестокое, что он увидел, с чем он столкнулся во время поездки по СССР. «Пока мы произносим в Советском Союзе красивые речи, возлагаем венки перед их мумией, они бесшумно грызут нас и изо дня в день все продвигают и продвигают вперед свои пешки. Война продолжается, а мы спим, похрапывая во сне, мы крепко спим, мы довольны тем, что вкусно пожрали. Не спорьте! Это ослепляющая правда! Мы готовы продать наши души, чтобы получить право строить в СССР заводы. А они покупают эти заводы, потому что это позволяет им маскировать крах советской экономики. Знаете, господин депутат, есть нормальные советские граждане и есть остальные, другие. Вы видели, как ползают повсюду в московских квартирах тараканы? Так вот, по-моему, сотрудники КГБ похожи на тараканов. Только тебе показалось, что ты от них избавился, как они уже снова тут как тут, и их еще больше. Они живут рядом с вами, делят ваше существование, вроде бы стараются вам не мешать. Но в один прекрасный день ваш дом разваливается, потому что из-за тараканов он насквозь прогнил».

Ф. Салказанова

ПУТЕМ ДОБРА

Я пришла сменить тебя, сестра...

А. А. Ахматова, 1912

И вот тебе моя игра,
теперь она твоя —
и путь добра, и тьма преград,
и тайна бытия.

Н. Горбаневская, 1962

Как-то на вечере в Доме литераторов в Москве, говоря об отечественной литературе, Сергей Аверинцев заметил,

что с 60-х годов из нее уходят последние по-настоящему большие поэты и русская поэзия сиротеет, причем не только от самого их ухода, но и из-за его невосполнимости. Наблюдение очень горькое. На наших глазах происходит как бы нивелировка поэтического уровня. С общим ростом культуры стихосложения рождается огромная масса стихов средних, с формальной стороны вполне профессиональных, иногда просто безупречных, — и все-таки оставляющих читателя равнодушным. Появились даже новые оценочные критерии — «ничего», «нормально» — и при всей своей расплывчатости они довольно ясно выражают отношение к таким стихам. Сказать «плохо» вроде бы и нельзя — ведь требованиям формальной поэтики они вполне удовлетворяют, а сказать «хорошо» что-то не дает. По-видимому «что-то», не позволяющее принять стихи, и есть наш эстетический слух, который не может уловить в них почти не определенной словами, но явной музыки, от которой только и начинают жить стихи, той музыки, что и зовется Поэзией и, помимо ритма, размера, аллитераций и рифм, творит магическое превращение простого набора слов в пленительное «Я вас любил...» И скорее всего, дело здесь отнюдь не в ослаблении читательского слуха, хоть и потрудились над ним изрядно все Лебедевы-Кумачи и Васильевы. Ведь стоит появиться книге, где эта музыка явственно слышится, как она и впрямь становится «томов премногих тяжелей»...

Такую книгу выпустило недавно Бременское издательство «K-Press». Она невелика по объему — чуть больше пятидесяти страниц, три школьных тетрадки, книга так и называется: «Наталья Горбаневская. Три тетради стихотворений». До этого на Западе вышло два сборника ее стихов: один — в «Посеве» в 1969 г. и другой, наиболее полный («Побережье»), — в издательстве «Ардис» в 1973 г.

Поэзия Натальи Горбаневской — явление удивительное, очень оригинальное и по истокам своим очень русское; сим-

Наталья Горбаневская. Три тетради стихотворений. Бремен, изд-во «K-Press», 1975.

Наталья Горбаневская. Побережье. Стихи. Изд-во «Ардис», Анн Арбор, 1973.

Наталья Горбаневская. Стихи. Изд-во «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1969.

волично уже само появление ее в сегодняшней России. Ведь лет 30-40 назад она была просто немыслима, и не столько потому, что автора немедленно постигла бы общая тогда участь — это возможно и теперь, да и в конце концов «рукописи не горят» — но, прежде всего, потому, что было невозможным подобное мироощущение. При всей их трагичности, «настрой» стихов Горбаневской качественно отличен от поэзии тех лет. Горбаневская видит свет, пусть еще неясный и слабый, но все-таки мерцающий в ватной тьме нашей действительности. И ощущение этого света — символ времени и тех глубинных сдвигов, что происходят в сегодняшней России и обретают голос в ее поэзии.

Лирик по самым истокам, по всему строю своего мироощущения, Горбаневская обладает предельной остротой восприятия и отзывчивости на внешние импульсы. У нее словно нет кожи, она лишена всякого защитного покрова и воспринимает мир живой плотью, оголенными нервами. Самое легкое прикосновение она ощущает пронзительно остро, не только слово, жест, взгляд, но

«скамеечка скользкая слезная полночь немолчная флейта
всё дергает за душу как за кольцо парашюта».

Такая незащищенность, душевная ранимость сама по себе делает ее стихи трагическими. Но Горбаневская наделена еще одним редким свойством — абсолютным нравственным слухом, опережающим логическое мышление и мгновенно реагирующим на малейшую фальшь и неискренность. В наш век, да еще в сегодняшней России, подобное сочетание уже не просто опасно, оно губительно. Чтобы сохранить себя, свою душу и человеческое достоинство «в этом страшном доме... где темно, и пьяно, и убого», чтобы отыскать в себе силы идти путем добра, одной уверенности в правоте мало. Здесь нужна Вера,

«чтоб, на решетке распятым,
увидеть в небе аспидном
не восточку, но Весть»,

нужна Надежда на «свет и слово любви». И еще нужна Любовь к этому дому и к этому народу, что живет «без вины и без Господа Бога», да такая, чтобы все отдать —

«карандаши и перья,
любовь, надежду, веру и доверье,
как тот, что за щепотку анаши

не то что кошелек, а наизнанку
себя сейчас же вывернуть готов...

Впрочем, и любовь бывает разной: горькой и суровой, смешанной с ненавистью и презрением, слепой, неверной... Горбаневская любит по-женски, самоотреченно и мудро, как любит мать, все видя и понимая, не осуждая — «Да не судимы... Я и не сужу», но оплакивая и сострадавая этой несчастной и близкой земле, где

«Для ее для сына —
дозу стеллазина.
Для нее самой —
потемский конвой».

Ведь все это — часть ее жизни, ее существа, ее сердца: и «серый мужичок», и безногий калека-нищий, и демонстранты на Страстной, и вагонзаки, что тянутся с ними «с Казанского вокзала на восток», и храм Покрова, и «чета кривых крестов», и весь этот «каиновой печатью» клейменный неизлечимый народ, с которым не раздумывая делит она нескончаемый и кровавый «путь покаянья». Она знает, что другого пути нет, это расплата за соблазн, за грех богоотступничества, за слепоту и легковерие прежних поколений, когда

«заря свободы,
оскалив зубы, возводила своды,
где духу туго, плоти не тепло».

«Путь покаянья, как путь греха, нескончаем», но начало у него есть, и начало это — осознание вины. Без вины и искупать нечего; без вины да «без креста» вот уж больше полу столетия лишь «годовщины с дармовщины пухнут, как в голодный год», да все глубже падает «во тьму насилия» страна. И должен кто-то начать, должен кто-то взять на свои плечи это страшное бремя вины, и не просто покаянным словом, а всею жизнью своей, и не обличеньем, а любовью, у которой одной только и есть силы вынести эту тяжесть. Непросто решиться на такой «добровольный флаг ...неволи», за которым начинается бесконечный путь страдания и очищения, где будут и вагонзаки, и лагеря, и «больницы полутьма и полусвет», и тюремная «китайская стена», и давящая тяжесть «глухой и незрячей толпы»... Но здесь-то и сказывается абсолютность нравственного слуха: «я здесь стою и не могу иначе», потому что иначе теряет смысл са-

мое существование мое. И Горбаневская взваливает на свои плечи вину народа и страны:

«Это я не спасла ни Варшаву тогда и ни Прагу потом,
это я, это я, и вине моей нет искупленья».

Горбаневская не политик, мы подчеркиваем это, она — поэт, к тому же по самой природе своего дарования поэт лирический, т. е., казалось бы, наиболее далекий от всех общественных проблем. В ней самой заключен огромный своеобразный мир, которого хватило бы с лихвой на десяток современных стихотворцев, и куда она могла бы уйти вся, как «в убежище колдунчиков и прятков», как в

«этот сгорбленный, кривоарбатский
сонный запах запрошлых лет...»

и найти там забвение и успокоение. Да и сколько таких уходов знает современная русская литература. И вряд ли вправе мы осуждать за них — «много званых да мало избранных». Крестный путь далеко не всем по силам, он тяжел не только изгойством, на которое обрекает, и внешними своими несчастьями. Едва ли не тяжелее страдания духовные — и одиночество, и отчаяние, что охватывает порой от безрезультатности своих усилий

«Я строю, строю, строю,
но все не Рим, а Трою,
и Шлиман на холме,
с лопатой и с лоханью,
дрожа от ожидания,
сидит лицом ко мне»,

и сознание собственной слабости и беспомощности перед громадой машины зла, и усталость от бесконечного изматывающего напряжения, когда хочется хоть на час забыться, сбросить свое бремя, уйти куда угодно, бежать «из зоны в зону грез»... И невозможность такого побега — от себя не убежишь, «все сны твои засвечены негаснущим лучом». И луч этот не просто свет лампы в тюремной заплыванной камере, он исходит из тебя самой, из твоего сердца и сопровождает тебя в снах, переходя в явь, а явь сливается со снами, и меж сном и явью

«все мне пахнет стружкой сосновой
случайного любовника плечо».

А стружка-то от плахи да от скобленных досок помоста...

Эта проблема выбора уже выходит за рамки собственно поэзии, принадлежа скорее области нравственной. Но в русской литературной традиции (той самой традиции, об оскудении которой сокрушался С. Аверинцев) они всегда были глубоко взаимосвязаны. Может быть, именно в нравственной высоте, гораздо больше, чем в довольно искусственной схеме преемственности литературных направлений и методов, видна ее непрерывность. Сегодня эта связь, по-видимому, даже теснее, чем когда бы то ни было. Иначе и быть не может в обществе насквозь идеологизированном, где нравственность и мораль, подчиненные классовым теориям, изменяются с очередной сменой кабинета. «Но плохая политика портит нравы, это уж по нашей части», — замечал Иосиф Бродский. Именно эта — нравственная — сторона литературы делается первостепенной сегодня, в нашем «родном двадцатом веке», полном иммориализма и насилия.

Горбаневская не революционер, не «потрясатель основ общества», нет, она просто защищает свою веру в нравственные ценности, защищает свое человеческое достоинство и, тем самым, достоинство нашей поэзии, ее чистоту и право на родство с великой поэзией России. И если в нашей вывернутой наизнанку сумасшедшей действительности за это простое и естественное человеческое право нужно страдать, она принимает свой крест как неизбежное, как волю Творца, моля только об одном:

«не отпусти меня свободной,
не попусти в ночи холодной
душе моей заледенеть».

* * *

Своего Гамлета Горбаневская написала через полстолетия после ахматовских строк «Я пришла сменить тебя, сестра». Не знаем, есть ли между этими двумя вещами какая-либо внешняя связь, но внутреннее, глубинное родство здесь несомненно, как ощущается оно во всем творчестве Горбаневской, в той страдающей и сострадающей стихии любви, что его одухотворяет. Разница во времени. Полстолетия,

разделяющие эти стихи, в которые привелось жить и писать А. А. Ахматовой, были, может быть, самыми страшными в истории России — становление нового «тысячелетнего царства». Ни просвета впереди, ни проблеска надежды. Ахматову называли «плакальщицей», она хоронила всю свою жизнь: хоронила близких и друзей — от Гумилева до Пастернака, — хоронила города, с ними связанные, любимую ею Россию, храня ее лишь в сердце своем. В Горбаневской тоже есть что-то от плакальщицы и молитвенницы. Но ей повезло больше: за полстолетия «тысячелетнее царство» дало трещины, и при всей дикости и исковерканности нашего времени в нем уже чувствуется приближение перемен. И ей приходится терять друзей, уходящих в каменное небытие, где «валторна электрички» и мокрая от дождя платформа пригородной станции кажутся «недостижимым мифом». Приходится оставлять и самое дорогое — свою землю, свой дом... И все же открывает она гораздо больше: открывает истинные ценности, казавшиеся намертво погребенными под грудой лжи и крови, открывает веру в себя и свой «неназванный народ», открывает, наконец, новых друзей и единоверцев. И с каждым днем их становится больше. К ним и обращена ее поэзия, так что это в сущности поэзия будущей России, той самой, что возрождается сегодня «с мольбой, с любовью, с боем». И Наталья Горбаневская видит этот рассвет и идет ему навстречу:

«ни свечки, ни лучины,
и совы, сея страх,
и там, и тут взлетают...
Но на моих часах,
представь себе, светает».

В. Аллой

Наша анкета

Интервью с Галиной Вишневской



Вопрос. Как отражается ваше пребывание на Западе на вашей внутренней жизни? Проще говоря, как вы себя здесь чувствуете?

Ответ. Это была очень большая ломка жизни. Хотя мы уезжали на два года, я знала, что это будет гораздо дольше. Трудно было решиться оставить Большой театр в самом расцвете своих творческих сил, успеха и славы. Навсегда расстаться с рус-

ским оперным театром. Я русская актриса. В этом моя плоть и кровь. Но человек не смеет допустить тех глумлений, какие начались в отношении нас в Советском Союзе. И, конечно, сложность была также с детьми. Ведь у нас взрослые дети. Старшей дочери сейчас 20 лет, а младшей 18. Старшая дочь Оля как раз в то время кончала школу, почему я и выехала на два месяца позже, чем Ростропович. Я ждала, когда она сдаст экзамены. Оля поступила в Консерваторию по классу виолончели (она кончила Центральную музыкальную школу, Лена тоже там училась). Сейчас это уже всё утряслось; дети учатся в школе Джульярд в Нью-Йорке. Оля занимается у Шапира, а Лена — у

Ани Дорфман. Они очень довольны, живут недалеко от школы, у них замечательная квартира, и вообще они самостоятельные взрослые девочки.

Вопрос. В общем, вы можете сказать, что после пережитого в России в последнее время вы теперь вздохнули?

Ответ. Вздохнула, конечно. Но если говорить о том, как отразилась жизнь здесь на моем творчестве, могу сказать, что я никогда в жизни не работала столько, сколько работаю сейчас. Я пою в месяц 8-10 раз, это для певицы страшно много, потому что я выступаю или в сольных концертах или в оперных спектаклях и репертуар у меня всегда трудный. Так было и в Москве в Большом театре, я пела самый трудный драматический репертуар. Так же и здесь. В сентябре, например, я пела десять раз в «Макбете» Верди. Такой сложной в вокальном и сценическом отношении роли у меня еще не было. Хотя в моем репертуаре такие труднейшие для певицы оперы, как «Фиделио» Бетховена, «Катерина Измайлова» Шостаковича, другие оперы Верди, а также почти все оперы Пуччини и Прокофьева. И я рада, что смогла спеть новую роль, и спеть в течение месяца десять раз, что дало мне возможность лишний раз проверить свои творческие силы.

Вопрос. Если бы вы остались в Советском Союзе, как могла бы обернуться ваша дальнейшая судьба и ваша карьера?

Ответ. Вы ведь знаете, как в последние годы изменилось к нам отношение наших руководителей и Министерства культуры. Ну, например, как это выразилось в отношении меня: не печатали рецензии на мои концерты, а если печатали, как было в поездке в 1973 году с Ульяновским оркестром, когда мы дали больше 20 концертов, то писали о том, как был изумительно сыгран виолончельный концерт; как чудесно спето письмо Татьяны и все прочие комплименты.

Только фамилии моей и Ростроповича не было. Вы встречали что-нибудь подобное? Ведь это не укладывается ни в какие рамки человеческого понимания! Последние годы не было ни одной передачи со мной по телевидению. На радио очень редко давали записи и, конечно, по возможности, не выпускали за границу.

В 1973 году — последний наш сезон в России — я дала цикл из восьми концертов в Большом зале Московской консерватории. Мне хотелось сделать это как обзор моей творческой жизни. Я пела произведения советских композиторов и русских классиков, западную музыку, современную и классическую, много сочинений, написанных специально для меня. В общем, все, что я сделала важного за свою жизнь. Должна сказать, что ни один концерт не передавался по радио, и ни одного слова не было в газетах. Как будто концертов вообще не было. Хотя, в то же время, концерты других артистов транслируются и по радио, и по телевидению, освещаются широко в печати. А вокруг меня гробовое молчание. Этаким вид садизма! Это страшно для артиста. Важен не только полный зал, но и отклик критики. Ведь это не домашнее музицирование для друзей. Такое замалчивание не только оскорбительно, это просто моральное убийство, и это в продолжении нескольких лет!

Вопрос. Если бы вы остались в Советском Союзе, такое отношение могло бы только ухудшиться?

Ответ. Конечно. Я думаю, что меня просто убрали бы из театра в ближайшее время. К этому уже все шло.

Вопрос. Так же относились и к Ростроповичу?

Ответ. У Ростроповича было еще хуже. Я хотя бы работала в театре, я могла выходить и петь свои роли. С Ростроповичем же, как известно, были случаи, когда ему просто не давали играть с хорошими оркестрами, отменяли выступления, заклеивали афиши. В последние годы он играл, в основном, в провин-

ции. Ну и, конечно, не выпускали за границу. Почему то у нас всегда это самое большое наказание. Да всего и не перечтешь.

Вопрос. Если сравнить музыкальную жизнь в Советском Союзе и на Западе, в чем вы находите основную разницу?

Ответ. Прежде всего, здесь для людей нет барьеров между странами. Советский Союз, к сожалению, живет лишь внутренней жизнью. Мы варимся в собственном соку. Это мешает артисту развиваться, расти духовно. Границы должны быть открыты. Человек должен пользоваться миром. Для чего же мир и существует, как не для человека? Почему мы должны убивать в себе духовные запросы? Здесь не бывает так, чтобы артист всю жизнь работал в одном театре, чтобы он 25 лет ходил в одно и то же здание, видел одних и тех же актеров. Он сегодня поет в Париже, завтра в Лондоне, и для него не существует границ. Общение музыкантов друг с другом просто грандиозно, и оно необходимо. Я чувствую по себе, насколько расширяется кругозор, какие открываются бесконечные творческие возможности, о которых даже не подозревала прежде.

Вопрос. Как вы оцениваете отношение к вам западной публики?

Ответ. Мы же здесь не новички. Я стала ездить за границу с 1955 года. В первый раз я была в Америке в 1960 году. Я была первой советской певицей, выступавшей в оперных театрах Ковент-Гарден, Гранд-Опера, Ла Скала, Метрополитен Опера и в других. Публика здесь знает меня не только как оперную певицу, но и как исполнительницу камерной музыки, и прежде всего русской музыки. Я в концертах всегда стараюсь петь больше нашу русскую музыку. Здесь я многих слушателей познакомила с такими произведениями русской и советской музыки, которые были поч-

ти неизвестны здесь. Я буду и дальше это делать. Я считаю, что это совершенно необходимо.

Вопрос. Можете ли вы назвать русских композиторов или отдельные произведения, которые вы желали бы здесь популяризировать?

Ответ. Если говорить об оперной музыке, я считаю, что большое будущее есть у «Царской невесты» Римского-Корсакова. Это замечательная опера, она здесь совершенно неизвестна. Вот сейчас я, например, давала концерты в Париже с оркестром и пела арию Марфы из последнего действия. Для французов это было открытием. Они никогда не слышали этой оперы. А это красота дивная. И в смысле постановочном — такой русский спектакль. Я думаю, что ее здесь очень полюбят.

Вопрос. Недавно вы записали «Тоску». Теперь вы собираетесь записывать «Пиковую даму»?

Ответ. Да, пластинка с «Тоской» вышла, она уже продается во всех странах, а сейчас мы будем делать «Пиковую даму». Мы собираемся дать ее в концертном исполнении с передачей в эфир, но в то же время будем работать над пластинкой.

Вопрос. В какой фирме?

Ответ. «Дойче-граммофон».

Вопрос. Есть ли у вас в проекте какие-нибудь другие грамзаписи?

Ответ. Да, конечно. Я сделала уже пять пластинок. Вышел мой альбом из трех пластинок: Шостакович, Чайковский, Мусоргский. Одна пластинка — Глинка и Рахманинов. Я записала сейчас «Песни и пляски смерти» Мусоргского с оркестром, в оркестровке Шостаковича, и также арии из опер Римского-Корсакова «Садко» и «Царская невеста». В ближайшее время запишу романсы Бородина и Римского-Корсакова, Прокофьева и Стравинского.

Вопрос. Когда вы поете под управлением или под аккомпанемент Ростроповича, какую вы чувству-

ете особенную разницу между ним и другим дирижером или пианистом?

Ответ. Я могу точно сказать, что в оперных театрах дирижеров ранга Ростроповича найти трудно.

Вопрос. И в России, и в западных странах?

Ответ. В России сейчас очень серьезное положение с дирижерами. Хороших мало. В Большом театре большие затруднения в этом смысле. Так что ясно, какая разница может быть между замечательным дирижером — великим музыкантом, каким является Ростропович, и обычным, средним дирижером в оперном театре. Я, конечно, не беру исключительных случаев, когда в опере дирижирует, например, Кароян, Карл Бём или Бернстайн. Но это исключение, и в основном здесь большие дирижеры работают с симфоническими оркестрами, а не в оперных театрах.

Вопрос. А когда Ростропович аккомпанирует?

Ответ. Это человек настолько разносторонне одаренный, что всё, что бы он ни делал, великолепно. Для него совершенно естественен во всем высочайший класс искусства. Но сейчас я должна все-таки работать также и с другими пианистами. Я не могу быть связана только с ним. У него своя огромная работа, у меня своя. Здесь есть очень хорошая пианистка, которая уехала из Советского Союза и живет в Нью-Йорке — Нина Светланова. Я уже спела несколько концертов с ней в Америке. И следующее мое американское турне — февраль-март-апрель, шестнадцать сольных концертов — я буду петь с нею.

Вопрос. Что вы больше ощущаете и цените на Западе — свободу политическую или свободу артистическую, или это связано?

Ответ. Все вместе. Хотя здесь это может быть и отдельно, но у нас мы привыкли воспринимать всегда вместе. В нашей стране все поступки человека оцениваются с точки зрения политической, и можно попасть в такой переплет, что и костей не соберешь.

Мы не политики с Ростроповичем, а артисты, но нас каким-то образом превратили в нашей стране в политиков. Хотя я в этом ничего не понимаю.

Вопрос. Значит, преимущество жизни на Западе в том, что артист может быть артистом, абсолютно не вмешиваясь в политику?

Ответ. Абсолютно, если вас это не интересует.

Вопрос. Чего вы больше всего желаете вашим советским коллегам, которые остались там?

Ответ. Своим коллегам я желаю полной свободы, прежде всего в выборе репертуара. Делать только то, что ближе их сердцу. Особенно композиторам, художникам и писателям желаю обрести полную творческую свободу высказывания. Желаю творческих взлетов моим коллегам в Большом театре, моим ученикам. Есть много артистов, которым я в свое время творчески очень помогала. Есть друзья, есть артисты, которых я люблю и которые любили меня, но есть также артисты, которые сделали очень много зла.

Вопрос. Из зависти или по политическим мотивам?

Ответ. Из подлости просто. Когда что-либо делается из политических интересов, это можно понять и даже уважать в какой-то степени взгляды своего политического противника, почему бы и нет? Это их взгляды. Но когда это делается просто из подлости, то это омерзительно.

Тому, что мы оказались здесь сейчас, толчок дала группа артистов Большого театра, самых ведущих артистов. Мне просто противно, честно говоря, называть их фамилии. Но весь Большой театр знает, кто ходил в Центральный Комитет партии к Демичеву и требовал, чтобы Ростроповича убрали из оркестра Большого театра, так как он политический преступник. И они этого требовали от имени коллектива Большого театра.

Кто знает историю нашей страны, тому не надо

рассказывать, что нас ждало после этого. Если бы эта подлость совершилась в сталинские времена, от всей моей семьи не осталось бы даже пепла. Ну и, конечно, на другой же день нас выбросили из студии грамзаписи, где мы записывали «Тоску», запретили продолжать, и это была последняя капля, переполнившая чашу. Мы тут же подали заявление о выезде из страны на два года.

Советую моим друзьям в театре подальше держаться от этих молодчиков.

Вопрос. Вы встречались с кем-нибудь из этой группы на Западе?

Ответ. С одной из них, Образцовой, встретилась сейчас в октябре, в Америке. Она пришла ко мне в артистическую, когда я пела в «Евгении Онегине». И я ее при всех выгнала вон. Могу добавить, что с другими поступлю так же. Между прочим, Образцову в течение двух с лишним лет, когда она была студенткой консерватории, я учила пению, искусству сцены, делала с нею ее первые роли и за руку привела в Большой театр. Сколько я отдала ей любви и сердца!

Вопрос. Вы не находите, что в Америке русскую музыку больше ценят и лучше воспринимают, чем во Франции?

Ответ. Я не могу вам сказать, что ценят больше или меньше французы или американцы. Но дело в том, что в Америке невероятно интенсивная жизнь вообще. Не говоря уже о том, что это страна огромных материальных возможностей. И в этой стране столько изумительных симфонических оркестров! Бостонский симфонический, Филадельфия, Чикаго, Нью-Йорк, Кливленд, Лос-Анжелос, Сан-Франциско и еще масса других. И все это высочайшего класса симфонические оркестры. И все живут полной музыкальной жизнью. Поэтому вся страна наполнена музыкой. Например, у меня был случай в позапрошлом году, когда мы с Ростроповичем в Тангвуде около Бостона

на фестивале исполняли «Реквием» Верди. Хочу вам рассказать о масштабе фестиваля.

Фестиваль проводится каждое лето при участии Бостонского оркестра. Начал это в свое время его руководитель Сергей Кусевский (сейчас там главный дирижер С. Озава). Концертный зал открыт с боков, но с крышей. Партер — шесть тысяч мест. Огромная сцена, и это все с естественной акустикой, без микрофонов, и акустика замечательная. Кроме того, что я пела «Реквием» Верди, это масштабное произведение с хором, я там пела еще и сольный концерт, — без микрофона. И кроме тех шести тысяч, что сидят в зале, вокруг на лужайке помещается около двадцати тысяч. И эти двадцать тысяч сидят на траве и слушают музыку. И какая тишина! Одно это уже много говорит о невероятных музыкальных возможностях страны. И это не уникальный случай. Во многих городах Америки проводятся фестивали такого масштаба. Думаю, что нигде, кроме Америки, вы не соберете такого количества слушателей на серьезную музыку.

Вопрос. Даже в России нет такого спроса на музыку?

Ответ. В России я таких мест не знаю.

Вопрос. Потому что нет соответствующих мест и возможностей или потому, что не нашлось бы сразу столько слушателей?

Ответ. Я не могу назвать ни одного города в России, в котором можно было бы организовать фестиваль серьезной музыки и собрать двадцать тысяч человек, которые бы ежедневно приходили слушать Бетховена или Шостаковича. Думаю, что нет. Само это не делается. В Америке уже много лет симфонические оркестры — и какое количество оркестров! — ведут музыкальную пропаганду. И теперь они получили эту публику. Вероятно, раньше ее не было. Если бы в России были оркестры высокого класса в таком

количестве, конечно, они бы сделали свое дело тоже. Но это вопрос, вероятно, еще далекого будущего.

Я хочу вам рассказать о спектакле, который я недавно пела. Это было в октябре. Я пела «Евгения Онегина» в концертном исполнении с Бостонским симфоническим оркестром. Дирижер С. Озава. Это один из самых лучших оркестров мира. Спектакль исполнялся на русском языке американскими артистами, вернее, интернациональными артистами. Николай Гедда пел Ленского, Бенджамен Лаксон пел Онегина — замечательный баритон, ну, а о Гедде и говорить нечего. Он рожден Ленским. Это певец удивительно красивой души. И хор был также, кстати, из Тангвуда, и они пели на русском языке. Я решила, что это русский хор, настолько чисто и ясно они выговаривали слова. Правда, один из руководителей у них был русский — Руденко, он учил их произносить русские слова и делал это превосходно.

Мы дали в Бостоне два концерта и два концерта в Карнеги-холл в Нью-Йорке. Великолепно играл оркестр. С. Озава — прекрасный дирижер. Я вообще его очень люблю. И как он сделал «Онегина» — это было прекрасно и где-то по-новому для меня. Очень много дает музыкальное общение с таким замечательным дирижером.

С таким же удовольствием я сейчас спела и «Макбета» в Эдинбурге, в Англии. Этот спектакль специально делался для Эдинбургского фестиваля. И встреча с новыми коллегами (Норман Бейли, дирижер Александр Гибсон: я репетировала с ними целый месяц, потом месяц с ними пела) дала мне много новых ощущений. Или вот сейчас в Мюнхене я спела два спектакля «Тоски», с тенором Франко Бонисолли и баритоном Вискелем. Дирижер — Гавацени из Ла Скала. Это же так интересно — такие музыкальные общения! Здесь такие возможности открываются у артистов! Я бы, например, никогда не спела «Макбета», даже

если бы эта опера пошла в Большом театре. Мне бы казалось, что мне это трудно. А здесь, когда я спела десять спектаклей, я подумала — Боже мой, я бы сейчас еще двадцать спела.

Вопрос. По-видимому, вы находитесь здесь в благоприятной для творчества среде и это в вас вырабатывает большее чувство ответственности перед своим искусством.

Ответ. Не совсем в этом дело. Настоящий артист всегда чувствует ответственность, и чем дальше, тем больше. Легко приехать первый раз. Первый раз, когда артист приезжает, да еще если он хороший артист, то его называют и гением, и лучшим в мире и т. д. А вот когда приезжаешь во второй раз, от тебя все уже ждут большего. И артист острее чувствует свою ответственность перед публикой. Но вот еще в чем дело: здесь у музыканта вся жизнь концентрируется в искусстве, если он этого хочет. И больше не надо ничем заниматься и забивать голову всякой чепухой. Если ты хороший артист, имеешь успех — всё, больше ничего не нужно. У нас же очень много сил уходит на всякие сплетни, дразги, выяснение отношений.

Вопрос. Здесь это тоже есть, но здесь это не имеет такой политической подоплеки.

Ответ. Да, конечно. А там это все отражается на вашем самочувствии в труппе, где вы работаете. Если на вас насплетничали, кто-то написал донос, моментально это отражается на вашей работе в театре. Вы нервничаете, с голосом что-то происходит, петь не хочется. А здесь работать легко.

Вопрос. Могли бы что-нибудь сказать о русском церковном пении, имеете ли вы к нему какое-нибудь отношение?

Ответ. В следующем своем концерте в Нью-Йорке, который будет в марте, одно отделение я буду петь с пианисткой Светлановой романсы и арии Бородина и Римского-Корсакова, а второе отделение я хочу

спеть с хором. Это смешанный хор. Руководитель Седан. Хочу спеть несколько духовных вещей и русские песни. Это будет моя первая проба. Вообще, что можно сказать о церковном пении? Церковное пение издавна славилось в России, и люди обогащались духовно благодаря церковной музыке. Раньше, до революции, в любой деревенской церкви был хор. Дети уже с малолетства пели в хоре, приобщались к музыке и красоте, очищались душой. И многие артисты, великие русские певцы, именно в церковном хоре в детстве пели. Очень жаль, что сейчас церковное пение в России увядает. Потому что если профессионалы или молодежь поют в церкви, они потом имеют неприятности на работе. Ну, и поют в основном старушки и старички, которые получают свою пенсию, не работают нигде. Очень редко, но все же бывают концерты, когда наши замечательные хоры Свешникова и Юрлова поют духовную музыку. В России есть пластинки церковного пения, правда, их почти невозможно купить. Но здесь, на Западе, они продаются. Я покупаю здесь эти пластинки и посылаю своим друзьям, которые меня об этом просят.

Вопрос. Несколько слов о Шостаковиче. Какие у вас были с ним профессиональные отношения?

Ответ. Творчество Шостаковича было ключом ко всей моей артистической жизни. Я познакомилась с Дмитрием Дмитриевичем в 1955 году. Мы поженились с Ростроповичем, и он меня представил Дмитрию Дмитриевичу. Когда он стал ходить на мои концерты и слушал меня в театре — ой, как я волновалась! Все всегда волновались, когда Дмитрий Дмитриевич был в зале. Ростропович говорит, что это единственный человек, которого он боялся. У него буквально всегда тряслись руки, когда он играл перед ним...

Однажды был у меня концерт. Это был 1957 год. Я первый раз пела «Песни и пляски смерти» Мусорг-

ского, и Дмитрий Дмитриевич был на этом концерте. То, что я спела «Песни и пляски смерти» Мусоргского, для меня как для артистки было огромным творческим прыжком. Мне тогда открылось то, чего я прежде не знала в искусстве. А Дмитрий Дмитриевич после этого стал писать для меня сочинения. Во-первых, он оркестровал «Песни и пляски» для меня и посвятил мне эту работу, потом он написал и посвятил мне вокальный цикл на стихи Саши Черного. Следующий цикл на стихи А. Блока также написан для меня и посвящен мне.

В 1966 году я снялась в фильме-опере «Катерина Измайлова». 14-ю симфонию, посвященную Бенджамену Бриттену, Дмитрий Дмитриевич также писал для моего голоса. И я была ее первой исполнительницей. Кроме того, Дмитрий Дмитриевич был большим другом всей нашей семьи. Мы встречали Новый год всегда у него дома. Я счастлива, что двадцать лет моей жизни прошли рядом с великим гением и что мое искусство вдохновило его на создание бессмертных сочинений. Так что всем, что я сделала в искусстве, я обязана творчеству Шостаковича. Большую роль в формировании моего творческого облика сыграли Прокофьев и Бенджамен Бриттен. В 1958 году я спела в первый раз оперу Прокофьева «Война и мир», потом пела его камерные произведения, потом пела в операх «Семен Котко» и «Игрок». И в это же время — военный реквием Бриттена и его вокальный цикл на стихи Пушкина, посвященный мне.

Вопрос. А вот за последние годы, когда отношение к вам в России испортилось, как Шостакович продолжал относиться к вам?

Ответ. Ну, как он мог относиться, он же любил нас. Этот великий страдалец, пройдя сквозь все глумления над ним, лучше всех понимал и чувствовал наше положение. Он переживал, безумно страдал за нас, но что он мог сделать? — ничего. Когда мы уезжали,

мне нужно было пойти попрощаться с ним. Это был самый страшный день в моей жизни. Я сначала все откладывала и откладывала. Боялась. И накануне отъезда я только решилась пойти. Мы же были соседями по даче и по квартире. Его квартира была за нашей стеной. А на даче рядом были наши участки. Я выбрала время, когда он был один. Я пришла к нему и не могла долго сидеть у него, невозможно было. Это было так тяжело. Ну, я плакала, но когда я увидела, что он плачет, это было страшно. Он плакал, как ребенок. Он был болен уже.

Вопрос. Вы знали, что больше его не увидите?

Ответ. В общем, я знала. Думаю, что он тоже это чувствовал. Все близкие люди знали, что он болен. Это было самое сильное звено, которое страшно было порвать. Страшнее, чем расстаться с Большим театром.

Вопрос. Не собираетесь ли вы написать какие-нибудь мемуары, очерки своей жизни?

Ответ. Обязательно. Я должна теперь это сделать. Никогда раньше и мысли такой не приходило — до тех пор, пока к 200-летию Большого театра меня не выбросили из всех списков. Ведь можно подумать, что меня там и не было никогда. И не родилась и не умирала. Человек, если он умер, имеет хотя бы могилу. У меня нет ничего. Вычеркнута вся творческая жизнь. Ужасно. Поэтому я должна сейчас это сделать.

Вопрос. Вы уже начали собирать материалы?

Ответ. Да, кое-что делаю. Здесь у меня огромный материал за все годы. И то, что было раньше, я могу поднять. Вычеркнуть 20 лет творческой жизни в Большом театре! Ну как не стыдно! Ведь для меня специально ставились спектакли. Само же правительство наградило меня самыми высокими званиями, включая орден Ленина. Я не могу даже подобрать слово, чтобы оценить такой поступок: подлость, бандитизм? Да, нет. Нет. Дураки какие-то занимаются

такими делами. Какие-то зlostные дураки, но облеченные большой властью. Ведь это не только для меня. Для меня это, конечно, тяжело. Но как народ на это смотрит? Какое неуважение к своему собственному народу! Ведь звание-то у меня — народная артистка Советского Союза. А теперь — мол, сказано вам, что не было Вишневской в Большом театре, никогда не было.

Вопрос. Просто не упоминают никогда?

Ответ. Ни одного раза. Я только удивляюсь их оперативности. Книжки несколько лет уже готовились к печати. И перед самым юбилеем театра — как это они лихо успели выхватить все! Буквы нет обо мне! Ничего! Я спела тринадцать премьер в Большом театре. А всего около тридцати ролей. Последняя премьера была «Игрок» Прокофьева. Мы подали заявление о выезде буквально за неделю до премьеры. И по правилам меня должны были бы снять со спектакля, но здесь ничего нельзя было сделать, потому что я была единственной исполнительницей Полины. Нужно было бы снять премьеру, чего, вероятно, не хотели делать. Я спела премьеру, и ни одной рецензии на спектакль не вышло из-за меня. Опера Прокофьева, написанная в 1916 году, которая никогда не ставилась в России! Первое представление, да еще в Большом театре! Несколько месяцев рецензии лежали в редакциях, среди них и рецензия Шостаковича. И из-за того, что там была моя фамилия, нельзя было печатать никаких откликов на мировое музыкальное событие. Но это же Прокофьев, это же гордость страны! И только в новом сезоне, через полгода, когда ввели новую исполнительницу, напечатали рецензии, естественно, без моего имени. Вот и всё. Очень просто. Теперь я хочу это спеть здесь. Какая зlostная тупость!

Да я не впервые встала перед этой непробиваемой стеной. Когда Бриттен сочинял военный реквием, партию сопрано он писал для меня, и какая у него

была красивая, человеческая идея. Против войны объединились русские, англичане и немцы! (Исполнители: англичанин Питер Пирс, Фишер Дискау — немец, и я — русская). Так что вы думаете? Мне запретили петь этот концерт. Бриттен написал Фурцевой письмо, в котором он умолял разрешить мне выступить (что в моем лице он встретил талант и голос, которого ждал всю жизнь), и так далее. Ну и, конечно, не получил ответа. (Кстати, это письмо у меня. Его мне показали и отдали. Им оно было не нужно. Я его опубликую в своих мемуарах.) А я в это время пела в Лондоне «Аиду» и плакала по ночам. Мне велели уехать за неделю до премьеры военного реквиема. Только через год мне разрешили спеть его в Лондоне и сделать запись на пластинку. Почему через год? Да таких случаев много.

Борис Чайковский написал для меня и посвятил мне цикл на стихи И. Бродского. Но так как в то время Бродского объявили тунеядцем, то цикл изъяли из моей уже напечатанной концертной программы. Когда Бродский уехал за границу, об исполнении не могло быть и речи. И это тоже хочу спеть здесь.

Вопрос. Очень похоже на то, как было при Сталине, когда убивали членов партии, а через тридцать лет их реабилитировали.

Ответ. Я сама участвовала в юбилейных концертах, — то портрет Шаляпина висел через всю стену Большого театра, то Рахманинова. А ведь и этих русских гениев по приказу свыше в нашей стране предавали анафеме.

Вопрос. Шаляпин в России продолжает считаться авторитетом?

Ответ. Ну а как же. Это наша гордость. И реабилитирован стопроцентно. Но даже он не признавался нашими властями и старались не упоминать его имени, в народе это была уже легенда, которая не умирает.

Вопрос. Кстати, его могила тут недалеко.

Ответ. Да, не в России.

Вопрос. Какие перспективы на дальнейшую политическую эволюцию в России?

Ответ. Не знаю. По-моему, этого никто не знает. А кто может это знать? Да я и не политик.

Вопрос. Значит, вы настроены пессимистично?

Ответ. Нет, не хочу смотреть пессимистично. Но знаю, что так, как хотят люди, власть имущие в России, так быть не может. Должно меняться что-то. Или это будет связано со сменой руководителей, или само время сделает дело.

Вопрос. Вы надеетесь, что рано или поздно вы туда вернетесь?

Ответ. Нас заставили уехать, мы не добровольно уехали. Мы уехали с тем, чтобы вернуться. Мы русские люди, мы дети великого народа, и любовь наша к России беспредельна. Я родилась и выросла в Ленинграде, в этом самом прекрасном из всех городов мира. И хочу закончить нашу беседу стихотворением Бродского, которое было включено в вокальный цикл Б.Чайковского.

«Ни страны, ни погоста
Не хочу выбирать.
На Васильевский остров
Я вернусь умирать.
Твой фасад темно-синий
И во тьме я найду,
Среди выцветших линий
На асфальт упаду.
И душа, неустанно
Поспешая во тьму
Промелькнет над садами
В Петроградском дыму.
И апрельская морозь...
Под затылком снежок...»

Коротко о книгах

ХОРОШАЯ ПОВЕСТЬ: ОПЫТ ДВОЙНОЙ РЕЦЕНЗИИ

1

Важной теме посвящена повесть Е. Лобаса «Раз в жизни», опубликованная в журнале «Грани» (№№ 97-98): участием боевого звена нашей партии, работников районной печати, во всенародной борьбе за претворение в жизнь решений исторического пленума по дальнейшему развитию нечерноземья.

В центре повести — фигуры двух славных представителей неугомонного племени газетчиков, всегда готовых по велению партии и зову собственного сердца «трое суток шагать, трое суток не спать ради нескольких строчек в газете», — главного редактора пивеньской районной газеты «Заря коммунизма» Григория Буцала и начинающего свой путь в журналистике выпускника Киевского государственного университета Николая Демченко. Эти фигуры удачно окаймлены по бокам фигурами

страстно преданного делу партии секретаря райкома КПСС Героя Социалистического Труда Ворона, мудрого и вдумчивого государственного деятеля, руководителя области, секретаря обкома КПСС, с любовью называемого в народе Прокон Прокопычем, и рядом других фигур, в том числе и поэтически описанной фигурой Ларысы Васильевны, сумевшей благодаря глубокому пониманию задач, стоящих перед ней партией и непосредственно неугомонными работниками партийного аппарата, пройти путь от рядовой подавальщицы в пивеньском ресторане (б. чайная) до литературного сотрудника районной газеты.

Чувствуется, что автор знает жизнь села не понаслышке. Особенно это чувствуется в сцене удивления Николая возможностью покупки в сельском универсаме дефи-

цитных товаров и в ряде других сцен.

Однако порой автор идет на поводу у требования ложно понятой «занимательности», «литературности», «художественности» и т. п. Ничем иным, как неправильно понимаемым «реализмом», нельзя объяснить ту клеветническую картину действительности, которая нарисована Е. Лобасом в отношении характера отношений между районной газетой и партийным руководством. По Е. Лобасу получается, что работники районной печати якобы вынуждены безропотно выполнять все указания «сверху», не смея и помыслить о самостоятельной и критической позиции.

С омерзением читаешь сцены беспробудного пьянства работников районного руководства, которыми в угоду ложной «занимательности» наполнена повесть. Далеко же от правды жизни увело автора желание угодить вкусам наиболее отсталой массы читателей.

Явным непониманием сути научно-технической революции, осуществляемой в нашей стране, отдают приписываемые автором Буцалу рассуждения о якобы неэффективности сельскохозяйственного и промышленного

производства в СССР, неправильный анализ отдельных подвигов тружеников области в борьбе за достойную встречу (запахивание необработанных зерновых в снег, закупка продуктов в соседних областях для выполнения госпоставок и т. п.).

Автор искажает образ молодого газетчика Николая Демченко, приписывая ему нездоровое влечение к внебрачным половым связям. Подобным же образом он искажает образ газетчика средних лет Григория Буцала, товарища Ворона, Героя Социалистического Труда, крупного партийного и государственного деятеля Проккоп Проккопыча и ряда других товарищей. Особенно искажается от этого образ Ларысы Васильевны, поскольку упомянутые связи осуществляются с этой представительницей нашей славной молодежи.

В своем желании очернить нашу действительность Е. Лобас доходит до того, что изображает в рядах советской молодежи районного центра Пивни девушек, вынужденных (!) заниматься проституцией (!!) якобы в результате голодного (!!!) существования.

Вот до чего довело Е. Лобаса пение с чужого голо-

са в небезызвестном журнале «Грани».

2

Куда дальше развивать нечерноземье?

Дальше некуда. Всё, чему следует быть черным, забелено, равно как и белое привычно выдается и принимается за черное.

В этом смысле нарисованный Е. Лобасом по-гоголевски непролазный райцентр Пивни и его «прэса» — модель страны.

В основе этой талантливой повести лежит как бы крестовина из двух анекдотов. Анекдот первый: как верстальщик Сашка, желая подстроить каверзу ответсекретарю, нарочно переставил подписи под фотографиями героинь труда и сельских шлюшек. Анекдот второй: как ничтожество, пьянь, «недоделанный» выпускник партшколы, районный редактор Гришка Буцал сварганил из напиханных в его бедную голову стереотипов речугу для своего секретаря райкома, но услышал ее же в Кремле из уст генерального секретаря ЦК КПСС — отчего и тронулся в конце концов.

Гротеск? Еще одна вариация на тему щедринского города Глупова?

И так и не так. Конечно, гротеск, потому что изображает с художественной точностью гротескную и фантазмагорическую нашу действительность. Но не из тех легких, литературных по своему генезису гротесков-арабесок, которых столько развелось за последнее время в литературе «сам» и «там» (или для нас уже «тут») — «издата». Ни большого труда, ни, следовательно, большой художественной силы нет в умении применить свою начитанность в Гоголе, Щедрине или немецких романтиках к пересказу советских анекдотов. Литература, адекватная жизни, делается таинственнее и труднее, но зато у нее и куда больше качеств, чем у чисто литературного гротеска. Одно из главных качеств: неоднозначность образов.

На склоне дней Пастернак, обращаясь к молодому литератору, как самого большого греха просил избегать предвзятого деления людей «на коммунистов и беспартийных, верующих и неверующих, мужчин и женщин». При всей простоте этой заповеди, кажется, трудно

выразить лучше суть христианского и гуманистического подхода к литературе.

Повесть написана Лобасом со всем блеском уверенного реалистического и гротескного письма. (Как всегда в таких случаях, при чтении возникает масса ассоциаций из собственного опыта, так, мне вспоминался мой первый редактор: придет, бывало из горкома, где ему «хвоста накрутят», и произносит перед нами — мной, мальчишкой, только что из университета, забулдыгой Иван Михалычем и, как у Лобаса, старухой-машинисткой — речи о величии поставленных партией задач; а потом запрется с замом в

кабинете водку жрать; или — позднее — курское село Ивня, тоже райцентр, и угощение в комнате для начальства при местной чайной). Но сила Лобаса в том, что, не удовлетворяясь явными удачами своего гротескного письма, он ищет душу живую — в забулдыге Буцале, в знающей кому давать, кому не давать Ларыске, даже в тщеславном и склонном к подлости молодом конформисте Николае.

Если правдивое изображение жизни еще остается задачей литературы, то повесть Е. Лобаса «Раз в жизни», напечатанная в «Гранях», — хорошее литературное произведение.

Л. Лифшиц

ОЛЬГА АНСТЕЙ

«НА ЮРУ»

Питтсбург, США 1976

Камерность, негромкость, обращение к одному читателю, — вернее, к каждому читателю отдельно — это свойство некоторых поэтов. Едва ли правомерно было бы утверждать, что ценней — эта камерность или противоположная ей поэзия одическая, обращенная к залу, к площади даже... Да и множество

есть промежуточных жанров в той многоцветной мозаике, которую составляет множество современных русских лириков.

Книга Ольги Анстей — типичный пример лирики камерной, дневниковой. Достоверность чувства, хотя и не всегда непосредственность его — уже достаточно гово-

Но своеобразие вносится в стихи Анстей тем, что традиция русского символизма неожиданно переплетается с заметным влиянием украинской классики, едва заметно, незримо, но слышимо звучит в стихах Анстей инто-

Вот это неожиданное сочетание и делает лирику Анстей непохожей на поэзию какого-либо определенного направления. Это стихи, которые не хотят звучать вслух. Это лирика для взгляда. И несмотря на то, что расположены стихи в книге явно по обратной хронологии, дневниковая их последовательность прослеживается очень определенно.

«Ладья», Нью-Йорк.

Так, например, генетический код с его сочетаниями трех групп из четырех возможных и структура морфологических изменений в семи-

Сходны алгоритмы и столь разных физических законов, как второе начало термо-

Поэтому представляется вовсе неслучайным упорное стремление обнаружить то общее, что есть у поэзии с шахматами. В этом смысле антология русской шахматной поэзии — верней, поэзии на шахматные темы, составленной и изданной Эммануилом Штейном — интересна прежде всего тем, что представляет собой не только сборник, объединенный одной тематикой, но и попытку проникнуть в те стороны законов гармонии, которые, например, общи для структуры сонета и динамической структуры шахматной партии, где тезис-дебют сменяется антитезисом-миттельшпилем и разрешается эндшпилем, уклоняющимся на

Э. Штейн впервые попытался, пусть даже весьма вкратце, намекнуть на единство алгоритмов стиха и шахматной игры и прекрасно проиллюстрировал нам его стихами русских поэтов, начиная с конца XVIII века и до наших дней — то есть всеми двумя с половиной веками русской поэзии.

Смотри, чтоб с умыслом
— и даже не нарочно
На клеточку чужую
не ступить —

А в 1972 году пишет Иван Елагин:

**И можно назад отступить
 королям,
Но пешки идти могут
 только вперед!**

А между этими стихами — полтора века поэзии: Пушкин, Пастернак, Хлебников... И у каждого — шахматные образы несут то философскую мысль, то сравнение своей судьбы с судьбой какой-либо фигуры или жизни — с игрой...

Антология составлена не в хронологическом порядке, а как бы по нарастанию многозначности шахматных символов в стихах. Если в начале ее помещена весьма популярная в двадцатых годах песня В. Агатова «Король французский на паркете играет в шахматы с шутком» (здесь шахматный образ не более чем простая аллегория), то последнее стихотворение, принадлежащее рус-

ской поэтессе Эмили Чегринцевой (Таллин, 1936), в шахматных образах представляет целую человеческую жизнь, с любовью и бытом, трагизмом мировосприятия и надеждой...

Белый квадрат, черный квадрат,
Гулкая тьма и свет...
Нежность молчит, души молчат,
Копья несут ответ...

Эта антология приоткрывает краешек занавеса над загадкой — почему шахматы вечны, и показывает, каким множеством нитей связаны они с жизнью человеческой и с поэзией как с одной из вершин духовного творчества.

А. ФЕДОСЕЕВ

ЗАПАДНЯ

(Человек и социализм)

Посев, 1976

Книга Анатолия Павловича Федосеева — одного из крупнейших русских электроников — вызовет, вероятно, немалую полемику. Прежде всего, ее попытаются оспаривать сторонники так называемого «третьего пути», то есть те, кто или по непониманию современ-

ной обстановки в мире, или еще почему-либо верят, что возможны эдакие социальные кентавры — сочетание саморегулирующегося механизма современного постиндустриального общества с некими «ростками социализма». Между тем книга Федосеева, вся ее блестящая

логика полностью подтверждает правоту всех, кто утверждал в разные времена, что «болото» нежизнеспособно. «Или свобода, или социализм» — таков лозунг, в частности, Христианско-демократического союза (ФРГ). С другой стороны — Социалистическая партия Франции продолжает сочетать понятие социализма с понятием свободы. Несовместимость этих двух понятий, их противоположность, их взаимоисключающие тенденции в плане философском показал еще Н. Бердяев.

А. Федосеев показывает то же на материале экономики.

Железная логика книги ведет мысль читателя по линии простых и очевидных доказательств. Стержень этой логики вкратце сводится к следующему положению: кентавр, то есть «социализм с человеческим лицом», вообще невозможен, ибо это неустойчивое состояние, которое ведет, как гребень двускатной крыши, на ту или на другую сторону. В этом смысле рассмотрим конспективно главу, названную «Возьмитесь управлять социалистическим государством».

«Имеется, — говорит автор, — два обязательных условия:

1. Не отказываться от государственной собственности на средства производства, поскольку это было бы эквивалентно отказу от социализма.

2. Не допускать безработицы и банкротства предприятий и уметь добиваться положительного развития государственного хозяйства».

Далее автор показывает, что первая ваша необходимость — информация. Недостаточность конкретных данных — хотя бы статистики — не даст вам возможности принимать какие бы то ни было решения. Но страна не может ждать, пока вы соберете все данные — ведь это не капитализм, где промышленность будет функционировать на основе рыночного механизма. Раз все принадлежит государству, без вашего решения вообще невозможна деятельность подчиненного вам хозяйства. Иначе наступит хаос. Чтобы улучшить свои решения в дальнейшем, вы вынуждены ввести жесткое планирование. Сначала — статистическое управление, собирающее нужные и — на всякий случай — ненужные данные, а затем и Госплан, в который вы можете пригласить самых знающих лю-

дей. «Вы поставите перед ними стратегические задачи и потребуете от них обоснованных решений». Это и есть планирование. Но при этом вам необходим и контроль. Контроль всеобщий, тотальный — иначе без «обратной связи» ваша система не сможет корректировать свою работу.

Но взаимосвязанность и взаимозависимость множества учтенных и неучтенных факторов невозможно предвидеть. Планируя одно, нельзя не задеть другого. Поэтому вам необходимо ликвидировать всё, что вносит неопределенность — то есть любые не зависящие от вашей воли и плана мелкие предприятия, вплоть до отдельного мелкого огорода. (Вам приходится жертвовать оптимальностью, ибо количество элементов кибернетической системы увеличивает фактор неопределенности не пропорционально, а экспоненциально).

Поскольку вы можете иметь все данные о состоянии хозяйства на данный момент, вы можете управлять, но пока управляющие сигналы приведут в действие последние точки периферии, положение уже не будет соответствовать известному вам. Изменения опережают

обратную связь! Если вам известно все на какой-то момент, вы можете спланировать будущее, но пока вы планируете — план уже устаревает. Федосеев сравнивает это явление с таким гипотетическим случаем: допустим, вам известны все массы, скорости и направления частиц в одном кубическом сантиметре газа. Вы можете предсказать даже, как и куда в результате броуновского движения (хаотического!) двинется любая молекула. Вы можете предсказать и ваше воздействие на все эти частицы и т. д. Но ведь одна только масса молекул в этом объеме равна $2,5 \times 10^{19} = !$ А все прочие цифры? Хотя бы число столкновений частиц в 1 сек? Оно равно приблизительно 10^5 . А еще цифры скоростей, направлений, масс — ибо массы всех молекул различны...

Таким образом, для принятия решения обоснованного и верного вы должны принимать в секунду около миллиона решений, каждое из которых включает в себя набор из 10^{26} элементов!

Данные для планирования никак не меньше, ибо они в конечном счете включают в себя и этот злосчастный кубический сантиметр газа!

Затем вы отметите следую-

щие тенденции — стремление ко все более полному и жесткому планированию всех элементов системы, неспособность справиться с динамикой данных, и отсюда — вы начинаете полагаться на интуицию, идете к «волюнтаристическим» решениям вместо научных. Так научное планирование само заменится вашим капризом. Как результат — ваша неуверенность в добросовестности выполнения ваших приказов и планов — тем более, что они — вы-то знаете! — уже во многом случайны. Вы будете подозревать исполнителей, а они — не верить в вашу компетентность. Отсюда — насилие, «воспитание масс», идеологическое накачивание, а чтоб этому никто не мешал — изоляция людей от свободной информации и подавление всех «непланируемых» явлений прежде всего в области мысли.

Итак — будьте вы хоть ангелом, но при заданных условиях вы или уйдете, или вас «уйдут», или вы превратитесь в Сталина. Это даже если допустить, что при полной бесконтрольности, при отсутствии всякой гласности, которую вы вынуждены были задавить ради четкой работы вашей

системы, вы остаетесь «порядочным человеком»! А если вы таковым не были? Что тогда?

Ну, тут ясно: если вы заботитесь лишь о прочности своего положения, о власти во имя власти, то такая система для вас окажется идеальной. И все ваши Госпланы уже окажутся чем-то работающим на пропаганду более, чем на хозяйство. И аппарат управления, всегда говорящий «да», и противостественный отбор людей не по способностям, а по одной лишь способности — умению приспособиться и протолкаться вверх — все это естественно вытекает из одного лишь фактора — национализации хозяйства.

Затем неизбежно подавление любой полезной инициативы — поскольку она угрожает изменить что-то в одном лишь из элементов системы и внести хаос (а в человеческих отношениях — лишние хлопоты). Отсюда — наказуемость инициативы и опять же отбор людей наименее творческих, наименее инициативных. «Ведь власть состоит в том, что люди действуют так, как хочет управитель, а не так, как они сами хотят». Инициатива — угроза для власти. Чем власть полнее, тем боль-

шая угроза. Значит — даже бесполезная инициатива вам мешает, а полезная в сто раз более грозит абсолютности власти.

Итак, мы пришли к системе, которая существует по принципу диода: есть сигнал или нет сигнала, то есть «все — или ничего». Поэтому-то социализм обречен или быстро потерять остатки человеческого лица, или перестать быть социализмом. А коготок, который вылезет в начале, — всего лишь национализация!

Говорят, что социализмов тысячи, кто как себе представляет, что якобы этот термин — не термин, ибо в него вкладывается разное...

А Федосеев еще раз и определенно доказал: социализм — это национализация. А начавшись с нее... (см. начало этой рецензии, или лучше саму рецензируемую книгу!)

Вся первая половина книги — собственно, автобиография. И вот на ее материале, на жизненном опыте автора мы ясно видим, как шаг за шагом сталкиваясь с советской социалистической действительностью, Федосеев приходит к тем неизбежным выводам, которые изложены в этой книге.

Он предостерегает и еще

от одного — от неминуемого выпадения социалистической страны из системы сообщающихся сосудов остального мира — социализм может существовать только как замкнутая система. Замкнутая во всех смыслах — в экономическом, информационном и т. д. Стало быть, надежды на «детант» или «конвергенцию» — столь же нелепая утопия, как сочетание терминов «социализм» и «свобода». Это тупик, западня, в которую легко попасть, но трудно выйти — одно тянет за собой другое, и только разрушение системы, только ее коренная перестройка, то есть отказ от социализма вообще может дать положительный результат. Иначе — один из двух видов социализма, коммунистический или фашистский, которые одинаково приводят к тезису «государство — всё, человек — ничто». Неслучайно фашизм так же именовал себя социализмом, и был им в той же степени, но он был непрочен в силу неполной национализации. Этой своей неполнотой, этим «несовершенством» в главном из своих признаков фашизм оказывается близнецом «социализма с человеческим лицом».

Ну, а уж последовательный советский социализм...

Ясна и опасность иного, более «мягкого» пути — когда профсоюзы прибирают к рукам промышленность и вместо силы, противостоящей хозяевам, сами становятся хозяевами (как в Израиле) или политической партией (от чего недалеко Англия с ее лейборизмом). Таким образом, медленное превращение профсоюзов в монополии — путь к тому же социализму со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но, как показывает история, этот путь, к

счастью, порой срывается — слишком уж он длинен, и потому не успевает надеть роковых ошибок (Швеция).

Но так или иначе — при всех недостатках современного капитализма (или, верней, постиндустриального общества), он пока что единственная альтернатива любому социализму, любой национализации, которая, как показано в книге А. Федосеева, роковым, логическим и неизбежным образом приводит к уничтожению всякого подобия свободы и человечности.

«ИНДЕКС»

Журнал по вопросам цензуры

№ 1 — 1977

Наталья Горбаневская:	Двенадцать стихотворений (из Трех Тетрадей)
Наталья Горбаневская:	Интервью о самиздате
Иржи Отава:	Свобода религии в Чехословакии
Ричард Оуэн:	Демонстрации в России: 1876-1976
Давид Эстор:	Как британская пресса сама себя цензурирует
В. Беньковский:	Польша: против репрессий

№ 2 — 1977

Рейнер Кунце:	Два рассказа
В. Трехарн-Джоунс:	Вольф Бирман и другие в ГДР
Пабло Пьячентини:	Аргентина: обзор репрессий
Джеффри Хоскинг:	Костя Богатырев и физическое запугивание инакомыслящих
Джон Лоуренс:	Южная Африка: цензура цветного общественного мнения
Александр Смоляр:	Протесты в Польше

В Лондоне в Институте Современных Искусств с 18-го января по 27 февраля 1977 состоялась выставка 150 работ 45 художников, организованная Writers & Scholars Educational Trust. В связи с выставкой опубликована книга с предисловием, написанным английским искусствоведом сэром Роландом Пэнрозом. Книга содержит репродукции работ большинства наиболее известных художников. В ней Игорь Голомшток рассматривает развитие этого искусства, начиная с 20-х годов; Александр Глезер описывает жизнь неофициальных художников, ныне работающих в СССР. Книга также включает библиографию, вместе с краткими биографиями художников.

25 цветных гравюр

152 черно-белых иллюстрации

Издана в Великобритании издательством Экер энд Уорбург, в США издательством Рэндом Хаус. Русское издание готовится издательством Полония Бук Фанд, Лондон.

Адрес редакции: 21 Russell Street, Covent Garden, London WC2B 5HP
годовая подписка: 6.00 ф.ст. (14 долл. США) за 6 номеров
заказы на подписку направлять: Oxford University Press (Journals),
Press Road, London NW10 0DD

В США и Канаде журнал распространяется по книжным магазинам издательством Рэндом Хаус Инк., Нью-Йорк.

СОДЕРЖАНИЕ

Бахыт Кенжеев — Стихи	5
Гелий Снегирев — Мама моя, мама...	11
Кристофер Барнс — Памяти Константина Богатырева	55
Константин Богатырев — Переводы из Райнера-Марии Рильке	59
Казимеж Орлось — Дивная малина	65

РУССКАЯ ЗАРУБЕЖНАЯ ПОЭЗИЯ

Странник — Рождение элегии	115
Игорь Чиннов — Гротески	117
Иван Елагин — Из переводов: Стивен Винсент Бене. «Тело Джона Брауна» (Отрывок)	120

КРУГ РАССКАЗЧИКОВ

Сергей Довлатов — По прямой	129
Феликс Кандель (Камов) — Старик Семеныч	141
Душан Шимко — Три рассказа	150

СТИХИ

Иосиф Бродский — Литовский дивертисмент	160
Алексей Хвостенко — Из «венка сонетов»	164
Виолетта Иверни — Рейнское вино	166

РОССИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ

Сергей Рафальский — Болезнь века	171
----------------------------------	-----

ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ

Игорь Качуровский — К сотой годовщине Эмского указа	195
Аушра-Мария Юрашас — Могу лишь свидетель- ствовать боль...	214

ЗАПАД — ВОСТОК

Николас Б е т е л л — Катень 1940	222
Герберт К р е м п — Природа современного террора	237

ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

Гюзель А м а л ь р и к — Свидание в лагере	269
Алексей Л о с е в — Фамилии	278

ЗВУКОВЫЕ БАРЬЕРЫ РАДИОВЕЩАНИЯ

Владимир Б у к о в с к и й — Открытое письмо директору радиостанции «Свобода» г-ну Фрэнсису Рональдсу	287
---	-----

ИСКУССТВО

Татьяна Ш м и д т — Окно на Восток	301
------------------------------------	-----

ИСТОКИ

Петр С е м е р д ж и е в — Происхождение мифа (Из книги о Георгии Димитрове)	311
---	-----

КОЛОНКА РЕДАКТОРА	349
-------------------	-----

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Т. Л и т в и н о в а — Нечаянный шедевр	353
В. В е й д л е — Георгий Иванов	359
З. З и н и к — Право скитаться	370
Н. Г о р б а н е в с к а я — Блеск и нищета советского интеллигента	375
Ф. С а л к а з а н о в а — Тараканья империя	381
В. А л л о й — Путем добра	386

НАША АНКЕТА

Интервью с Галиной Вишневской	393
-------------------------------	-----

КОРОТКО О КНИГАХ	410
------------------	-----

Специальное приложение

**Русские политзаключенные
Владимирской тюрьмы
о проведении национальных референдумов**

Быть может, нижеприведенный документ вызовет недоумение как своим сугубо юридическим языком, так и подчеркиванием инициативы русских политзаключенных в его написании. Что касается последнего, то это вовсе не означает стремления русских вновь играть роль «старшего брата» или пытаться навязать свое решение национального вопроса. Скорее наоборот — это результат некоторого комплекса вины, возникшего у нас во время наших лагерных и тюремных встреч. Нам всё время казалось — оправданно или неоправданно, — что мы слишком мало делаем для национальных движений и для объяснения нашей позиции. Кроме того, самим представителям национальных движений значительно труднее обсуждать эти вопросы открыто ввиду шаблонного обвинения в буржуазном национализме и последующих жестоких репрессий за этот национализм.

Форма изложения зависела отчасти от тюремных условий и выбранного адресата, отчасти же — от особенностей нашего движения с его подчеркнутой гражданско-правовой позицией. Текст заявления в основном разрабатывался Егором Давыдовым и мною, хотя первоначальное предложение отметить таким образом годовщину Хельсинкского соглашения исходило от Владимира Балахонова.

Ввиду трудности внутритюремной коммуникации фактически было написано два варианта, которые мы не успели обсудить между собой. Первый, созданный в основном Балахоновым и обсуждавшийся им с украинскими политзаключенными Александром

Сергиенко, Анатолием Здоровым и другими, носил менее юридический и менее конкретный характер. Например, предложенная во втором пункте нашего варианта процедура обсуждения внутреннего и внешнего политического статуса каждого народа — в первом варианте именовалась «периодом национального возрождения», предшествующим референдуму, без расшифровки этого понятия. Первый вариант предусматривал также возможность проведения повторных референдумов вплоть до достижения результата, отражающего интересы народа. Мы ввели этот пункт, попытавшись его юридически оформить и конкретизировать. К сожалению, это всё, что мне известно о первом варианте, так как я его не видел, а сама идея обсуждалась Балахоновым и Давыдовым в карцере через стенку, что, согласитесь, не самое удобное место для подробной дискуссии.

Однако сама идея требования референдума как возможной целевой установки национальных движений пришла к нам именно от самих национальных движений и, в первую очередь, от группы армянских политзаключенных, для которых это требование являлось программным еще до ареста. Оба варианта заявления отправлялись в двадцатых числах июля 1976 года из различных камер, и не только русскими политзаключенными. Отправлял каждый, кто считал такое заявление нужным и своевременным. Однако у тех, кто не отправил этого заявления, — насколько мне известно, никаких принципиальных возражений против него не было. Конкретно вспомнить имена тех, кто отправлял заявление, я не могу, да и не всегда знал это — во всяком случае это было большинство владимирских политзаключенных.

Все до одного заявления, в том числе, разумеется, и мое, были конфискованы «за недопустимый тон». Оказавшись на Западе и восстановив текст заявления по памяти и по сохранившимся записям, я

направил его в тот же адрес, в который оно не дошло. Но я думаю, что здесь мы можем сделать больше. Я хотел бы, чтобы его обсудили представители национальных движений в эмиграции и чтобы окончательный, сообща выработанный проект был направлен на Белградскую встречу 1977 года.

**ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР Н. В. ПОДГОРНОМУ
В ГОДОВЩИНУ ПОДПИСАНИЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО
АКТА СОВЕЩАНИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВУ**

1 августа 1976 г. исполняется год с момента подписания тридцатью пятью странами Заключительного акта Совещания по Европейской безопасности и сотрудничеству в Хельсинки. Принимая во внимание твердо выраженное советской стороной намерение неукоснительно выполнять это соглашение в полном объеме, русские политзаключенные Владимирской тюрьмы обращают Ваше внимание на нижеследующее.

Пункт VIII Заключительного акта гласит: «Исходя из принципа равноправия и права народов распоряжаться своей судьбой, все народы всегда имеют право в условиях полной свободы определять, когда и как они желают, свой внутренний и внешний политический статус без вмешательства извне и осуществлять по своему усмотрению свое политическое, экономическое, социальное и культурное развитие».

Как известно, народы, населяющие СССР, определяли свой внутренний и внешний политический статус в условиях гражданской, а затем второй мировой войны, которые даже при большом желании не назовешь условиями полной свободы. По тем или иным причинам, естественным для военного времени, большое количество людей в тот момент вообще было лишено возможности участвовать в решении судьбы

своих народов. Вопрос решался силой оружия, а не путем свободного волеизъявления.

В последующий период также не было предпринято ничего, что способствовало бы проявлению воли народов. На территории СССР никогда не проводилось, например, всенародного опроса (референдума), а вопрос о статусе народов, населяющих СССР, обычно решался административно. Так, Закон о гражданстве СССР от 19 августа 1938 г. автоматически объявляет гражданами СССР всех, состоявших к 7 ноября 1917 г. подданными бывшей Российской империи.

Лица, проживавшие на территории Литвы, Латвии и Эстонии, оказались гражданами СССР с момента издания Указов о принятии этих республик в состав СССР в августе-сентябре 1940 г. Самых граждан никто и никогда не спрашивал об их согласии на изменение гражданства. То же самое относится и к Бессарабии (Указ от 8 марта 1941). Согласитесь, что эту процедуру трудно назвать условиями полной свободы.

Как широко стало известно после XX съезда КПСС, период, именуемый теперь периодом «культы личности», характеризовался такими способами решения национальной проблемы, как депортация целых народов и широкие репрессии, что, очевидно, не способствовало свободному волеизъявлению или национальному самоопределению. И если иные методы, применявшиеся в этот период, впоследствии подверглись коррекции, то суть проблемы не изменилась.

До сих пор среди наших товарищей по заключению имеются представители различных народов, вся вина которых заключалась в том, что они позволили себе обсуждать свое право, предусмотренное ст. 17 Конституции СССР*. Часть из них осуждена вследствие этого по ст. 64 УК РСФСР (и аналогичным статьям УК союзных республик) как за преступление

* Право выхода союзной республики из состава СССР. — В. Б.

против территориальной целостности СССР. Приговоры по делам этих лиц до сих пор не опротестованы и не отменены, что, безусловно, оказывает известное влияние на всех граждан СССР (различных союзных республик), желавших бы обсудить означенное выше право. Получившая в последнее время широкое распространение практика осуждения таких лиц по ст. 70 УК РСФСР (и аналогичным статьям УК союзных республик) также не способствует свободному обсуждению внутреннего и внешнего политического статуса различными народами, населяющими СССР.

Таким образом, в СССР никогда не существовало условий «полной свободы», позволявших бы народам СССР определить свой внешний и внутренний политический статус, как это предусмотрено п. VIII Заключительного акта.

Исходя из вышеизложенного, политзаключенные Владимирской тюрьмы, русские по национальности, обращаются к вам со следующим предложением.

I. Для максимально точного исполнения п. VIII Заключительного акта и создания условий, определенных этим пунктом как необходимых, предлагаем вам способствовать образованию специальной комиссии из представителей 35 стран, единственно полномочной определять по принципу консенсуса соответствие реальной ситуации положениям Акта и контролировать выполнение в СССР этого пункта Заключительного акта.

II. Под наблюдением этой комиссии обеспечить на территории союзных республик соблюдение условий «полной свободы» (как они понимаются 35 странами, подписавшими Акт), в которых народы, населяющие эти республики, могли бы свободно обсуждать прошлый, настоящий и будущий статус своих народов. Как минимум это должно означать соблюдение на территориях союзных республик положений Всеобщей Декларации Прав Человека, однако доста-

точность соответствия созданных условий положениям Акта может быть определена только вышеозначенной специальной комиссией. Продолжительность периода широкого и свободного обсуждения этими народами внутреннего и внешнего политического статуса определяется также означенной выше комиссией 35 стран.

III. Предоставить возможность всем лицам, рассматривающим какую-либо конкретную союзную республику как свою фактическую, историческую или духовную родину, свободно въехать на территорию этой республики и принять участие в обсуждении ее политического статуса на равных правах с гражданами этой республики.

IV. По согласию с названной в п. I международной комиссией и в соответствии со ст. 49 п. д Конституции СССР провести всенародный опрос (референдум) на территориях союзных республик, входящих в состав СССР. Контроль за условиями проведения такого опроса (референдума), как и определение его результатов, также должны определяться означенной специальной международной комиссией.

V. В случае, если специальная международная комиссия придет к выводу о нарушении чьих-либо прав в процессе обсуждения или процессе проведения референдума, или придет к выводу о недостаточности созданных условий для свободного волеизъявления, процедура обсуждения и проведения опроса должны быть повторены вновь.

VI. Если указанная международная комиссия сочтет требование п. VIII Заключительного акта полностью выполненным, результаты опроса (референдума) должны быть немедленно и без искажений оформлены соответствующим Указом как Закон СССР и приведены в исполнение.

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ХАРТИИ—77

13 октября 1976 в Своде законов ЧССР (№ 120) были опубликованы Международный пакт о гражданских и политических правах и Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, которые подписаны именем нашей республики в 1968 году, подтверждены в Хельсинках в 1975 и вступили у нас в силу 23 марта 1976. С этого момента наши граждане имеют право, а наше государство — обязанность ими руководствоваться.

Свободы и права людей, гарантированные этими пактами, являются важными ценностями цивилизации, к достижению которых стремились многие прогрессивные силы истории и юридическое оформление которых может серьезно помочь гуманистическому развитию нашего общества.

Поэтому мы приветствуем факт присоединения Чехословацкой социалистической республики к этим пактам.

Однако их опубликование с новой силой напоминает нам, сколько основных гражданских прав действует у нас в стране, к сожалению, только на бумаге.

Совершенно иллюзорно, например, право на свободу высказывания, гарантированное 19-й статьей первого пакта. Десяткам тысяч граждан не дают работать по своей специальности только потому, что их взгляды отличаются от официальных. При этом они часто становятся объектом самой различной дискриминации и преследований со стороны государственных и общественных организаций и не имеют никакой возможности защищаться, становясь практически жертвами апартеида.

Сотням тысяч граждан отказывают в «свободе от страха» (преамбула первого пакта), вынуждая их жить в постоянной опасности потери работы и всяких иных

жизненных возможностей, если только они выразят свои взгляды.

В противоречии со ст. 13 второго пакта, гарантирующей всем право на образование, множеству молодых людей не дают учиться только из-за взглядов — их собственных или даже их родителей. Неисчислимо количество граждан живет в страхе, что, высказавшись они в соответствии со своими убеждениями, они или их дети будут лишены права на образование.

Осуществление права «отыскивать, получать и распространять информацию и идеи любого рода, вне зависимости от государственных границ, устно, письменно или печатно» (§ 2 ст. 13 первого пакта) преследуется не только внесудебным, но и судебным путем, часто под прикрытием уголовного обвинения (как об этом свидетельствуют, в частности, процессы над молодыми музыкантами).

Свобода общественного высказывания подавлена централизованно управляемыми средствами массовой информации, издательскими и культурными учреждениями. Ни одно политическое, философское или научное мнение, ни одно художественное произведение, хоть чуть выходящее за рамки официальной идеологии или эстетики, не может быть опубликовано; исключена возможность публичной защиты от лживых и оскорбительных нападок официальной пропаганды (законная защита от «покушений на честь и достоинство», прямо гарантированная ст. 17 первого пакта, практически не существует); клеветнические обвинения нельзя опровергнуть, и напрасна всякая попытка добиться исправления или опровержения с помощью суда; в области духовного и культурного творчества исключена открытая дискуссия. Многие работники науки и культуры и другие граждане дискриминируются только за то, что когда-то публиковали или открыто высказывали взгляды, которые осуждает нынешняя политическая власть.

Свобода вероисповедания, четко гарантируемая ст. 18 первого пакта, систематически ограничивается произволом властей: над деятельностью духовных лиц всё время нависает угроза потери государственно-го разрешения на выполнение их функций или отказа дать такое разрешение; лица, не скрывающие своих религиозных убеждений, преследуются в бытовой и иных сферах; запрещено религиозное обучение.

Инструментом ограничения, а нередко и полного подавления ряда гражданских прав является система фактического подчинения всех учреждений и организаций страны политическим директивам аппарата правящей партии и решениям власть имущих. Конституция и другие законы и правовые нормы ЧССР не предусматривают ни формы и содержания, ни создания и применения таких решений, часто они существуют только в устной форме, остаются неизвестными гражданам и не контролируются ими; те, кто выносит эти решения, не отвечают ни перед кем, кроме самих себя и своего собственного начальства, однако при этом они оказывают решающее влияние на действия законодательных и исполнительных органов государственного управления, юстиции, профсоюзных и всех прочих общественных организаций, других политических партий, фабрик, заводов, институтов, учреждений, школ и т. д., причем эти указания стоят выше закона. Если организации или граждане при осуществлении своих прав и обязанностей окажутся в противоречии с директивой, они не могут обратиться к беспристрастной инстанции, за отсутствием таковой. Всем этим серьезно ограничены права, вытекающие из ст. 21 и 22 первого пакта (право на ассоциацию и запрет каких-либо ограничений на ассоциации) и ст. 25 (равные права участия в общественной жизни) и 26 (запрет дискриминации перед лицом закона) того же пакта. Такое положение не позволяет и рабочим и другим трудящимся основывать без всяких ограничений

профсоюзные и другие организации для защиты своих экономических и социальных интересов и свободно пользоваться правом на забастовку (§ 1 ст. 8 второго пакта).

Другие гражданские права, включая ясный запрет «произвольно вмешиваться в частную жизнь, семью, дом или переписку» (ст. 17 первого пакта), серьезно нарушаются еще и тем, что Министерство внутренних дел разнообразнейшими способами контролирует жизнь граждан, подслушивая квартирные телефоны, контролируя почту, устраивая слежку и обыски, формируя среди граждан сеть осведомителей (нередко набираемых с помощью недопустимых угроз или, наоборот, посулов) и т. д. Притом оно часто вмешивается в решения работодателей, инспирирует акты дискриминации в учреждениях и предприятиях, влияет на органы юстиции и руководит пропагандистскими кампаниями в средствах массовой информации. Это всё деятельность секретная, не регулируемая законами, и у гражданина нет никаких средств защиты против нее.

Когда же по политическим мотивам заводится дело, органы следствия и суда нарушают права обвиняемых и их защиты, гарантированные ст. 14 первого пакта и чехословацкими законами. В тюрьмах осужденные по политическим делам подвергаются такому обращению, которое несовместимо с их человеческим достоинством, угрожает их здоровью и направлено на моральный слом человека.

Постоянно нарушается и § 2 ст. 12 первого пакта, гарантирующий гражданину право свободно покинуть свою страну; под предлогом «защиты государственной безопасности» (§ 3) это право ограничено различными недопустимыми условиями. Произвол господствует и в выдаче въездных виз иностранным гражданам, из которых многие не могут посетить ЧССР, например, потому только, что по работе или в частном порядке

встречались с лицами, подвергающимися у нас дискриминации.

Некоторые граждане — в частных беседах, на рабочем месте или же публично (последнее возможно только через заграничные средства массовой информации) — обращают внимание на постоянное нарушение прав человека и демократических свобод и требуют ликвидации конкретных нарушений; их призывы, однако, либо остаются без ответа, либо становятся объектом следствия.

Ответственность за соблюдение гражданских прав в стране, естественно, ложится на политическую и государственную власть. Но не только на нее. Каждый несет свою долю ответственности за положение в стране, в том числе и за соблюдение узаконенных пактов, которые обязательны как для органов власти, так и для всех граждан.

Чувство этой разделенной ответственности, вера в значение гражданственности и стремления к ней, общая потребность искать ее новое и более эффективное выражение — всё это привело нас к мысли создать ХАРТИЮ—77, возникновение которой мы сегодня провозглашаем.

ХАРТИЯ—77 — это свободное, неформальное и открытое сообщество людей различных убеждений, различных вероисповеданий и разных профессий, которых объединяет воля поодиночке и вместе содействовать уважению прав человека и гражданина в нашей стране и в мире — тех прав, которые признаны обоими узаконенными международными пактами, Заключительным актом Хельсинкской конференции, многими другими международными документами против войны, насилия и социального и духовного подавления, тех прав, которые наиболее полно выражены во Всеобщей Декларации Прав Человека ООН.

ХАРТИЯ—77 — плод солидарности и дружбы людей, разделяющих заботу о судьбе идеалов, с

которыми они связывали и связывают свою жизнь и труд.

ХАРТИЯ—77 — не организация, не имеет устава, постоянных органов и организационно обусловленного членства. К ней может принадлежать каждый, кто согласен с ее идеей, участвует в ее работе и поддерживает ее.

ХАРТИЯ—77 не является базой оппозиционной политической деятельности. Она призвана служить общественным интересам, как многие сходные гражданские начинания в разных странах Запада и Востока. Следовательно, мы собираемся не выдвигать свою программу политических или социальных реформ и перемен, но вести в намеченной области конструктивный диалог с политической и государственной властью, прежде всего — обращать внимание на конкретные случаи нарушения прав человека и гражданина, готовить о них документацию, предлагать пути их разрешения, формулировать более общие предложения, направленные на укрепление правовых гарантий, действовать в качестве посредника в возможных конфликтных ситуациях, вызванных бесправием, и т. д.

Своим символическим названием **ХАРТИЯ—77** подчеркивает, что она рождается на пороге года, провозглашенного Годом прав политзаключенных, года, когда Белградской конференции предстоит изучить, как выполняются обязательства, принятые в Хельсинках.

Мы, подписавшие этот документ, доверяем проф. Яну Паточке, Вацлаву Гавелу и проф. Иржи Гаеку быть глашатаями **ХАРТИИ—77**. Эти глашатаи полномочны представлять ее как перед государственными и другими организациями, так и перед нашей и мировой общественностью, и своими подписями гарантировать аутентичность ее документов. В нас и в других гражданах, которые захотят присоединиться к **ХАРТИИ—77**, они найдут сотрудников, готовых участво-

вать в необходимых обсуждениях и в повседневной работе и полностью разделить всю ответственность.

Мы верим, что ХАРТИЯ—77 будет способствовать тому, чтобы в Чехословакии все граждане трудились и жили как свободные люди.

1 января 1977

Милан Балабан, священник; Карел Бартошек, историк; Ярослав Башта, рабочий; Рудольф Баттек, социолог; Иржи Беднарж, электрик; Отка Беднаржова, журналист; Антонин Белогоубек, техник; Ян Беранек, историк; Итка Белясова, служащая; проф. Франтишек Блага, врач; Ярослав Борски, бывш. государственный служащий; Иржи Брабец, литературовед; Вратислав Брабенец, музыкант; Эуген Брикциус, лицо свободной профессии; Томан Брод, историк; Алеш Бржезина, мелкий служащий; Станислав Будин, журналист; Йосеф Цисаржовский, искусствовед; Карел Чейка, техник; Отто Черны, рабочий; проф. Вацлав Черны, литературовед; Мирослава Черна-Филипова, журналист; Эгон Чиерны, востоковед; Иржи Чутка, научный работник; Иржи Даничек, рабочий; Юрай Даутнер, филолог; Иван Деймал, рабочий; Иржи Динстбир, журналист; Зузана Динстбировая, психолог; Любош Добровски, журналист; Петр Добровски, техник; Богумил Долежал, литературный критик; Иржи Долежал, историк; Ирена Дубска, философ; Иван Дубски, философ; Ладислав Дворжак, писатель; Михаэль Дымачек, математик; Вратислав Эффенбергер, эстетик; Анна Фарова, искусствовед; Зденек Форшт, журналист; Карел Фридрих, экономист; Иржи Фродль, журналист; проф. Иржи Гаек, политик; Милош Гаек, историк; Иржи Ганак, журналист; Олаф Ганел, художник; Иржи Ганзелка, писатель; Вацлав Гавел, писатель; Збынек Гейда, писатель; Ладислав Гейданек, философ; Иржи Гермах, философ; Йосеф Гиршал, писатель; Йосеф Годиц, историк; Милослава Голубова, искусствовед; Роберт Горак, бывш. политработник; Милан Гошек, бывш. государственный служащий; Иржина Грабкова, журналист; Ольдржих Громадко, бывш. полковник госбезопасности; Мария Громадкова, бывш. политработник; Милан Гюбл, историк; Вацлав Гиндрак, историк;

Власта Храмоштова, актриса; Карел Ярош, бывш. политработник; Ольдржих Ярош, историк; Вера Ярошова, историк; проф. Зденек Ичински, юрист; Отакар Илек, экономист; Ярослав Ира, техник; Карел Ирачек, бывш. государственный служащий; Франтишек Иранек, педагог; Вера Ироусова, искусствовед; Ярослав Иру, историк; Мирослав Йодль, социолог; Йосеф Йон, политик; Ярмила Йонова, экономист; Иржи Юдл, техник; Павел Ярачек, кинорежиссер; Петр Кабеш, писатель; Ольдржих Кадерка, юрист и политик; проф. Мирослав Кадлец, экономист; проф. Владимир Кадлец, экономист и политик; Эрика Кадлецова, социолог; Сватоплук Карасек, священник; Владимир Кашик, историк; Франтишек Каутман, литературовед; Александр Климент, писатель; Богумир Клипа, историк; Ярослав Клофач, социолог; Владимир Клокочка, юрист; Альфред Коцаб, священник; Зина Кочова, студентка; Любош Когоут, политолог; Павел Когоут, писатель; Иржи Коларж, писатель и художник; Божена Комаркова, педагог; Вавржинец Корчиш младш., рабочий; Вавржинец Корчиш старш., социолог; Вацлав В. Комеда, историк; Иржи Коржинец, экономист; Карел Костроун, литературный критик; Анна Коутна, работница; Милослав Краль, научный работник; Франтишек Кригель, политик и врач; Андрей Кроб, рабочий; Ян Кршен, историк; Марта Кубишова, певица; Карел Кинцл, журналист; Михал Лакатош, юрист; Павел Ландовски, актер; Иржи Ледерер, журналист; Ян Лештински, техник; Ладислав Лис, бывш. политработник; Ольдржих Лишка, бывш. государственный служащий; Яромир Литера, бывш. политработник; Ян Лопатка, литературный критик; Эмиль Людвик, композитор; Клемент Лукеш; Сергей Махонин, театровед и переводчик; проф. Милан Маховец, философ; Анна Марванова, журналист; Юлена Машинова, сценарист; Иван Медек, музыковед; Гана Мейдрова, историк; Эвжен Менерт, философ; Ярослав Мезник, историк; Ян Млынарик, историк; Зденек Млынарж, юрист и политик; Камила Моучкова, бывш. диктор телевидения; Иржи Мразек, истонник; Павел Мурашко, филолог; Иржи Мюллер; Ян Недвед, журналист; Дана Немцова, психолог; Иржи Немец, психолог; Владимир Непраш, журналист; Яна Нейманнова, историк; Вацлав Новак, бывш. государственный служащий; Ярослав Опат, историк; Милан Отагал,

историк; Людвик Пацовски, журналист; Иржи Паллас, техник; Мартин Палоуш, программист; Радим Палоуш, педагог; проф. Ян Паточка, философ; Ян Паточка, младш., рабочий; Франтишек Павличек, писатель; Карел Пецка, писатель; Ян Петранек, журналист; Томаш Пекны, журналист; Карел Пихлик, историк; Петр Питхарт, юрист; Зденек Покорны, техник; Владимир Праказски, журналист; Драгуше Пробоштова, журналист; Яна Пршевратска, педагог; Зденек Пришкрыл, политолог; Милош Рейхрт, священник; Алеш Рихтер, рабочий; Милан Рихтер, юрист; Зузана Рихтерова; Иржи Румл, журналист; Павел Рихеэки, юрист; Владимир Ржига, педагог; генерал-поручик Вилем Сахер; Войтех Седлачек, программист; Гелена Сейдлова, библиотекарь; Ярослав Сейферт, поэт; Гертруда Секанинова-Чакртова, юрист и дипломат; Ян Шнейдер, рабочий; Кароль Сидон, писатель; Йосефа Сланска; Рудольф Слански, техник; Вацлав Славик, политик; Элишка Скршенкова; Ян Сокол, техник; Ян Соучек, социолог; Йосеф Стеглик, бывш. политработник; Дана Стегликова; Владимир Стерн, бывш. государственный служащий; Яна Стернова; Эва Стухликова, психолог; Честмир Сухи, журналист; Ярослав Сук, рабочий; Вера Сукова, журналист; Ян Шабата, истопник; Ярослав Шабата, психолог, бывш. политработник; Вацлав Шабата, художник; Анна Шабатова младш., служащая; Ян Шафранек, художник, Франтишек Шамалик, юрист и политолог; Вацлав Шебек, архитектор; Яна Шебкова; проф. Венек Шилган, экономист; Либуше Шилганова, социолог; Ивана Шимкова, психолог; Богумил Шимон, экономист и политик; Ян Шимса, священник; Ян Шинделярж, философ; Владимир Шкутина, журналист; Павел Шремер, микробиолог; Милуше Штевихова, работница; Мария Штоловска; Вера Штовичкова, журналист; Мирослав Шумавски, историк; Петрушка Шустрова, служащая; Мария Швермова; проф. Владимир Тарди, психолог и философ; Доминик Татарка, писатель; Ян Тесарж, историк; Юлиус Томин, философ; Йосеф Тополь, писатель; Ян Трефулка, писатель; Якуб Троян, священник; Вацлав Троян, программист; Мирослав Тыл, техник; Милан Угде, писатель; Петр Угль, техник; Зденек Урбанек, писатель и переводчик; Ружена Вацкова, искусствовед; Людвик Вацулик, писатель; Иржи Ванчур, историк; Франтишек Ванечек, журналист; Дагмар Ванеч-

кова, журналист; Зденек Вашичек, историк; Ярослав Вита-чек, бывш. политработник; Ян Владислав, писатель; Томаш Власак, рабочий; Франтишек Водслонь, политик; Йосеф Вогрызек, переводчик; Зденек Вокаты, рабочий; Пршемысл Вондра, журналист; Алоис Выроубал, техник; Вацлав Врабец, журналист, историк; Яромир Вишо, художник; Иржи Заруба, архитектор; Иржина Зеленкова, врач; Петр Земан, биолог; Рудольф Земан, журналист; Зденек Зикмундовски, бывш. государственный служащий; Рудольф Зукал, экономист; Йосеф Звержина, священник.

ОТ РЕДАКЦИИ: Мы сдаем перевод этого текста в типографию в момент, когда репрессии против участников ХАРТИИ—77 (допросы, обыски, кампания клеветы в печати) нашли свою высшую точку в аресте Вацлава Гавела, Иржи Ледерера и Франтишка Павличека. Мы не знаем сейчас, что ждет арестованных и остальных участников ХАРТИИ—77, но со всей очевидностью можно утверждать, что ожесточенные преследования — почти одновременные — в Советском Союзе, Польше и Чехословакии, демонстрируя силу в руках тоталитарной власти бесправия, обнаруживают ее же страх и бессильную злобу перед лицом открытого, ненасильственного, законного Сопротивления. Не случайно эти явно координированные репрессии обращены против международно признанных ассоциаций, таких, как московская и украинская группы по соблюдению Хельсинкского соглашения, польский Комитет защиты рабочих и, наконец, ХАРТИЯ—77. Не случайны явно координированные попытки оклеветать их участников перед общественным мнением, обвиняя в связи с иностранными разведками, в нелегальных денежных операциях и т. п. И не случайно эта клевета полностью идет мимо цели, встречая в мире насмешку, презрение и, наоборот, вызывая международные кампании в защиту преследуемых.

Январь 1977.

Из пресс-конференции А. И. Солженицына корреспондентам мадридских газет

(20 марта 1976, Мадрид)

Вопрос:

Кто Солженицын: автор-свидетель или только писатель?

Солженицын:

По русской писательской традиции почти невозможно, чтобы в России писатель был только писателем. Все писатели XIX и XX века, или почти все, или, скажем, основные литературные течения — были всегда тесно связаны с общественной жизнью страны. Ни раньше в России, ни ныне в Советском Союзе писатель не мог и не может закрыть глаза на действительность и стать исключительно литератором.

С другой стороны, что следует понимать, когда говорят «исключительно литератор»? У каждого пишущего есть свой собственный метод, и он не должен ему изменять. Я приведу как пример «Архипелаг ГУЛАг». Речь идёт об исследовании тюремной системы и системы концентрационных лагерей в Советском Союзе. Я определил жанр этого сочинения как «опыт художественного исследования».

В условиях, господствующих на сегодняшний день в Советском Союзе, не может быть осуществлено научное исследование этой темы и, конечно, никогда не сможет быть. Оттого, что все документы, во всяком случае, их большая часть, как и большинство свидетелей, были уничтожены. По той же причине никогда не будет опубликовано полное и строго научное исследование, со всеми статистическими данными.

Исправлено и уточнено автором.

С другой же стороны, художественное исследование, как и вообще художественный метод познания действительности, даёт возможности, которых не может дать наука. Известно, что интуиция обеспечивает так называемый «туннельный эффект», другими словами, интуиция проникает в действительность как туннель в гору. В литературе так всегда было.

Когда я работал над «Архипелагом ГУЛагом», именно этот принцип послужил мне основанием для возведения здания там, где не смогла бы этого сделать наука. Я собрал существующие документы. Я обследовал свидетельства двухсот двадцати семи человек. К этому нужно прибавить мой собственный опыт в концентрационных лагерях и опыт моих товарищей и друзей, с которыми я был в заключении. Там, где науке не достаёт статистических данных, таблиц и документов, художественный метод позволяет сделать обобщение на основе частных случаев. С этой точки зрения художественное исследование не только не подменяет собой научного, но и превосходит его по своим возможностям.

Вопрос:

Не чрезмерно ли вы, как лауреат Нобелевской премии по литературе, говорите о политике? По крайней мере, так это произошло на испанском радиотелевидении*.

Солженицын:

Я повторяю некоторые мысли, высказанные перед телевидением, и вы увидите, что тон его был не политическим.

Политическая точка зрения всегда состоит в следующем: правые, левые; правые, левые. Всё в одном

* «Континент», № 8. Интервью испанскому телевидению.

плане. Однако духовная сторона вопроса всегда объёмна. У неё есть высота, глубина, ширина.

В моем выступлении мне хотелось показать, что наш сегодняшний кризис, кризис человечества, не является политическим в абсолютном смысле. Даже противопоставление «Восток-Запад» относительно. Если глубоко поразмыслить, то обе общности не так уж различны. Они страдают одним заболеванием: недугом материализма, недугом недостатка моральной высоты. Именно отсутствие моральной высоты привело к тому, что чётко обозначилась такая ужасная диктатура, как советская, и столь ненасытное потребительское общество, как западное. С одной стороны, тоталитарный социализм; с другой — безразличие к страданиям и несчастьем других.

Несколько сот лет назад человечество совершило большой поворот от Средних Веков к Новому времени. Это был протест против обеднения нашей материальной природы. К концу Средних Веков от человека настоятельно требовалась только духовность. Его физическая природа была, так сказать, придавлена. И естественно, что материальная, физическая сторона человеческой природы пробудилась. Перемена направления к эпохе Возрождения, Нового времени стала, таким образом, неизбежной.

Конечно, человечество на этом не остановилось. Постепенно оно всё больше вгрызалось в материю, всё больше пренебрегая духовностью. Сегодня мы очевидцы всеобщего триумфа материальности, наряду с принижением духовной жизни. Картина теперешнего мира мне представляется ужасной. Я думаю, что если человечеству не суждено погибнуть, то оно должно восстановить правильное отношение к ценностям. Иначе говоря, духовные ценности должны снова обладать над ценностями материальными.

Это не значит, что следует вернуться назад к Средним Векам. Всякое развитие со временем обога-

щается. Речь идёт о новых горизонтах. Так мне кажется.

Вопрос:

Если сущность проблем Востока и Запада одинакова, то почему вы предпочли общество потребления тому, которое вы называете бесчеловечным, в Советском Союзе?

Солженицын:

Прежде всего, я не говорил, что сущность будто бы одинакова. Я никогда не приравниваю тоталитаризм, в условиях которого не разрешается думать и подавляется жизнь личности, к свободным обществам Запада. Я сказал, что если проанализировать глубоко, то окажется, что оба общества, будучи совершенно различными, страдают одним недугом, поразившим человеческое начало: утратой духовных основ.

Это во-первых. Во-вторых, я не выбирал. Я жил в том обществе. Боролся за его совершенствование. Меня арестовали, и восемь человек грубо бросили меня в самолёт, который приземлился во Франкфурте-на-Майне. Слово «предпочёл» может прилагаться к тому, кто идёт по собственной воле.

Вопрос:

Испанцы на протяжении своей истории знали множество периодов эмиграции. У нас тоже есть большой опыт эмигрантской жизни. Наши эмигранты писали, что разлука с родиной сказывается на художественном творчестве, на творческой жизни. Сложилось ли у вас подобное мнение?

Солженицын:

Я думаю, что эмигрант и высланный, или вырван-

ный из почвы, — различные понятия. Эмигрант, решивший оставить свою родину (если не под пулями), как бы разрушает собственной волей свою сущность. Высланный же, или вырванный из почвы, отвергает такой духовный исход. Он разлучён физически, но не духовно. Им удалось бросить за пределы родины своё тело, но не мой дух, не душу.

Сегодня меня спросили, почему я живу в Швейцарии. Я живу не в Швейцарии. Я живу в России. Все мои интересы, близкие мне вещи в России. Если бы я был моложе, если бы мне было, скажем, тридцать лет, длительная разлука с родиной могла бы, действительно, повредить и разрушить связи, существующие между моим творчеством и его источниками. Но в пятьдесят семь лет у меня накопился настолько большой опыт, что передо мной не проблема сбора материала, а проблема записать уже приготовленное прежде, чем кончится моя жизнь.

Вопрос:

Продолжите ли вы работу над «Августом Четырнадцатого»?

Солженицын:

Практически, вот уже сорок лет, начиная с 1936 года, я работаю над моей главной темой — история русской революции. Если я прерывал эту тему, то не потому, что мне хотелось заняться чем-то другим, а потому что жизнь меня бросала с места на место: то война, то тюрьма, то рак, то после появления «Ивана Денисовича» я стал получать со всей страны материалы, касающиеся концентрационных лагерей. Мне точно приходилось прыгать через самого себя, чтобы вернуться к своей главной теме. Теперь я только ею и занимаюсь, темой истории русской революции.

«Август Четырнадцатого» я не только собираюсь

дописывать, но закончено и продолжение, его название — «Октябрь Шестнадцатого». Сейчас работаю над «Мартом Семнадцатого». Книги я буду писать всю свою жизнь. Архивные источники здесь мне доступнее, чем в СССР.

Вопрос:

Одно издательство католических священников, «Эдисионес Паулинас», выпустило книгу с документами «Солженицын как верующий». Не кажется ли вам, что священники хотят использовать вас и показать этой книгой, что Солженицын, живший в СССР, верующий, и косвенно, что он верит в католического Бога?

Солженицын:

Этой книги я не знаю. Однако я должен сказать, что писатель не обязан думать о том, кто и каким образом пользуется его сочинениями. В Советском Союзе, например, мне постоянно говорили, что западный империализм, то есть Франция и Англия (не Испания), пользуются мной, манипулируют как оружием, и поэтому я должен прославлять советский режим, вот тогда мной не будут пользоваться. Я отвергаю вообще такую постановку вопроса.

Вопрос:

Вы родились при социалистическом режиме, который называет себя атеистическим. Как же случилось, что вы верующий, и много ли в сегодняшней России подобных вам?

Солженицын:

На Западе нет точного представления о тех духовных процессах, которые происходят сейчас в Совет-

ском Союзе. В нашей стране преследуют за религию вот уже шестьдесят лет. Преследования эти могут сравниться только с теми, которые приходилось выносить христианам первых веков, когда их сжигали на кострах и бросали львам. Но несмотря на это религия в России сохранилась и даже укрепилась настолько, что наша сегодняшняя молодёжь очень непохожа на западную.

На Западе молодые люди — я не знаю испанской молодёжи, но знаю западную — в основном настроены атеистически и симпатизируют социализму. Наша же молодёжь, вне сомнения, отталкивает социализм и всё больше тянется к религии. В этом нет ничего удивительного. Мы пережили ужасные события. В условиях преследований и подавления дух укрепляется. А когда всё дозволено и доступно, дух разлагается. Христианство было наиболее сильным как раз в первые века.

Вопрос:

Не думаете ли вы, что ваши нападки на отсутствие свободы в социалистических странах могут служить поддержкой тем правительствам других стран, где тоже отсутствует свобода? Не думаете ли вы, что после вашего выступления против левого тоталитаризма сторонники правого тоталитаризма, например, в Испании, будут очень довольны? Сознаёте ли вы опасность того, что нападки на тоталитаризм с одним знаком косвенно защищают и другой тоталитаризм?

Солженицын:

Должен сказать, что в нашем двадцатом веке мы смеем слова, не задумываясь над их содержанием. Мы употребляем термины «демократия», «социализм», «империализм», «расизм», «национализм», «тоталитаризм»... Мы манипулируем ими с лёгкостью.

Они как монета, находящаяся в обращении сто лет, на которой трудно расшифровать надпись.

То же самое происходит со словом «тоталитаризм». Я знаю только один тоталитаризм, существующий в действительности — коммунистический. Был ещё гитлеровский тоталитаризм, но его уже нет. Неполнота демократии — еще далеко не тоталитаризм. Слово «тоталитаризм» связано с тотальностью. Это означает, что полностью вся жизнь человека не принадлежит ему, человеческому существу — ни его духовная жизнь, ни физическая, ни семейная, ни всякая другая. В современном мире никакого другого тоталитаризма нет. Это тоталитаризм, как он существует в Советском Союзе, в Китае, во Вьетнаме, в Камбодже, во всей Восточной Европе. Другого нет.

Я приводил примеры того, что я видел в Испании*. Я глядел с изумлением. Мы, будь то в нашей стране, стали бы говорить: «Да ведь это полная свобода! Что происходит? Я могу жить где угодно! Могу ездить за границу! Могу читать прессу других стран! Могу делать ксерокопии текстов!» Понимаете ли вы меня?

В Советском Союзе за то, что в Испании стоит пять песет — цена одной ксерокопии — дают десять лет тюрьмы или запирают в сумасшедший дом. Что это? Тоталитаризм? В Испании вы можете верить в Бога, а можете не верить. Никого не отправляют в психиатрическую клинику за его идеи и убеждения. В Испании вы можете воспитывать своих детей в своём любом духе. В Советском Союзе у вас за это детей могут отобрать. Нет, другого тоталитаризма на земле не существует.

Во Франции меня спросили о Чили, повторив сплетню из газет, будто я побывал в этой стране во время каких-то праздников. Я ответил: «Если бы Чили

* «Континент», № 8. Интервью испанскому телевидению.

не было, вам надо было бы обязательно его выдумать». Чили предложило Советскому Союзу: «Мы освободим своих политических заключённых, если вы освободите своих». Советский Союз на это никак не отреагировал, а весь мир воспринял это как нечто нормальное. Можно ли сравнивать? Ведь Чили впоследствии освободило около трёх четвертей своих политических заключённых, и этот факт тоже был воспринят как нормальный. Но по сию пору кричат: «Почему в Чили есть еще политические заключённые?» А Советский Союз освободил только Плюща. В Советском Союзе в психиатрические клиники помещают душевно здоровых людей. И все на это смотрят спокойно.

Я приводил уже пример, что правительство Чили освободило семнадцать чилийских революционеров, разрешив им уехать в Румынию. Эти «революционеры» некоторое время пожили в социалистической Румынии, а потом и не знали, как оттуда выбраться. (Прорвались в Западную Германию.) С другой стороны, некие террористы из Квебека поселились было на Кубе, да и тоже сбежали. Нет, между тоталитаризмом и другими системами нельзя поставить знака равенства.

Повторяю, писатель не может думать о том, нравится ли кому-то то, что он говорит. С другой стороны, я никогда не собирался становиться западным литератором. Я оказался на Западе против своей воли. Я пишу для своей родины. Моей родине нужно то, что я пишу. Я не могу задумываться о том, что кто-то где-то поймёт и использует по-своему написанное.

Простите, я хочу сделать отступление, а потом отвечу на другие вопросы. Я не предвидел сегодня никакой пресс-конференции. Она возникла спонтанно. У меня есть опыт подобных пресс-конференций, мне пришлось увидеть такое: газеты обычно воспроизводят ту часть, которая им нужна. Вырывают какую-нибудь фразу. Нарушают все пропорции и искажают

мои мысли. Настоятельно вас прошу: если газете, которой вы даёте материал, неинтересен какой-нибудь вопрос, пусть она его выпустит совсем. Если же какой-то вопрос интересен, то пусть передаёт его полностью. Не надо ножниц. Вы понимаете? Пусть не искажают мыслей. Очень прошу.

Вопрос:

На Западе есть русский автор, имеющий многочисленных читателей. Речь идёт о Владимире Набокове. Что вы можете сказать о нём?

Солженицын:

Набоков — гениальный писатель. Однако, уехав из России, он постепенно, к сожалению, оставил русскую тему. По своему возрасту он относится к поколению, которое великолепно могло бы рассказать о нашей революции. Он этого не сделал. И теперь получается, что люди более молодого поколения, моего, например, обязаны выполнить эту задачу. Другими словами, перипетии его жизни или, может быть, его собственное решение помешали ему поставить на службу родине свой гениальный, повторяю, гениальный талант.

Вопрос:

Кто испытал больше страданий, Достоевский или вы?

Солженицын:

Советский ГУЛаг несравнимо страшней царской каторги. Но мера внутренних страданий не всегда соответствует внешне пережитому.

(Записано Габриелем Амиама)

В последнюю минуту...

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЦИПОВ ХАРТИИ—77

Смерть профессора Яна Паточки, только что скончавшегося в Праге, — не что иное как политическое убийство.

Один из трех глашатаев ХАРТИИ—77, вместе с сидящим теперь в тюрьме Вацлавом Гавелом и находящимся практически под домашним арестом Иржи Гаеком, — 69-летний Ян Паточка с момента опубликования этого документа, был объектом постоянной полицейской травли.

Начиная с 12 января, после того как «Руде право» назвала его «профессором-реакционером на службе антикоммунизма» и «агентом империализма», его постоянно вызывали на допросы. Это давление еще усилилось с 1 марта, после встречи профессора Паточки с голландским министром иностранных дел, прибывшим в Прагу с официальным визитом.

Измученный длительными допросами, 4 марта профессор Паточка с сердечным приступом был положен в больницу. 11 марта у него произошло кровоизлияние в мозг, затем односторонний паралич, и 13 марта профессор Ян Паточка умер.

В феврале Ян Паточка направил нашему комитету текст, уточняющий мотивы и цели участников ХАРТИИ—77.

Подчеркивая роль нравственного чувства в политической жизни, он отмечал особую значимость подписания Пактов по правам человека. Основанные на осознании высшего права и нравственности, пакты являются обязывающими не только для правительств. Они включают обязанность **граждан** защищать свои права и не быть молчаливыми соучастниками беззакония. Существо ХАРТИИ—77, писал Ян Паточка, — «энергично напомнить о наличии **высшего авторитета**, обязательного для совести каждого человека и для государств, представители которых подписали международные Пакты, имеющие фундаментальное значение». Участники ХАРТИИ—77, писал в заключение профессор Паточка, «сознают, что поставив себе эти цели, надо приготовиться к любым неприятностям, рисковать быть непонятыми и **даже поставить свою жизнь под угрозу**».

Философ с международной репутацией, человек образцового мужества, достоинства и цельности, Ян Паточка продолжает олицетворять защиту прав человеческого разума и совести, безусловное неприятие угнетения и дух свободы.

От имени Комитета:

Пьер Дэкс, Пьер Эмманюэль, Жиль Мартине
Париж, 14 марта 1977

Открытое письмо художникам, членам горкома художников Москвы и Ленинграда

12 декабря в Ленинграде состоялся суд над художником Вадимом Филимоновым. Обвинение — хулиганство. Приговор — полтора года лишения свободы. Во время обыска у Филимонова нашли письмо в ЦК КПСС с требованием поставить памятник жертвам культа личности. Под этим письмом он собирал подписи.

В мае этого года в том же Ленинграде художники хотели организовать выставку на открытом воздухе. Многие за это, как за хулиганство, отсидели по 15 суток. И 15 сентября 1974 года, когда против картин были брошены бульдозеры, хулиганами объявили тоже художников.

Но вернемся к Филимонову. Когда его жена обратилась к московским и ленинградским художникам с просьбой подписать письмо в защиту мужа, большинство сделать это отказалось. Что же произошло? Почему художники отказались защитить своего товарища, который всегда принимал участие в движении за свободу творчества в нашей стране?

После 15 сентября 1974 года власти были вынуждены пойти на уступки, и только благодаря этому состоялась единственная свободная выставка в нашей стране — выставка 29 сентября 1974 года в Измайловском парке.

Но уже тогда было сказано, что свободных выставок больше не будет. Заявление это подкреплялось преследованиями художников: судами, угрозами со стороны милиции и военкоматов, психиатрическими больницами и увольнениями с работы. В то же время художникам сулили мастерские, загранпоездки и покупку картин государственными организациями. Как же охарактеризовать в связи с этим поведение властей? Очень просто. Это древняя, как мир, но позорная для современного государства политика кнута и пряника, политика, способная подавить свободное искусство, политика, способная развратить

душу человека и искалечить творчество художника. Вспомним, не так ли было задушено прогрессивное искусство в нашей стране в начале века?

В настоящее время в Москве и Ленинграде организован Профсоюз живописцев, функции которого несовместимы с функциями профорганизации как таковой. При помощи того же кнута и пряника художника заставляют подчиниться самой жесткой цензуре, при которой запрещается выставлять отдельных художников, если их поведение не соответствует пожеланиям начальства. Запрещается выставлять целое направление в искусстве — концептуализм, запрещается большинство картин религиозного содержания, запрещаются картины с текстами — нужно разрешение Главлита, запрещается социальная тематика, за исключением признаваемой властями; даже большинство картин с обнаженными телами, оказывается, нельзя показывать народу. Эта, так называемая, профсоюзная организация (прикрываясь фамилиями некоторых художников, на которых в полной мере воздействовала политика кнута и пряника) в самом начале своей деятельности занимается ни чем иным как диверсией против свободного искусства нашей страны. Да и не удивительно, раз сам председатель Профсоюза художников Москвы Владимир Ащеулов публично заявляет, что он одновременно — работник КГБ. Уместно вспомнить, что некоторое время назад председателем ВЦСПС был бывший министр КГБ. Председателя ВЦСПС сняли, но более мелкие председатели, по-видимому, остались.

Так не настало ли время художникам задуматься: кто на самом деле ими руководит и направляет их творчество, и происходит ли на деле освобождение искусства в нашей стране.

15 декабря 1976

*В. Бихес, П. Григоренко, Ю. Жарких, И. Киблицкий,
В. Корнилов, В. Овчинников, Ю. Орлов, Л. Пинский,
А. Рабин, О. Рабин, Ф. Серебров, Н. Эльская*



От редакции журнала «КОНТИНЕНТ»

Когда этот номер был уже сверстан, из Москвы поступило сообщение, что один из лучших прозаиков современной России, Владимир Корнилов, исключен из Союза Писателей СССР.

Как и следовало ожидать, предыдущий опыт подобных исключений ничему не научил советских литературных бонз. Ослепленные идеологической истерией и узаконенной безнаказанностью, они продолжают «наводить порядок» в отечественной литературе с помощью административного кистеня и организационной дубины.

Но как говорится: пусть себе! Если же вспомнить, что список исключенных в новейшие времена из Союза Писателей СССР начинается с Пастернака и Солженицына, а кончается Чуковской и Войновичем, то мы можем только поздравить Владимира Корнилова: он попал в достойную компанию.

С чем мы и поздравляем еще одного нашего замечательного соотечественника и коллегу!



Михаил Шемякин.
«Красный кентавр»